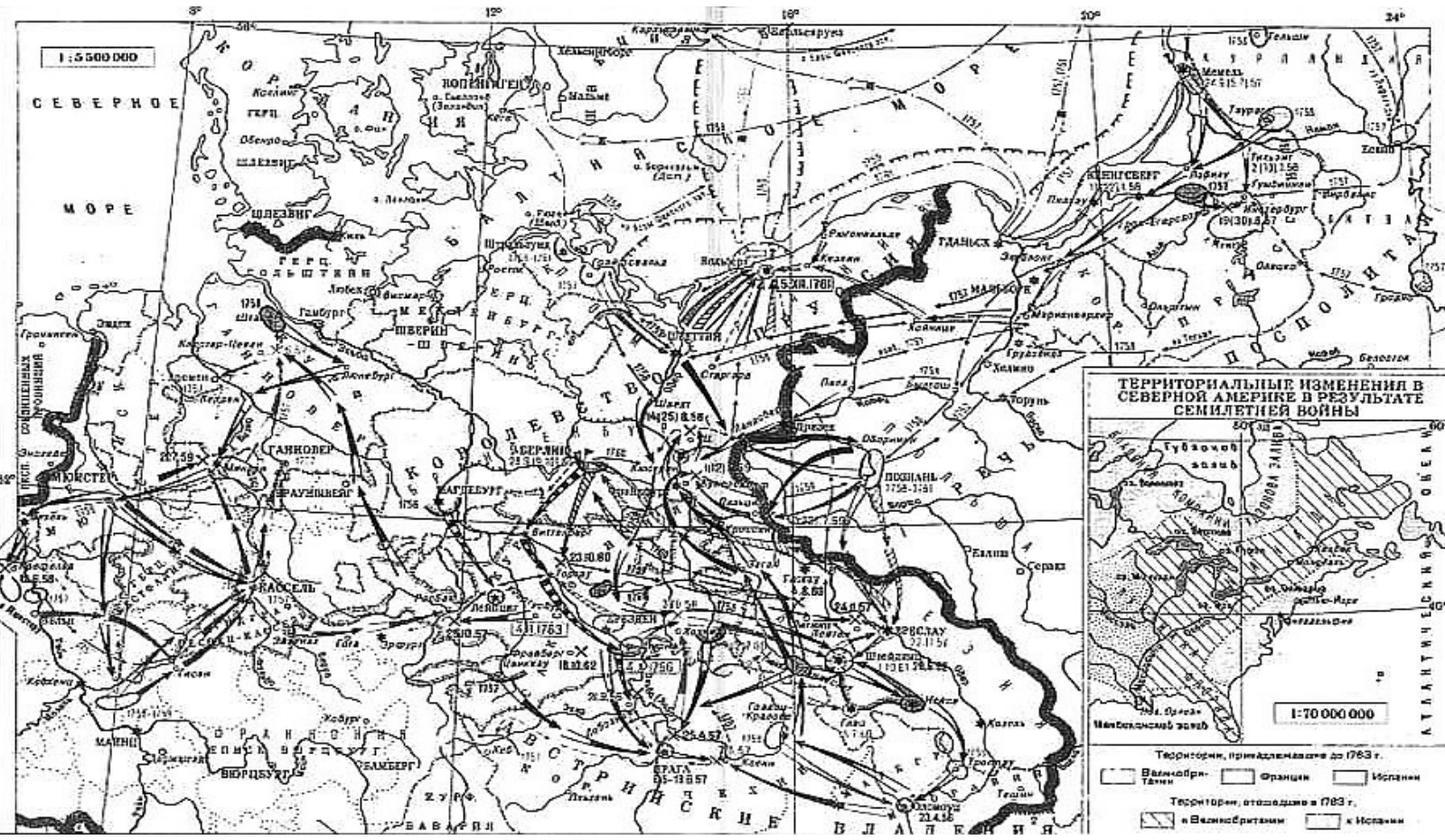


Впервые в России на русском языке издается труд известного историка и литератора Альфреда Рамбо (1842–1905), написанный в далеком теперь 1895 году. Автор, опираясь на многочисленные документальные источники, достаточно подробно освещает все крупные сражения Семилетней войны 1756–1763 гг., в которых участвовала русская армия. Он справедливо отмечает, что кампании русской армии в эту войну можно считать великой военной школой XVIII столетия.

- [Альфред Рамбо](#)

-
- [От переводчика](#)
- [Предисловие автора](#)
- [Глава первая. Российский двор и европейская дипломатия](#)
- [Глава вторая. Русская армия в эпоху семилетней войны](#)
- [Глава третья. Вступление русской армии в войну. Кампания 1757 г.](#)
- [Глава четвертая. Битва при Грос-Егерсдорфе \(30 августа 1757 г.\)](#)
- [Глава пятая. Отступление Апраксина](#)
- [Глава шестая. Завоевание восточной Пруссии](#)
- [Глава седьмая. Первое вторжение русских в Бранденбург. Бомбардировка Кюстрина \(август 1758 г.\)](#)
- [Глава восьмая. Битва при Цорндорфе \(25 августа 1758 г.\)](#)
- [Глава девятая. Русская армия после Цорндорфа](#)
- [Глава десятая. Битва при Пальциге \(23 июня 1759 г.\)](#)
- [Глава одиннадцатая. Битва при Кунерсдорфе \(12 августа 1759 г.\)](#)
- [Глава двенадцатая. После Кунерсдорфа. Конец кампании 1759 г.](#)
- [Глава тринадцатая. Кампания 1760 г. В Силезии](#)
- [Глава четырнадцатая. Взятие Берлина \(октябрь 1760 г.\)](#)
- [Глава пятнадцатая. Кампания 1761 г. в Силезии и Померании](#)
- [Глава шестнадцатая. Окончание семилетней войны](#)
- [Библиография\[349\]](#)
-



... Кампании русской армии в Семилетнюю войну можно воистину считать для нее великой военной школой XVIII века. От Северной войны при Петре I до походов Суворова в Италию и Гельветическую Республику и грозных Наполеоновских войн вершиной является, несомненно, Семилетняя война. За все время царствования Екатерины II не было ни одной битвы, подобной Грос-Егерсдорфу, Цондорфу, Пальцигу или Кунерсдорфу, поскольку победа ценится не только по доблести неприятеля, но также и по его военному искусству.

А. Рамбо

Эта война началась в конце 1756 года, продолжалась до конца 1761-го и сохранилась в памяти обоих народов кровопролитными битвами при Грос-Егерсдорфе, Цондорфе, Пальциге, Кунерсдорфе, а также взятием русскими Берлина. В Зимнем дворце с гордостью показывают картины, изображающие подвиги Семилетней войны.

А. Рамбо

Семилетняя война 1756–1763 гг.





В Семилетнюю войну (1756–1763) между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией с одной стороны и Пруссией, Великобританией (в союзе с Ганновером) и Португалией — с другой русская армия впервые по-настоящему вышла на европейскую арену и сразилась со считавшимся величайшим полководцем века — Фридрихом II. Из четырех больших сражений русские войска не проиграли ни одного, а в трех одержали решительную победу. Забытый ныне генерал-фельдмаршал Петр Семенович Салтыков наголову разбил прусского героя в Кунерсдорфской битве (1759).

«Вспоминая эти столь поучительные страницы истории и столь славные битвы, имена которых начертаны на боевых знаменах, остается лишь удивляться тому, как все это могло быть забыто и заслонено войнами долгого царствования Екатерины II, которой пришлось иметь дело с противниками, стоявшими намного ниже ее. В сущности, она воевала опять с теми же шведами, поляками и турками. Зато кампании русской армии в Семилетнюю войну можно воистину считать великой военной школой XVIII столетия», — пишет Альфред Рамбо в этой книге, которая впервые выходит на русском языке в России, хотя была написана автором в 1895 году.

До сих пор отечественный читатель узнавал о Семилетней войне из сочинений А. Т. Болотова (СПб., 1871–1873), Д. Ф. Масловского (М., 1886–1891), Н. М. Коробкова (М., 1940), публикаций историков П. П. Пекарского (1858), М. И. Семевского (1862) и некоторых других, а также из архивных материалов. Книги эти и публикации очень ценны, интересны, но давно стали раритетами. А другие (современные) публикации (см. библиографию в конце книги) явно уступают в полноте и аргументированности предлагаемому читателям сочинению известнейшего французского историка и литератора Альфреда Рамбо (1842–1905).

Он был профессором истории в лицеях Нанси, Буржа и Кольмара, написал и защитил диссертацию «О Греческой империи в IX веке» на степень доктора литературы. Для этого первого своего ученого труда он изучил языки: греческий, русский, польский и сербский. Достигнув сразу известности в научном мире Франции и Восточной Европы, он получил кафедру в Каэнском университете и посвятил курс лекций истории французского владычества в Германии в 1792–1811 гг. Этот курс был издан в двух томах и имел значительный успех.

Спустя два года он отправился в Россию, объясняя своим приятелям с чисто пророческим предвидением, что «там, а нигде иначе, можно найти союз, который восстановит европейское равновесие в нашу пользу; эту страну надо изучать во всех ее видах: правительство и народ, историю и литературу, земледелие и финансы, армию и флот».

Он исколесил всю Россию, перечитал бесчисленное множество русских книг, занимался в архивах, основательно познакомился с прошедшим и настоящим русского народа, усовершенствовался в русском языке. Результат всего этого — целый ряд трудов: «История России от ее основания до наших дней», «Эпическая Россия: исследование о русских былинах», «Французы и русские: Москва и Севастополь» (в состав этого сочинения вошла его статья «Русские в Севастополе», которая наделала много шума, поскольку доказывала, что память о Севастополе одинаково дорога и славна для обеих наций, и заслужила сочувственный отзыв императора Александра III, тогда еще наследника, который в ответ на присланную ему автором статью поздравил его с содействием в сближении обеих наций).

Затем появились «Собрание инструкций, данных французским посланникам и агентам за границей» (в России) с примечаниями и, наконец, «Русские и пруссаки» об участии России в Семи летней войне.

Рамбо руководил кафедрой истории в Сорбонне и написал «Историю французской цивилизации», которая представляет картину постепенного развития всех отраслей национальной жизни; краткую «Историю Французской революции», один из лучших сжатых очерков этой эпохи, и свод разнообразных сведений о французских колониях под названием «Колониальная Франция». Кроме этого он издал вместе с другом и коллегой, академиком Эрнестом Лависсом, громадную «Всеобщую историю» от IV века и в продолжение нескольких лет редактировал «Revue Bleue», где задолго до посещения Кронштадта французскими моряками проповедовал необходимость для Франции союза с Россией. Жюль Ферри публично сказал ему: «Вы более дипломатов содействовали этому событию», и французское правительство наградило его за услуги в сближении Франции и России орденом Почетного легиона.

Появление «русских» книг Рамбо совпало (и, вероятно, не случайно) с происходившим в конце века русско-французским сближением, вызванным усилением Германии. Союз двух держав был оформлен соглашениями 1891–1893 гг. в военной и политической сферах. Этому как нельзя лучше соответствовали русофильские взгляды Рамбо, подчас даже вредившие объективности его исследований. По воле судьбы он вместе с Эрнестом Лависсом стал широко известен у нас в советское время благодаря изданной академиком Е. В. Тарле в 1938 г. стотысячным тиражом «Истории XIX века», которая, по словам Тарле, «может быть сопоставлена по научной основательности только с „Кембриджской новой историей“». Характеризуя Альфреда Рамбо как историка-слависта, Тарле назвал его «знатоком новой русской истории».

Альфред Рамбо продолжил традиции блестящих французских историков — братьев Тьерри, Жюля Мишле, Ипполита Тэна, соединявших в своих трудах строго научные исследования с высокими литературными достоинствами. Сейчас в России это качество приобретает первостепенное значение, поскольку жизненное восприятие истории, духовная связь с предками являются ключевыми факторами в формировании национального характера.

Думаю, читатели получат истинное удовольствие, познакомившись с книгой Рамбо «Русские и пруссаки». Она насыщена информацией, написана легко и изящно.

Д. В. Соловьев





С самого начала существования двух воинственных соседних монархий — Российской империи и Прусского государства — между ними была всего лишь одна война, несмотря на довольно частые конфликтные ситуации^[1]. Эта война началась в конце 1756 г., продолжалась до конца 1761-го и сохранилась в памяти обоих народов кровопролитными битвами при Егерсдорфе, Цорндорфе, Пальциге, Кунерсдорфе, а также взятием русскими Берлина. В Зимнем дворце с гордостью показывают картины, изображающие подвиги Семилетней войны. С другой стороны, молодой германский император будто бы недавно произнес воинственный тост, где упоминалась битва при Цорндорфе, что, впрочем, не подтверждается ни одним официальным текстом.

В этой войне Россия выступала вместе с Францией, и цель ее политики заключалась в том, чтобы «разбить силы короля Прусского». Но мы воздержимся от каких-либо аллюзий по отношению к нашему времени. Семи летняя война началась при столь своеобразных обстоятельствах, и тогдашняя Европа была столь не похожа на сегодняшнюю, что поиски аналогий с *современностью* совершенно неуместны. Поэтому я ограничусь лишь выяснением роли России в антипрусской коалиции, а также организации ее армии и того, как она проявила себя на полях сражений. И если, несмотря на все различия в военном искусстве и вооружении между временем Елизаветы и нашим, найдутся все же некоторые черты и свойства, общие и для прежней, и для современной русской армии, определяющиеся самим характером нации и служащие для нее залогом будущего, мы в этом случае позволим себе указать и на них.

Я основывался главным образом на последнем труде полковника Генерального штаба Д. Ф. Масловского «Русская армия в Семилетнюю войну» (СПб., 1886–1891). Это огромное трехтомное издание, содержащее 2500 страниц с обширными сведениями о личном составе, многими картами и схемами военных действий. Автор не только хорошо знаком со всеми публикациями по этой теме, но и обследовал также русские военные архивы. Его книга — это труд военного специалиста. Описывая период Семилетней войны, он не пощадил читателя и не пропустил ни одного марша или контрмарша, ни одного военного совета, ни одного отчета о продовольственном снабжении армии. После описания каждого маневра, каждой стычки и каждой битвы Масловский снова возвращается к ним для детального разбора с точки зрения специалиста и определяет их *позитивное* и *негативное* значение, а именно то, следует ли им подражать или, напротив, осудить их. Его книга представляет собой совсем нелегкое чтение, но, несомненно, она чрезвычайно полезна для слушателей военно-учебных заведений, для которых прежде всего и предназначена. Но это истинная драгоценность и для историка, потому что он может благодаря ей представить себе русскую армию не вообще, но именно такой, какой она была в Семилетнюю войну, а не ее предшественницу времен Петра Великого и Анны Ивановны или же армию последующей эпохи — Екатерины II, Павла I и Александра I. Но если мы будем все-таки упорствовать, сохраняя в своем представлении какие-то фантастические полки и битвы, то уже не по вине г-на Масловского: не следует забывать, что уставы 1755 или 1756 года сделали, например, драгунские полки, которыми командовали Апраксин или Фермор, совсем не похожими на драгун Миниха и Потемкина.

Однако предлагаемая читателю книга представляет собой нечто большее, чем изложение труда г-на Масловского. Последний слишком скуп относительно всего, что не касается чисто военной стороны. Он пренебрег рассказами современников, даже теми, которые чрезвычайно

характерны для духа и нравов армии. Он чуждается всякой живописности, особенно в описаниях баталий. Вполне сознательно он не использовал многие мемуары и письма, которые по его представлению хорошо известны русскому читателю. Но поскольку они могут быть интересны читателю французскому, я немало взял именно из них^[2]. Наконец, в архиве французского министерства иностранных дел я нашел неизданные донесения французских и австрийских военных атташе, относящиеся к русской армии.

Настоящая книга отличается от труда г-на Масловского еще и тем, что в пределах одной и той же темы мы преследовали разные цели, имея при этом в виду совершенно разного читателя.

Однако, как и г-н Масловский, я не собирался затрагивать политическую и дипломатическую историю той эпохи. Она и так уже достаточно изучалась и обновлялась. Я ограничился ссылками на С. М. Соловьева из русских трудов, а из немецких — на Шефера и Арнета. Что касается французских источников, это «Людовик XV и Елизавета» Альбера Вандаля и опубликованные мною два тома «Собрания инструкций, данных французским посланникам и агентам за границей». Дипломатической истории я касаюсь лишь в тех случаях, когда это необходимо для понимания военных действий.

Август 1894 г.

А. Рамбо

Глава первая. Российский двор и европейская дипломатия



Дочь Петра Великого, царица Елизавета Петровна, в течение долгого времени была отстранена от трона, сначала своей двоюродной сестрой, вдовой курляндского герцога Анной Ивановной, затем герцогиней Брауншвейг-Беве́рнской Анной Леопольдовной, которая стала регентшей во время младенчества несчастного Ивана VI. При обеих Аннах Россией стали управлять немцы. Фаворит Анны Ивановны, сын курляндского конюха Бирон правил от имени своей любовницы. На смену ему пришел император-немец ^[1], сын герцога Брауншвейгского, который наследовал престол еще в пеленках при регентстве матери, урожденной герцогини Мекленбургской.

При Анне Ивановне иностранными делами руководил вестфалец Остерман, главнокомандующим был ольденбуржец Миних, а главные дипломатические должности занимали Корф, Лёвенвольде, Кейзерлинг и Бреверн. В армии командовали Бисмарк и три генерала Бирона. При дворе выше всех стояли другие Лёвенвольде, Ливены, Бреверны и Эйхлеры. Там все было немецким — язык, нравы, кухня, политика, театр, моды, вкусы, пришедшие из мелких городов Вестфалии и Саксонии. Первостепенные русские аристократы и самые высокопоставленные иерархи были в опале или рассеяны по тюрьмам и ссылкам. Дочь царя-реформатора, которую народ, солдаты и священники почитали как «искру Петра Великого», отстранили от дел и держали под строгим надзором. Ей постоянно угрожало заточение в монастырь.

Все внезапно переменялось после переворота 1741 г., произведенного самой Елизаветой при содействии французского посланника ла Шетарди. Брауншвейгский император и его родители оказались в тюрьме, а дочь Петра Великого на троне. Немецких правителей разогнали, их креатуры были лишены высших постов в армии и некоторых важных должностей в дипломатическом ведомстве.

Этот переворот, поддержанный гвардейскими полками, одобренный духовенством и народом, приветствуемый новгородским архиепископом как победа над «Вельзевулом и ангелами его», воспетый Ломоносовым в ореоле спасительного освобождения России от «чужеземного потопа» и «ночи рабства египетского», был ответом национальной партии на «немецкое засилье», реакцией против нравов, языка и политики немцев.

Елизавета царствовала тоже как самодержавная государыня со всем присущим для царей деспотизмом. Одаренная от природы живым умом, однако совершенно необразованная, она больше стремилась править, чем имела к тому возможностей. Французский посланник ла Шетарди в своей секретной корреспонденции, которая была перехвачена и расшифрована, рисует малопривлекательный портрет царицы: утрированную и до крайности нетерпимую набожность, соединенную с самыми невежественными предрассудками; беззаботность и легкомыслие, которые ставили ее в зависимость от окружающих; боязнь самого незначительного дела и малейшего усилия ума; склонность лишь к празднествам, нарядам и домашним интригам. Ее не только предавали министры, но продавали даже собственный духовник и горничные. Секретные донесения других иностранных посланников показывают эту царицу ничуть не в лучшем свете. И действительно, ее нравы были всегда довольно легкими. До переворота она выбирала своих фаворитов, как по расчету, так и по склонности,

из гвардии. Тайный брак в 1742 г. с одним из любовников, Разумовским, нисколько не стеснял ее, а лишь добавлял пикантность адюльтера последующим любовным связям. С 1749 г. официальным фаворитом стал Иван Шувалов, и это возвышение облагодетельствовало все его семейство.

Но императрица старела. При восшествии на престол ей было тридцать два года, а при начале Семилетней войны уже сорок семь. В этом возрасте Екатерина II еще сохраняла молодость, которую Елизавета утратила и на смену которой пришли болезни.

Все эти физические и нравственные слабости императрицы благоприятствовали всяческим интригам, что сказывалось и на дипломатическом ведомстве и даже, как будет видно из дальнейшего, на военных действиях.

Переворот 1741 г. покончил с брауншвейгской династией и «засильем немцев», но лишь ненадолго мог изменить международное положение России, которое определялось прежде всего тесными отношениями с Австрией. Как говорит Сен-Симон, отец Елизаветы «страстно желал» союза с Францией, сначала при Людовике XIV, затем в регентство герцога Орлеанского. В 1717 г. ему удалось заключить с правительством герцога договор о дружбе и торговле. Ту же политику продолжала и мать Елизаветы, Екатерина I, и какое-то время даже надеялась выдать свою дочь за юного Людовика XV. Высокомерие герцога Бурбонского, который пришел на смену Филиппу Орлеанскому, вынудило эту императрицу обратиться в сторону Австрии — русско-австрийский договор, подписанный 6 августа 1726 г., определил до самого конца столетия направление царской политики. Анна Ивановна и ее немецкие советники во время войны за Польское Наследство^[2] поспешили на помощь венскому двору. Однако правительство Людовика XV подтолкнуло союзников еще и на войну с Турцией^[3], которую они смогли успешно завершить лишь при посредстве этого короля на переговорах, завершившихся Белградским мирным договором (1739).

После воцарения Елизаветы Людовик XV мог надеяться, что она покончит с этой традицией и выступит на его стороне во время войны за Австрийское Наследство^[4]. И действительно, новая императрица отказалась предоставить контингент, предусмотренный как трактатом 1726 г., так и всеми последующими, подтверждающими его актами. Но чрезмерная забота версальского двора об интересах Швеции и излишнее усердие ла Шетарди во время его первого посольства помогли новому канцлеру Бестужеву-Рюмину сдерживать профранцузские чувства царицы.

Ла Шетарди добился для себя нового посольства в Петербург, не теряя уверенности в восстановлении своего влияния на государыню и надежды устранить канцлера. Однако его опрометчивое поведение и в особенности открытие тайной переписки вызвали громкий скандал, и он был выслан из России. Через два года, в 1746 г., стараниями Бестужева царица подписала новый договор об оборонительном и наступательном союзе с Австрией, а также соглашения о кредитах с Англией и Голландией. Тридцатитысячный экспедиционный корпус князя Репнина прошел маршем через всю Германию для действий в Нидерландах и появился на берегах Рейна, но тогда уже были подписаны предварительные статьи Ахенского мирного договора (1748).

Таким образом, Россия участвовала в войне за Австрийское Наследство лишь как вспомогательная сила, а не воюющая сторона, и по понятиям того времени отношения между Версалем и Петербургом вполне могли сохраняться. Тем не менее они были разорваны одновременно с заключением мира. Восстановить их оказалось настолько трудно, что прошло целых восемь лет, прежде чем при дворах были аккредитованы новые представители. В течение всего этого периода шла ожесточенная борьба двух дипломатий на

традиционных полях соперничества — в Швеции, Польше и Турции.

В своем донесении царице Бестужев радовался тем результатам, которые, по его мнению, принесли новую славу и российской политике, и русской армии: до тех пор, пока «Ее Императорское Величество индифферентным оком на раздиравшие Европу замешательства взирать изволила, военное пламя лишь больше разгоралось; напротив же того, коль скоро изволила Ее Императорское Величество в европейские дела с большею силою вступить, тотчас все состояние европейских дел весьма другой вид получило. <...> Обсервационный корпус^[3] не ходил больше, как только чтоб славу оружия Ее Императорского Величества по всей Европе разнести, ласкательный титул европейской миротворительницы монархине своей, возвращаясь назад, в дар посвятить и знатные суммы денег как с собою привезть, так и здесь отсутствием в казне сберечь»^[4]. Бестужев вычислил, что чистая выгода от этих субсидий составила почти миллион рублей. Подобная дотошность в подсчетах и нескрываемое самодовольство российского канцлера более пристали бы какому-нибудь немецкому князьку вроде гессен-кассельского, приторговывавшему солдатами, чем министру, который руководил дипломатией великой империи. Подобная мелкая меркантильность и в дальнейшем не раз влияла на политические комбинации Бестужева. Армия и нация чувствовали себя униженными. Поставлять наемников — это было совсем не то, что могло возбуждать у русского народа воинский дух. Его политические инстинкты сосредоточивались на величии страны, религиозных и национальных чаяниях.

Но еще более, чем Францию, Россия опасалась другой державы — фридриховской Пруссии. Еще в 1744 г., во время войны за Австрийское Наследство, Бестужев заявлял, что прусский король опаснее Франции «по близости соседства и великой умножаемой силе. <...> Сей король, будучи ближайшим и наисильнейшим соседом сей империи, потому натурально и наиопаснейшим, хотя бы он такого непостоянного захватчивого, беспокойного и возмутительного характера не был, каков у него суще есть <...> Коль более сила короля прусского умножается, толь более для нас опасности будет...»^[5] Именно в большей степени против него, а не Людовика XV, и был возобновлен в 1746 г. австро-русский союз. В Петербурге возмущались «бахвальством дерзкого соседа». Ему не простили и отстранения России от переговоров о заключении Ахенского мира под тем предлогом, что она участвовала в войне как держава, поставлявшая «наемников». Сообщения о делах и словах Фридриха показывали его крайнюю бесцеремонность по отношению к царице — он беспрестанно высмеивал ее набожность, приверженность к вину, легкость нравов. Он, как и Франция, постоянно становился поперек интересов России. Разве не он предложил Морицу Саксонскому руку своей сестры с Курляндией в качестве приданого? Той самой Курляндией, которую царица считала своей будущей провинцией! Когда Россия пыталась спровоцировать переворот в Швеции, он принялся усиливать свои вооружения и заговорил языком угроз. Он не переставал возбуждать против нее поляков и турок. В 1750 г. Елизавета предписала всем офицерам, происходившим из балтийских провинций и находившимся на иностранной службе, безотлагательно возвратиться в Россию. Указ касался прежде всего Пруссии, и король выказал свое крайнее раздражение. Один из таких офицеров, эстляндец де Коллонж, который, повинувшись указу, явился к русскому посланнику, был сразу же арестован. Сам посланник подвергся в связи с этим унижительному обращению — ему не разрешили осмотреть строившийся в Сан-Суси королевский дворец, а после одного из приемов дипломатического корпуса только он не был оставлен к обеду. Его демонстративно приглашали лишь на балы, а когда он и вовсе перестал появляться при дворе, король словно бы и не замечал этого. Посланник хотел пригласить в Петербургскую академию прусского астронома Гришау, но тот был сразу же арестован по приказу короля. Прославленный Эйлер тоже не смог возвратиться в

Россию.

Фридрих строжайше запрещал вербовать в своих владениях солдат для иностранных войск и повесил даже одного саксонского рекрута, но сам силой забирал саксонцев, поляков и проезжающих русских подданных. Именно таким образом был схвачен ехавший через Пруссию раскольник Зубарев. Но с этим человеком король обошелся еще хуже — он решил, что такого пленника лучше не использовать как солдата, а заслать в Россию, чтобы он взбунтовал там своих единоверцев, доведенных до отчаяния нетерпимостью Елизаветы. И Зубарев, получив две тысячи дукатов, перешел обратно через границу вместе с двумя солдатами.

Елизавета не скрывала своей неприязни к Фридриху. «Прусский король, — говорила она лорду Гинфорду, — воистину дурной государь, не имеющий страха Божия; он смеется над всем святым и никогда не бывает в церкви, это какой-то персидский Надир-шах». Злоязычие короля способствовало возникновению против него коалиции трех женщин: царицы Елизаветы, императрицы Марии Терезии и маркизы де Помпадур, некоронованной королевы Франции. Русский посланник Гросс, отозванный из Парижа в 1748 г. и переведенный в Берлин, после уже описанных нами унижений покинул прусскую столицу.

Но и Бестужев, перлюстрировавший депеши прусского посланника Мардефельда с не меньшей тщательностью, чем переписку французских представителей, делал все возможное, чтобы избавиться от этого дипломатического агента, который в его глазах был прежде всего шпионом. Все это привело в 1749 г. к разрыву отношений с Пруссией.

Бестужевым владела навязчивая идея — при первой же возможности сломить могущество Фридриха II. 7 мая 1753 г. канцлер читал императрице свою знаменитую промеморию, где перечислял всё возраставшие опасности со стороны этого соседа: захват Силезии, разграбление Саксонии, чьи миллионы позволили ему увеличить свою армию с 80 до 200 тыс. чел., претензии на Ганновер, Курляндию и Польскую Пруссию. «... Дед и отец его, не имевши толиких сил поблизости к России, не гордиться и ссориться, но союза с нею искать принуждены были, следовательно, и сим союзом и силы российские прирастали, по меньшей мере с той стороны опасаться нечего было. Напротив уже того, какая великая разность!»^[6] По мнению канцлера, интересы России требовали защищать те страны, которым угрожает Фридрих, и необходимо «изничтожить его силы». В 1756 г. Бестужев еще раз повторил, что надобно «сделать так, чтобы гордый сей государь вызывал лишь отвращение у турок, поляков и даже шведов».

При сложившейся в Европе общей ситуации не вызывало сомнений то, что война с Пруссией повлечет за собой столкновение с Францией и другими странами династии Бурбонов и рассчитывать можно было только на союз с Австрией и Англией. Франция, по всей видимости, неразрывно связала себя с Пруссией, и, кроме того, отношение к ней царицы становилось с каждым днем все более враждебным. Именно Франция в 1751 г. принудила Россию уйти из оккупированной уже Швеции^[5], и в то же время ее константинопольский посланник Дезальёр всячески старался поднять турок.

Но возобновить отношения между Версалем и Петербургом было трудно отнюдь не из-за нежелания Елизаветы. Напротив, еще с тех пор, когда она лелеяла надежды стать французской королевой, у нее всегда сохранялась живая симпатия к нашей стране и нашему королю. Она как будто унаследовала французские склонности своих родителей. Тогдашний ее фаворит, Иван Шувалов, любил все наше: искусства, язык, нравы, моды. Как сказал Фридрих в 1760 г., «он француз до мозга костей».

Но канцлер Бестужев не собирался сдавать свои позиции. Он ненавидел Фридриха, и это

была еще одна причина его неприязни к Франции как союзнице Пруссии. Всецелой своей политикой и всеми средствами, используя в том числе и черный кабинет^[7], он противодействовал сближению с ней. В 1754 г. был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость некий кавалер де Валькруассан, приехавший из Франции, возможно, с секретной миссией.

Доверенным самых интимных чувств царицы и в некотором смысле надзирающим за Бестужевым был вице-канцлер Воронцов. Так же, как и она, он неприязненно относился к Фридриху и благосклонно к Франции, но излишняя осторожность не позволяла ему открыто противодействовать видам своего официального начальника. Он ограничивался лишь тем, что внимательно следил за его политическими ошибками.

Правительства и дипломатии обеих стран упорствовали в своей взаимной враждебности. Однако у Людовика XV уже появилась своя собственная политика, отличная от правительственной, — начиная с 1747 г. в игру вступает его *секретная дипломатия*. С другой стороны, у Елизаветы еще сохранялись прежние симпатии, и, кроме того, ее начинала тяготить опека канцлера. Помимо официальной дипломатии, тайной полиции и черных кабинетов обе августейшие персоны находили средства и способы для взаимного изъяснения своих чувств. Пока кавалер де Валькруассан томился в Шлиссельбурге, некий французский негодник Мишель де Руан, живший в Петербурге и ездивший по делам в Париж, возил у себя в тюках политические депеши. В 1755 г. с секретными инструкциями короля в Петербург отправился шотландец Макензи Дуглас. Воронцов не решился представить его царице, однако согласился передать ей привезенные предложения, после чего Дуглас, несмотря на этот успех, сразу же уехал из Петербурга, опасаясь Бестужева. На следующий год он возвратился с письмом нашего министра иностранных дел уже как агент обеих дипломатий — секретной и официальной. Говорили, чтобы избавиться от него, Бестужев замыслил чуть ли не убийство. Тем не менее Дугласу удалось добиться приема у царицы и устроить подписание договора, о котором будет сказано далее (присоединение России к Первому Версальскому трактату). Подобный способ ведения политических дел обеими великими державами еще более оттенялся той ролью, которую играл один гермафродитический персонаж — секретарь Дугласа кавалер д'Эон. И только в июле 1757 г. королевский посланник маркиз де Лопиталь торжественно въехал в Петербург, а посланник царицы Михаил Бестужев, родной брат канцлера, занял пустовавшее уже восемь лет место в Париже.

Сближению России и Франции содействовал потрясший дипломатическую Европу неожиданный кризис, который называли «переворачиванием альянсов». Старые враги — Франция и Англия — снова вступили в войну, но на этот раз союзницей Англии была Пруссия, а Франции — Австрия.

Благодаря этому Австрия должна была привести нас к союзу с Россией. Столь невероятной комбинации европейских сил предшествовала еще более невероятная и запутанная интрига.

30 сентября 1755 г. Бестужев заключил с английским посланником Вильямсом соглашение, по которому Россия обязывалась за 500 тыс. фунтов стерлингов и годовую субсидию 100 тыс. выставить воинский контингент в 80 тыс. чел.

Ведя переговоры, Вильямс полагал, что британское золото пойдет на помощь Австрии против Франции, а Бестужев рассчитывал, что русские солдаты будут воевать с пруссаками. Ни та, ни другая сторона не посчитали нужным четко определить взаимные обязательства. Впрочем, Воронцов просил Бестужева поостеречься, как бы войска царицы не стали использовать вопреки ее намерениям и интересам. Он советовал, по крайней мере, отложить ратификацию договора. Но Бестужев был уверен, что английские субсидии позволят вести

против Пруссии необременительную войну «под именем и за счет другой державы». Он полагал, будто военные действия могут ограничиться со стороны России простой «диверсией» — своего рода военно-учебным походом, который возвеличит славу царицы, а «усердным и ревнительным генералам желанный доставится случай к оказанию и своего искусства, и храбрости; офицерство, которое и в последнем походе друг перед другом наперерыв идти искало, радоваться ж будет случаю показать свои заслуги. Солдатство употребится в благородных, званию его пристойных упражнениях, в которых они все никогда довольно экзерцированы быть не могут»^[8]. И он снова вычислял те суммы, которые можно сберечь на обещанных вооружениях, и прибыль на остатках, поступивших в казну. Корыстолюбие и продажность канцлера позволили Вильямсу найти аргументы, чтобы усыпить его проницательность. Воронцов отличался от Бестужева в лучшую сторону, поскольку понимал политику не только как договоры о продаже русских солдат иностранным державам.

Это соглашение испугало Берлин. Там всегда боялись и до сегодняшнего дня особенно боятся России — она столь близка, что вторжение восточного соседа может обернуться страшной катастрофой. Еще отец Фридриха II говорил: «Я знаю, как спустить с цепи русского медведя, но кто сможет потом опять прицепить его?» А сам король-философ в 1769 г. сказал принцу Генриху: «Это страшное государство, которое через сто лет заставит дрожать всю Европу». Он видел лишь одно средство, чтобы избавиться от такой опасности — заключить с Англией договор о субсидиях. Это соглашение и было подписано в Вестминстере 16 января 1756 г.: в обмен на денежную помощь Фридрих обязался выступить «против любой державы, которая нарушит целостность германской территории». Он не постеснялся денонсировать свой давний уже договор с Версалем и выступить в качестве наемника по отношению к стране, которая начала войну против нас с убийства Жюмонвиля и пиратских действий адмирала Боскавена^[6]. Он отверг все авансы Людовика XV, приславшего к нему графа Ниверне, чтобы возобновить договор о союзе. Король предлагал также прусскому посланнику Книпхаузену в качестве завидной добычи весь Ганновер и велел передать ему: «У короля Георга богатая казна, почему бы вашему повелителю не наложить на нее свою руку? Это будет недурной кусочек». Но от страха перед русскими Фридрих не мог даже слышать такие речи.

Не менее поразительно и то равнодушие, с которым Англия переменяла австрийский союз на прусский и мобилизовала свои силы и средства против Марии Терезии, столь преданно остававшейся на ее стороне во время последней войны^[7]. Без зазрения совести она соглашалась субсидировать одновременно и Россию, и Пруссию, хотя было совершенно очевидно, что обе эти державы лишь ждут ее денег, прежде чем наброситься друг на друга. В этом проявилось абсолютное пренебрежение к самым элементарным чувствам и интересам континентальных государств. Пусть Мария Терезия считает своим священным долгом возратить Силезию, Фридрих — отстаивать ее против всех и вся, а Елизавета — «подорвать силы» опасного соседа, Англия ничего этого и знать не хотела. На континенте ей нужна была только наемная сила, как бы таковая ни называлась: Австрия, Пруссия или Россия. Глубокомысленная политика Уильяма Питта не придавала ни малейшего значения тому факту, что договоры о субсидиях неизбежно повлекут за собой вооружение Пруссии против Австрии и России и зажгут европейский пожар со всех четырех концов.

Первым следствием Вестминстерского соглашения был отказ от Петербургского договора: Вильямс сначала как будто не понимал, что первое означает уничтожение второго. Он сражался, умолял, рассыпал обещания, даже проливал слезы, стеля, что «теперь Англия

погибла», но из Петербурга уехал с уверенностью в скором возвращении.

Совершенно не понял сложившуюся ситуацию и сам Фридрих: первое время ему представлялось, что Вестминстерский договор отдаст в его распоряжение русские войска, оплачивавшиеся англичанами. «У меня сто тысяч солдат. Если бы прибавить к ним и тридцать тысяч русских!» Еще в мае он принимал меры для подготовки их высадки в Померании, что позволило бы угрожать естественным союзникам Франции — шведам.

25 марта 1756 г. при дворе собралась под председательством Елизаветы Конференция, на которой было решено следующее: 1. Побуждать Австрию напасть на Фридриха II и обещать ей для этого 80 тыс. солдат; 2. Склонять Францию к неучастию в войне на континенте, имея в виду, что она и так уже занята своим конфликтом с Англией; 3. Приготовлять Польшу к проходу русских войск через ее территорию; 4. Стараться удерживать в бездействии турок и шведов; 5. Ослаблять Фридриха II, вынуждать его возвратить Силезию Австрии и отдать России Восточную Пруссию (каковую провинцию предполагалось затем уступить Польше в обмен на Курляндию и исправление украинской границы)^[9].

Сообщение о Вестминстерском договоре передал петербургскому двору 19 февраля австрийский посланник Эстергази. Россия была уже связана с Австрией договорами 1726 и 1746 гг. Однако в марте в величайшей тайне были согласованы еще и предварительные статьи нового оборонительного и наступательного соглашения, и оно было подписано 2 февраля 1757 г. В соответствии с ним каждая из обеих держав должна была выставить против Фридриха II по 80 тыс. солдат, а Россия обязывалась не прекращать военных действий до тех пор, пока Австрия не возвратит себе графство Глац. За это она должна была получать от Австрии ежегодную субсидию в миллион рублей.

Вестминстерский договор повлек за собой и другие последствия. Он утвердил версальский двор в его намерениях сблизиться с Австрией и ускорил заключение такого союза, который дипломаты традиционной школы считали невероятным и противоестественным. 1 марта 1756 г. в Версале был подписан договор между Францией и Домом Габсбургов: для начала Людовик XV предоставлял в его распоряжение корпус всего из 24 тыс. чел. После вторжения Фридриха в Саксонию к нему, согласно Стокгольмскому договору 21 марта 1757 г. между Австрией, Францией и Швецией, присоединился двадцатитысячный шведский контингент. Затем в соответствии со Вторым Версальским договором 1757 г. французские войска в Германии были увеличены до 175 тыс. чел. Третий Версальский договор 1758 г. установил их численность в 100 тыс. Франция всеми своими силами вступила в войну на континенте.

Велика была радость в Петербурге при известии о Первом Версальском договоре. Ведь там в лучшем случае надеялись лишь на нейтралитет Франции и сдерживание шведов и турок. А теперь нейтралитет сменился совместными действиями. Из двух партнеров Франции — Швеции и Турции, одна превратилась в союзника, и была обеспечена нейтральность второй. Россия последовательно *присоединилась* ко всем этим договорам: Первому Версальскому, Стокгольмскому и Третьему Версальскому.

И все же она не была союзницей Франции в более тесном смысле, а сотрудничала лишь через посредство своего союзника — Австрии. Хотя у Людовика XV находился не только посланник в Петербурге, но и военные атташе при армиях царицы, он никогда не согласился бы войти в прямые переговоры с петербургским двором, за исключением, быть может, того, что касалось торговых отношений. Он никогда не предложил бы субсидий этой бедной еще стране на ведение войны и предпочитал давать деньги Австрии для последующей передаче России. Таким образом, эта последняя входила в коалицию держав лишь в силу договоров с Австрией 1726 и 1746 гг., которые были направлены против нас. Франция стремилась низвести

ее от статуса участницы до положения вспомогательной державы. Насколько было возможно, Россию принуждали подчинить свою политику и даже ведение войны австрийским интересам. Политика Австрии, оставшаяся по самой своей сути эгоистической, и ее весьма неумелые военные действия явились первыми причинами неудач всей коалиции.

Правительство Елизаветы поняло это раньше, чем министры Людовика, и сожалело о подчинении Франции австрийским интересам, к чему старались принудить и Россию. Оно не хотело поддаваться этому и стремилось освободить даже и нас от столь сомнительной опеки. Несколько раз, и даже в декабре 1760 г., царица и официально, и тайным образом предлагала Людовику XV заключить новый договор, более обширный, чем те простые соглашения о присоединении России к коалиции. Но король каждый раз не соглашался на это.

У него были к тому свои особые соображения. Если вследствие сближения Франции и России прекратится противостояние двух дипломатий в Стокгольме, Варшаве и Константинополе, зародыши конфликта все равно не исчезнут: Людовик всегда опасался русских притязаний, в особенности по отношению к своим традиционным союзникам — Швеции, Турции и Польше. Но прежде всего это касалось Польши — во время войны он неоднократно приносил ради нее в жертву интересы коалиции и даже самой Франции. Но польские интересы он понимал самым узким, ограниченным образом и, несмотря на свое положение абсолютного монарха, восхищался теми «свободами», а на самом деле анархией аристократов, которая в конце концов и погубила эту страну. Не только его официальная, но и тайная дипломатия всегда пристально следили за тем, что происходит в Польше. Ни один русский корпус не прошел через ее территорию на театр военных действий без того, чтобы агенты короля в Варшаве и Петербурге не заявляли по этому поводу протестов. Людовик XV и слышать не хотел ни о присоединении к России Восточной Пруссии, ни об обмене этой провинции на Курляндию, ни даже о каком-либо исправлении границы в столь далекой Украине.

И разве мог этот монарх, так щепетильно относившийся к целостности Польши, оставаться безучастным в случае ее раздела?

Людовик XV не стремился к истинно дружественным отношениям с Россией. В инструкциях своим посланникам он неустанно предостерегает от этой утопии: «Расстояние между нашими державами столь велико, что никакой тесный союз невозможен». Именно поэтому, а также из страха перед усилением России он не хотел ее побед даже над общим врагом. Победив Фридриха, русские станут «слишком требовательными и дерзкими». А в случае их поражений можно утешаться тем, что «у русского правительства уже не возникнет таких притязаний, каковые могут быть затруднительны и неудобны».

Да и австрийцы тоже не очень-то жаждали громких русских побед — мы не раз увидим, как они мешали действиям своего союзника, пытались ослабить его успехи и даже ставили ловушки для русских генералов.

И разве эти скрытые интересы при внешнем единстве, эти страхи и соперничество прежних лет, эта ревность к успехам союзника и боязнь его побед не должны были неизбежно обессилить всю мощь континента, объединившегося против самой малой из воинственных монархий?

Другие причины слабости характерны именно для России. Казалось, что она должна была действовать со всей энергией автократического правления. Но на самом деле не произошло ничего подобного. Если где и видны в течение этой войны единство взглядов, последовательность идей и совокупность усилий, то никак не в Петербурге, а прежде всего в военном лагере Фридриха и в Лондоне, несмотря на весь шум и треск тамошних

парламентских дебатов. Русское самовластие оказалось неспособнее британской олигархии. Мы обманываемся чисто внешними проявлениями — на самом деле в Зимнем дворце было больше партий, и к тому же значительно более враждебных и непримиримых, чем в Вестминстерском. Советники Елизаветы смотрели на войну против Фридриха совершенно разными глазами. Тот союз с Францией, в отличие от нынешнего ^[8], не имел национального характера, народ ничего не знал о нем, армия оставалась безразличной. Даже русская аристократия смотрела в сторону Зимнего дворца или Царского Села, стараясь угадать, как следует понимать все происходящее.

Ведь прошло совсем недолгое время с того дня, когда французский посланник жаловался на то, что русское общество игнорирует его приемы, когда ему было велено покинуть столицу, а Франция интриговала в Швеции и в Константинополе. Ведь эти французы, против которых русские сражались у Данцига и дважды устраивали военные демонстрации на Рейне ^[9], были, в конце концов, все теми же немцами, еретиками. Этот новый союз начинался интригой с участием торговца *галантереей*, шотландского авантюриста и некоего кавалера непонятного пола. Это был лишь полусоюз, второстепенный по отношению к союзу Франции с Австрией, и поэтому он не давал России никаких выгод, тем более что Франция продолжала поддерживать турок, шведов и поляков. Все здесь висело на тонкой нити — жизни болезненной и раньше времени постаревшей женщины.

За союз с Францией и войну против Пруссии твердо стояла сама императрица, ее фаворит Шувалов, а с ним и все Шуваловы, вице-канцлер Воронцов и все Воронцовы. Вспомним, что через пятьдесят лет, в 1807 г., в России не было убежденных сторонников франко-русского союза, кроме императора Александра и его министра Румянцева. Что касается великого канцлера Елизаветы, то, как уже говорилось, он бросился в этот союз из ошибочного расчета и стал жертвой английского двуличия. Это сильно понизило Бестужева в глазах царицы и подняло кредит его соперника Воронцова. Канцлер собирался воевать с нами, но неожиданно для себя вдруг оказался нашим союзником. После этого он перестал быть непогрешимым, но в то же время и не примирился с Францией, в лучшем случае проявляя нерешительность и вялость при всех своих уверениях о полном забвении враждебных чувств. Но зато другие оставались решительно враждебными. И теперь следует сказать о молодом дворе, который возник уже на склоне лет императрицы.

Со времени своего восшествия на престол Елизавета выказывала твердую решимость не выходить замуж, по крайней мере официально. Но в то же время был нужен наследник, и она вызвала для этого из Голштинии юного принца, бывшего плодом союза ее сестры с герцогом этой страны. Его крестили по русскому обряду и назвали Петром *Федоровичем*, хотя отца звали Карл Фридрих. Несмотря на то что этого голштинского внука Петра Великого привезли в Россию четырнадцатилетним мальчиком, он так и остался истинным немцем. К нему был приставлен другой голштинец, Брюммер, про которого один из современников сказал, что ему больше пристало дрессировать лошадей, чем воспитывать принцев. Он бил своего подопечного и привязывал за ногу к кровати, но оказался абсолютно неспособен хоть чему-то научить его. Мало кого из престолонаследников судьба обделила до такой степени, как Петра: низкорослый и тщедушный, чуть ли не урод со следами оспы, он казался совершенно лишенным ума, храбрости и доброты. Женившись в восемнадцать лет, Петр Федорович пренебрегал супружеством, проводя время среди детских забав: играл с лакеями в оловянных солдатиков, сек собак и пикировал на скрипке. Книги и вообще любые умственные усилия вызывали у него отвращение.

В жены ему дали тоже немку — принцессу Софию Ангальт-Цербст-Дорнбургскую,

которая после русского крещения стала Екатериной *Алексеевной*, хотя ее отца звали Христианом Августом. В то время он был самым младшим в Дорнбургской династии, которая в свою очередь являлась младшей ветвью Ангальт-Цербстского дома. Ему пришлось искать службу в Пруссии, он стал там генералом и командовал гарнизоном Штеттина. Фридрих II, прослышав о проекте саксонского брака для русского наследника, сказал: «Ничто столь не противно интересам Пруссии, чем союз России и Саксонии, но было бы совершенно противоестественным пожертвовать прусской принцессой ради того, чтобы оттеснить саксонку». Зато не показалось противоестественным предложить для этого дочь мелкого князька, которого он сделал генералом. Даже не уведомив самого Христиана Августа, Фридрих сосватал ее. Для Елизаветы это предложение оказалось тем более приемлемым, что мать Софии происходила тоже из Голштинии. Екатерина II описала в своих мемуарах, изданных Герценом, какой была жизнь великой княгини среди этого двора, кишевшего интригами и ловушками, между пренебрежительно обращавшейся с ней императрицей, мужем, который с первого же взгляда внушил ей отвращение, канцлером Бестужевым, выслеживавшим и ненавидевшим ее как креатуру своего врага Фридриха, матерью с ее беспокойным характером и компрометирующими интригами, молодыми придворными, стремившимися лишь погубить ее, и старыми, которым, подобно Шуваловым, было поручено следить за нею и выискивать малейшие оплошности. Сколько перенесла она унижений, сколько слез пролила! Но плакать ей запретили даже тогда, когда умер отец: «Не пристало великой княгине слишком долго оплакивать отца, который не был королем». Потом из-за глупых бестактностей матери ее чуть было не отослали вместе с ней обратно в Германию.

Но будущая Екатерина II, как прирожденный *straggler-for-life*^[10], была хорошо вооружена для жизненной схватки. Природа наделила ее утонченной и величественной красотой, сочетавшейся с присущей для блондинок мягкостью. Хотя слезы на ее голубых глазах нисколько не трогали мужа, зато вызывали жалость подозрительной императрицы и сочувствие даже у неблагожелателей. Живой ум сделал из нее великого человека. Она приехала в Россию, уже обладая утонченной, насквозь французской культурой, чем была обязана своей штеттинской воспитательнице мадемуазель Кардель. Во время бесцветных досугов придворной жизни она пристрастилась к книгам и читала все написанное французами: Расина, Мольера, Монтескье, даже Буало и Брантома. Пока муж забавлялся марионетками, она записывала в свои юношеские тетради уже вполне зрелые мысли, однако остерегалась проявлять слишком глубокие познания и свободомыслие. Окруженная, по ее словам, святошами и ханжами, Екатерина выказывала глубочайшее рвение к православию, столь недавно ею воспринятому, и соперничала в набожности с тетушкой Елизаветой, строго соблюдая посты и не боясь утомить себя богослужениями, сколь бы долго они ни продолжались. Природная немка, приехавшая в Петербург четырнадцати лет, она знала русский язык лучше туземных придворных и считала себя более русской, чем потомки Рюрика. Но самое главное, она очень здраво судила о жизни, ясно понимала свои цели и не страшилась смотреть будущему прямо в лицо. Она так описала свои впечатления от первого свидания с женихом: «Сердце не предсказывало мне большого счастья, но честолюбие вдохновляло меня. В глубине души было нечто невыразимое, не дававшее мне ни на минуту усомниться в том, что я буду императрицей России, чего бы это ни стоило». Чего бы это ни стоило — то есть в случае необходимости и через устранение мужа. Возможно, что в своих девических мечтах она уже предвидела, и притом без испуга, ту катастрофу, которая произошла восемнадцать лет спустя.

Однако честолюбие не мешало ни ее сердцу, ни ее чувствам, хотя обращены они были

совсем не к Петру Федоровичу. Екатерина находилась под неусыпным надзором и в то же время видела вокруг себя все самые дурные примеры развращенного двора. Иногда соглядатаям удавалось мешать ее любовным интригам, и тогда внезапно исчезали те молодые смельчаки, чьи домогательства встречали не столь уж суровый прием. Тетушка, ждавшая от нее наследника престола, хотела, чтобы он происходил от законного мужа. Но когда поняли, что здесь надеяться не на что, надзор был ослаблен. То влияние, которое мог оказывать на великую княгиню «красавец Салтыков»^[10], по всей видимости, не имело никакого политического характера^[11]. Его очень быстро отправили в Швецию с известием о рождении императорского принца (будущего Павла I), а затем посланником в Гамбург, и он так и не возвратился ко двору. После него в милость вошел Станислав Понятовский, которого впоследствии Екатерина сделала польским королем. Салтыков не влиял на политику, и дипломатический корпус в Петербурге почти совершенно не интересовался им. Другое дело Понятовский, и мы скоро увидим, какова была его роль. Забеспокоился французский двор. Его представитель в Варшаве добивался отзыва Понятовского и преуспел в этом. Однако же через не долгое время тот снова оказался в Петербурге и в еще большем фаворе. Понятовский часто фигурирует в переписке наших посланников: де Брольи и Дюрана в Варшаве, Лопиталья и графа де Бретёйля в Петербурге и даже в тайной корреспонденции Людовика XV с Елизаветой. Новая любовная связь великой княгини стала государственным делом, она влияла на европейское равновесие.

Как относились великий князь и великая княгиня к сотрясавшему всю Европу кризису? Первый из них представлял собой довольно незамысловатую личность, как бы слепленную из одного куска. Во-первых, несмотря на принятие православия, он так и оставался немцем, голштинцем, и не упускал случая, чтобы высмеять ритуалы национального культа. У будущего российского императора не находилось для своих подданных ничего, кроме презрения. Он сожалел о своем голштинском герцогстве, которое унаследовал, уже находясь в России, и часто повторял: «Меня затащили силой в эту проклятую Россию... А ведь я уже мог бы быть на троне цивилизованной страны». Его германофильство выливалось в фанатическое, безрассудное восхищение немецким героем — Фридрихом II. Сменив оловянных солдатиков на живых людей, он продолжал свои забавы с конюхами, переряженными в военную форму, и стал «обезьяной прусского короля», что сохранилось у него до конца жизни. В Конференцию, то есть в государственный совет, заседавший под председательством самой Елизаветы, он являлся лишь для того, чтобы словами или молчанием выразить свое несогласие. В 1756 г. Петр не подписал решение о возобновлении дипломатических отношений с Францией. Все меры, направленные против Пруссии, вызвали у него глубокую печаль и неистовый гнев. Во время войны он сокрушался русскими победами и радовался неудачам. Тетушке пришлось убрать его из Конференции, поскольку великого князя подозревали в передаче дипломатических и военных секретов своему кумиру. Австрия, чтобы несколько сгладить враждебность Петра Федоровича, воспользовалась его слабым местом — заключила с ним как с герцогом Голштинским сепаратный договор, по которому он в обмен на весьма значительную субсидию предоставил в ее распоряжение голштинскую армию, то есть несколько жалких батальонов.

Более сложными были отношения и политика великой княгини. Фридрих облагодетельствовал ее замужеством, поставив на ступени императорского трона. Прусский король надеялся найти в ней союзника, который помог бы ему остановить нашествие русских, казаков и татар, угрожавшее заполнить его земли. Но она не любила Фридриха. В 1755 г. Екатерина говорила английскому посланнику: «Это не только естественный враг

России, но еще и худший из людей». Тогда она была всецело на стороне Англии. Британский консул Роутон устраивал в своем доме ее первые свидания с Понятовским. Посланник Вильямс также благоволил этой интриге, именно он привез Понятовского в Петербург в качестве одного из своих секретарей. А французская дипломатия, напротив, всячески осуждала и мешала этой связи, что во многом повлияло на политический выбор Екатерины. Кроме того, она нуждалась в деньгах, а тетушка держала ее на коротком поводке. Зато у Англии была щедрая рука. Вильямс побуждал Екатерину сбросить слишком натянутые поводья, «перестать сдерживать себя и заявить во всеуслышание о тех, кого она удостаивает своими милостями, показав при этом, что воспринимает как личное оскорбление все направленное против них». В ответ она «всегда говорила об английском короле с выражениями глубочайшего уважения и почитания», считая его «лучшим и величайшим другом императрицы», не сомневаясь «в пользе тесного союза России и Англии» и льстя себя надеждой на то, что и «король удостоит своей дружбой великого князя и ее самое»^[12]. В апреле 1756 г. она заявила, что «всякий покушающийся разрушить союз Англии, Австрии и России не может быть другом сей Империи», а в июле того же года просила Вильямса подтвердить королю «преданность великой княгини его особе» и выказывала «сильнейшее беспокойство в связи со слухами о союзе с Францией и прибытии французского посланника». Екатерина поведала также и о своих денежных затруднениях, поскольку ей «приходилось всем платить, вплоть до горничных императрицы». Вильямс передавал ей, что «все до последнего су будет использовано на то, что почитает она общим делом и авантажу обеих наций споспешествует». Екатерина просила 20 тыс. дукатов и получила их. Правда, Бестужеву перепадало намного больше — до 2500 английских фунтов, да он еще брал и из других рук: 10 тыс. дукатов от Франции и, кроме того, еще прусские и австрийские деньги. Таковы были нравы того времени. И когда Вильямс после всех неудач был вынужден покинуть Петербург, Екатерина продолжала писать ему: «Я буду использовать все мыслимые и немыслимые возможности, дабы привести Россию к тому, что почитаю истинным ее интересом — а именно к тесному союзу с Англией». Если бы подобная переписка была раскрыта, ее сполна хватило бы для процесса о государственной измене. Но доверительные признания Вильямсу шли еще дальше и касались куда более деликатных материй. Она осмелилась говорить о том, что намерена делать в случае смерти царицы буквально в первые же минуты: «Я незамедлительно пойду в комнату сына ... и пошлю доверенного человека уведомить пятерых гвардейских офицеров, каждый из коих приведет по пятьдесят солдат ... Я же пойду в комнату умершей и приму присягу капитана гвардии, после чего возьму его с собой». Она рассчитывала на содействие генералов Апраксина, Ливена, Бутурлина, канцлеров Бестужева и Воронцова и присовокупляла далее: «Я решилась или царствовать, или погибнуть».

Пока у императрицы сохранялось крепкое здоровье, она была всемогуща. Министры, придворные и дипломаты могли не заботиться о том, что думают великий князь и великая княгиня. Но с началом Семилетней войны у Елизаветы начались приступы слабости и обмороки. Самые преданные ей семейства — Шуваловы и Воронцовы — пребывали в страхе и ужасе. Временщики-фавориты начинали побаиваться, а иные любимцы питать надежды. Заволновалась и Европа: от страха в Версале, Вене и Дрездене и с надеждой в Лондоне и в лагере Фридриха. Обмороки императрицы были политическим и дипломатическим фактором первойей важности. Весь мир замер в ожидании у постели Елизаветы. Но для нее самым опасным было то, что фавориты всячески исхитрялись утаивать правду и не допускали к ней докторов, более опасаясь слухов, чем надеясь на лекарства. Наконец, маркиз Лопиталь со всеми вообразимыми предосторожностями в выражениях дал понять фаворитам, что именно связывает их интересы с французскими, и указал на некоего доктора Пуассонье —

знаменитого хирурга и одновременно выдающегося специалиста по женским болезням. Он внушил им необходимость выписать его в Россию, чтобы осмотреть императрицу. Конечно, тайна должна строжайше сохраняться, и можно будет найти какой-нибудь предлог, например поездку с учеными целями, для объяснения всего этого. Лопиталь очень надеялся, что вояж Пуассонье будет одновременно иметь характер и политический, и медицинский и поспособствует укреплению здоровья той, которая столь драгоценна для антипрусской коалиции. Кроме того, сам врач может оказать на свою августейшую пациентку благоприятное для французских интересов влияние. Пуассонье действительно явился в Петербург, но у императрицы уже был доктор — грек Кондоиди, носивший мундир генерал-лейтенанта. Он отказался консультироваться с соперником, да еще таким, который не был ни лейб-медиком, ни государственным советником. И лишь когда Пуассонье получил звание почетного члена Петербургской академии, генерал-лейтенант от медицины смягчился и позволил осмотреть больную. Французский доктор нашел у Елизаветы несколько серьезных болезней, однако счел возможным успокоить версальский кабинет относительно какой-либо серьезной опасности в настоящее время, хотя ничего не гарантировал на будущее. Но именно на будущее и возлагал все свои надежды *молодой двор*.

В России тогда было по меньшей мере четыре партии: брауншвейгского семейства, смотревшая в сторону Шлиссельбурга с надеждой на реванш за переворот 1741 г.; партия самой императрицы, которая могла полностью доверять лишь кланам трех фаворитов — Разумовским, Шуваловым и Воронцовым; партия великого князя, весьма, впрочем, малочисленная, потому что все окружающие уже поняли его ничтожество; и, наконец, партия великой княгини, стремившаяся, невзирая на голштинцев, сделать Екатерину императрицей, или в качестве соправительницы с сыном, или же *единоличной самодержицей*. Именно эта партия усиливалась день ото дня по мере того, как здоровье царицы становилось все более шатким, а великий князь все более ненавистным для русских. И вот уже сам Бестужев, столь долгое время бывший врагом и преследователем Екатерины, начал сближаться с ней и комбинировать всяческие проекты, в которых великому князю отводилась лишь роль жертвы. Нетрудно понять, что все эти придворные интриги неизбежно оказывали свое влияние на действия армии.

Таким образом, складывавшаяся против Фридриха II коалиция была уже внутренне разьединена противоречивыми интересами Франции, Австрии, России, Швеции, Саксонии и других германских государств. А в самой России противостояли друг другу неясные стремления старого и молодого дворов.

С каким же противником предстояло теперь сразиться? Государство Фридриха II было, несомненно, одним из самых мелких среди великих держав. Однако каждый пруссак мог стать солдатом, прусская армия была организована лучше всех в Европе, и никто не умел так командовать войсками, как прусский король. Наконец, он мог рассчитывать еще и на неискоренимую галлофобию, огромные финансовые ресурсы и сокрушительные морские диверсии со стороны Англии. Именно она и была столь необходимым для Пруссии союзником, возмещая бедность последней своими богатствами и дополняя чисто сухопутные силы мощнейшим во всем мире флотом. Англией правила аристократия, которая при всех парламентских спорах и бурях была в своих идеях последовательнее и способнее подчинять подданных, чем любой деспот. А стоявший во главе Пруссии деспот умел мыслить как гражданин и философ. Перед лицом разделенной Европы Фридрих соединял в себе все силы государства, все ресурсы нации, будучи одновременно абсолютным монархом, главнокомандующим и своим собственным первым министром. Он был самым великим государем эпохи и одним из лучших полководцев всех времен. Его ум из самых непредвзятых

и свободных сочетался при всей непреклонности и твердости с таким сердцем, которое вдохновлялось чувствами героической добродетели. Что могли значить какие-то там Людовик XV, Адольф Фредерик Шведский, Елизавета, даже Мария Терезия рядом с тем, кто был властителем умов XVIII века, королем воинов, кто соединял в себе абсолютного монарха и преданнейшего гражданина Отечества и в римском, и в современном смысле этого слова? Какой из монархов коалиции был способен чувствовать и писать так, как Фридрих из своего лагеря у Локовица с излияниями братских чувств к своей сестре Амалии:

«Умоляю вас, возвысьтесь над суетой событий. Думайте об отечестве и нашем первейшем долге защищать его. А если узнаете, что случилось с кем-нибудь из нас несчастье, спросите, пал ли он на поле брани, и в таком случае вознесите хвалу Господу. Для нас есть или смерть, или победа ... Неужели, желая, чтобы все жертвовали собой ради Государства, вы не хотите видеть примеров сего от ваших братьев? Ах, любезная сестра, теперь уже ничто невозможно изменить. Или на вершине славы, или во прахе. Предстоящая кампания подобна Фарсалу^[11] для римлян, Левктрам для греков^[12], Денену^[13] для французов или Венской осаде для австрийцев^[14]. Это целые эпохи, каковые решают все и изменяют лицо Европы ... Не нужно отчаиваться, но все предвидеть и хладнокровно принимать свою судьбу, не гордясь успехами и не унижаясь неудачами».

Благодаря всем этим причинам последнее слово осталось все-таки за Пруссией и Англией, Фридрих II сохранил все свои провинции, а Сент-Джеймский кабинет^[15] сумел завладеть французскими и испанскими колониями.

У Семилетней войны были свои извилистости — сражаясь с французами, австрийцами и шведами, Пруссия попеременно то одерживала победы, то терпела неудачи. Но самые жестокие поражения нанесли ей русские. Они трижды разбивали ее полки и захватили ее столицу. Только один раз, при Цорндорфе, Фридрих смог похвалиться победой над ними. Впрочем, мы увидим, что в тот день он и сам не был уверен в этом. Русская армия с ее громовыми победами и цепкой обороной, единственная во всей коалиции ушедшая с поля брани победоносной, стоила много большего, чем ее правительство, ее дипломатия, а подчас и ее генералы. Рассмотрим теперь, как была организована эта армия.

Глава вторая. Русская армия в эпоху семилетней войны



К времени смерти Петра Великого (1725) русская армия насчитывала около 200 тыс. чел. Царица Анна Ивановна довела ее до 231 тыс., а Елизавета — до 270 тыс. (1747). В 1756 г. в русской армии по штату числилось 331 222 чел., и, таким образом, она могла считаться наисильнейшей в Европе. Бестужев так оценивал армии других великих держав: Франции — 211 тыс., Австрии — 139 тыс., Пруссии — 145 тыс. Однако Англия имела всего 10 тыс., Саксония — 18 тыс., Польша — 16 тыс. Но если все эти страны, исключая Польшу, действительно обладали такими силами, а прусский король мог выставить даже и значительно большие, цифры относительно России, значившиеся на бумаге, весьма существенно отличались от того, что было в наличии.

Эта огромная сила состояла из *регулярной*, так называемой *полевой действующей армии* (172 440 чел.); *гарнизонных войск* (74 548 чел.); *ландмилиции* (27 758 чел.); *артиллерийского и инженерного корпуса* (12 937 чел.) и 43 739 чел. *нерегулярных войск*. Фактически, за вычетом императорской гвардии (остававшейся в Петербурге для охраны самой царицы и поддержания порядка), гарнизонных войск и ландмилиции, которая наблюдала за спокойствием финских и татарских народцев, неорганизованных сил, находившихся слишком далеко, а также *некомплекта* почти во всех полках, в распоряжении всей этой огромной империи для наступательных действий в Европе было не более 130 тыс. чел.

Регулярные войска, как пехота, так и кавалерия, рекрутировались только в десяти губерниях Великороссии. Все другие части империи были освобождены от этой тяжелой повинности: балтийские провинции, где немецкое дворянство и бюргеры господствовали над сельским населением финской расы на севере и литовской на юге; Малороссия, которая еще менее века назад находилась под польским владычеством; территории на Яике, Нижней Волге и Дону, заселенные казаками; наконец, бассейн Средней Волги с финнами или финно-тюркскими (финно-угорскими — Д.С.) народцами, татарами, мордвой, чувашами, черемисами, мещеряками, башкирами, калмыками и т. д.

Таким образом, налог на кровь взимался только с одной расы, именно той, которая и создала империю. Распределялся он весьма неравномерно. Сначала так же, как и в старой Франции, от него освобождались дворяне и духовенство. Купцы, ремесленники, ямщики и почти все население городов могло покупать себе освобождение или выставлять взамен другого рекрута. Даже однодворцы, то есть свободные крестьяне, или платили деньги, или записывались в ландмилицию, или комплектовали команды рассыльщиков служили денщиками при офицерах.

Вся тяжесть рекрутской повинности ложилась на крепостных крестьян, принадлежавших дворянам, короне, монастырям и другим сообществам. И при этом жалели даже не самого крестьянина, попавшего в рекруты, но его владельца, лишившегося своей собственности. Не было ничего подобного нашим теперешним наборам или жребию XVIII в. Закон указывал лишь на количество и возраст рекрутов и не делал никакого различия между холостыми и женатыми, отцами и кормильцами семейств. Все отдавалось на усмотрение владельцев. Монаршим указом объявлялся набор такого-то количества солдат на тысячу душ, и помещики должны были поставить этот контингент. От них совершенно не требовалось объяснять свой выбор, и они могли отдавать крестьянина неприятной наружности или

замеченного в нерадивости или каких-то провинностях. Не учитывались ни престарелые родители, ни невеста, ни жена, ни дети. Рекрутчина была одним из тех способов, которым хозяин мог наказывать своих рабов. Часто новобранцев везли на телеге скованными по рукам и ногам. Надев мундир, человек мог уже никогда не увидеть свою деревню — продолжительность службы не определялась никаким законом. В армии рядом с очень старыми солдатами были и совсем молодые. Масловский приводит случай трех кирасиров, представших перед военным судом: один тридцати лет, второй тридцати шести и третий шестнадцати. Когда солдат был уже не способен к службе даже в гарнизонных полках, ему давали небольшую пенсию и прокормление при каком-нибудь монастыре или землю для поселения в отдаленной губернии. В тогдашней России мы не видим ничего подобного тому щедрому попечению, с которым Людовик XIV относился к своим ветеранам из Дома Инвалидов^{16}. Впрочем, у русских было не намного лучше и по сравнению с нашими порядками XVI в., когда отставным солдатам, не устроившимся при монастырях, оставалось заниматься лишь воровством или нищенством.

Сам процесс рекрутского набора занимал по разным причинам много времени. Еще дольше новобранцы добирались через огромную империю к запасным или полевым полкам. Лишь к концу 1756 г. армия получила людей, набранных по указу 1754-го. То же самое повторялось и в последующие годы. Много рекрутов гибло по дороге, не вынеся лишений и тоски по родной деревне, от того, что были острижены их длинные волосы и бороды, без которых по понятиям славянских крестьян человек перестает быть «созданием Божиим». В народном языке «забривать» и означало поступление в солдаты.

В отличие от французской армии и армий большинства других стран того времени, русская не комплектовалась путем вербовки. В ней не было вольноопределяющихся — жители городов не имели склонности к военному ремеслу, а в сельской местности все находилось в рабском состоянии. Петр Великий издал закон о приеме на военную службу крепостных, но впоследствии, чтобы не ущемлять помещиков, он был отменен и уже не восстановлен Елизаветой. Это показывает, что правительство совсем не заботилось о вербовке. Оно брало бродяг не в действующие полки, а распределяло по гарнизонам. Перестали принимать и иностранных волонтеров; когда об этом зашла речь в начале Семи летней войны, Елизавета заявила, что «не желает содержать иностранцев лучше, чем собственных своих подданных». А плата и продовольствование в ее полках не могли быть достаточной приманкой для поляков, немцев или французов.

Регулярная русская армия, по крайней мере в отношении простых солдат, была чисто национальной, что составляло разительный контраст с Пруссией — Фридрих II пополнял свои кадры рекрутами из Саксонии и Польши, принимая дезертиров и авантюристов. Он силой забирал крестьян, курьеров и даже военнопленных из саксонской, австрийской, французской и русской армий. Его войско, по выражению Мишле, являло собой настоящий «наряд Арлекина». Это была какая-то передвижная тюрьма, где одна лишь железная дисциплина могла заставить людей исполнять свой долг. Поэтому после каждого поражения из полков бежали толпы дезертиров. Удивление русских солдат такими порядками выражено в народных песнях, сохранившихся от того времени: «У злого короля все войско чужое — одни наемники да пленники».

Регулярная русская армия, комплектовавшаяся почти целиком крестьянами, то есть физически самыми крепкими и нравственно самыми чистыми людьми нации, была точным отображением России — терпеливая, послушная и выносливая. Русские *солдатские песни* исполнены печали, в них говорится о «солдатушках, бедных ребятушках», забранных из родной деревни, из своей теплой избы с ее большой печкой, где так хорошо спать;

оторванных от безутешной невесты, которая, быть может, очень скоро и утешится. Но по прошествии недолгого времени в учебной команде из чуждого военному ремеслу крестьянина формировался настоящий солдат.

Для него, привыкшего к бедному и суровому существованию, не было ничего невыносимого в солдатской еде и казарменной жизни. Воспитанный в повиновении даже капризам своего барина, он не слишком тяготился приказами офицеров и нередко снова попадал под начало прежнего владельца. Хотя и не слишком сильно, он все-таки гордился именем русского, преклонялся перед царем и приносил под знамена свою пламенную набожность и глубокие верования, которые были внушены ему священником и семьей. Все это давало уже немалые средства для влияния на него начальников, если, конечно, в них самих была «русская душа». Накануне битвы перед фронтом всей армии под пение псалмов и курение ладана выносили знамена, кресты и чудотворные иконы. Солдаты исповедовались и причащались, а во сне им виделся рай, уготованный для положивших свою жизнь за Бога, Царя и Отечество. Утром они надевали белые рубахи, крестились и вставали в строй. Невзирая на войну, русский солдат держал тогда строгие и долгие посты, предписанные православной церковью. К этим лишениям присоединялись еще и все злоупотребления интендантской службы. Генералы жаловались, что во время маршей и боев солдаты доходили до истощения. Даже набожная Елизавета просила Святой Синод о смягчении постов для армии.

Солдатская одежда, хотя и далекая от роскоши, в основном соответствовала условиям страны и климата. В 1802 г., то есть в эпоху, когда время Елизаветы по сравнению с пруссофильскими новациями Павла I казалось золотым веком, тогдашний посланник в Лондоне Семен Воронцов восхвалял прежнее устройство армии: «Петр Великий, заимствуя в чужих краях все полезное, не подражал никому в обмундировании войск. Он хорошо понимал, что в Пруссии $\frac{2}{3}$ солдат иностранцы и там более заботятся об экономии денег, нежели о сохранении людей. Поэтому он одел свою армию в плащи и сапоги, каковых не бывало у пруссаков, поелику стоили они изрядных денег»^[13]. Воины Елизаветы также носили эти добротные сапоги, теплые плащи и просторные брюки (в отличие от обтягивающих, которые были введены впоследствии), что давало столь необходимую для солдата свободу движений.

Покрой мундиров соответствовал принятому тогда во всех европейских армиях, хотя следует заметить, что преобладала все-таки французская военная мода. Например, форма русских драгун почти не отличалась от того, что было надето на наших кавалеристах при Фонтенуа: голубой камзол с желтыми обшлагами и отворотами, кожаные штаны и почтальонские ботфорты. Пехота, как и кавалерия, носила широкие треуголки, а вернее двухуголки. В некоторых полках головные уборы напоминали епископские митры и ослепительно блестели позолоченной медью. Гусары, как и у нас, отличались от всей остальной армии некоторыми традиционными особенностями, взятыми из венгерской моды: высокой круглой шапкой, коротким бранденбургским жилетом, доломаном с меховой оторочкой, обтягивающими панталонами и мягкими полусапожками.

Тот же Семен Воронцов замечает, что старые полки, сражавшиеся под Полтавой, в персидских и турецких войнах, отличались высоким боевым духом и гордились своим полком:

«...Имя его никогда не переменялось, и славные имена полков сохранялись по традиции, возбуждая у других дух соревновательности. Кто не знает, что полки Астраханский и Ингерманландский более всех прочих отличились в войнах Петра Великого? Всей армии ведомо

было, что Первый Гренадерский решил исход Грос-Егерсдорфской баталии, равно как и то, что оный полк вкупе с Третьим Гренадерским с отличием действовал при Цорндорфе, что Ростовский полк явил чудеса храбрости в Пальцигской битве, а Первый Гренадерский сыграл решающую роль в баталиях у Франкфурта и Кагула^[17]. Во всех сих полках сохранялась память о прославивших их имена подвигах, и они с ревностью старались поддерживать таковую традицию. Я был самоличным свидетелем, как после дела под Силистрией^[18], где отличился Первый Гренадерский, солдаты криками отвечали благодарившему их за храбрость фельдмаршалу Румянцеву: „Чему ты дивишься, когда мы инако были?“»^[14]

Но у Павла I возникла несчастная мысль вместо старых названий полков именовать их по фамилиям полковников, зачастую происходивших из немцев, и это, несомненно, ослабило боевой дух войск. Семен Воронцов, навещавший в Портсмутском госпитале раненых русских солдат из экспедиционного корпуса, действовавшего в Голландии, пишет, что они даже не знали названия своих полков и отвечали:

«Прежде был такого-то полку (и называл старое имя), а теперь не знаю, батюшка, какому-то немцу дан полк от Государя...»^[15]

Другое отличие армий Павла I и Александра I от армий Петра Великого, Елизаветы и даже Екатерины II заключалось в том, что в этих последних довольно легко можно было подняться с нижних ступеней — из простого солдата стать капралом, каптенармусом, сержантом, прапорщиком. Однако Павел упразднил многие из этих званий и должностей, тем самым лишив многих надежды на продвижение по службе. При Елизавете такая иерархия существовала, и даже самые скромные амбиции поощрялись. Именно поэтому во время Семи летней войны, особенно в кровопролитных битвах при Цорндорфе и Кунерсдорфе, когда почти все офицеры были убиты или тяжело ранены, полки вели в бой младшие офицеры, а батальонами командовали сержанты.

В войсках поддерживалась строжайшая дисциплина, хотя царица Елизавета в порыве благочестия, когда наступил критический день ее восшествия, дала обет никогда не утверждать смертные приговоры. Генералы подчас жаловались и просили восстановить такое наказание в Воинском Уставе, полагая, что иначе невозможно сдерживать эксцессы. Однако и для гражданских и для военных законов отмена смертной казни была скорее кажущейся, чем реальной мерой. Не говоря уже про кнут, один удар которого мог перебить позвоночник, оставались еще палки и розги, и в России тогда их никто не жалел. Если обратиться к упомянутому выше случаю трех кирасиров, то оказывается, что виновные были осуждены к колесованию заживо. Впрочем, приговор был смягчен для одного до двенадцати тысяч палок, а для двух других — до десяти тысяч.

Несомненно, во время Семи летней войны русская армия совершала жестокости и эксцессы. Особенно это относилось к нерегулярным войскам. Некоторым оправданием может служить то, что солдаты голодали. И, в конце концов, Восточная Пруссия, по всей видимости, пострадала от русских меньше, чем Саксония от пруссаков. Были ужасные факты недисциплинированности, мародерства и пьянства даже в регулярных войсках. Но чрезвычайно малое число дезертиров позволяет высоко оценить моральный и национальный дух русской армии, особенно по сравнению с тем, что у пруссаков и даже у французов дезертирство достигало чудовищных размеров. В 1756 г. при общей численности русской армии в 128 тыс. чел. было зарегистрировано всего 185 побегов.

В царствование Анны Ивановны (1730–1740) на службе состояло много генералов-иностранцев: Миних из Ольденбурга, Бироны из Курляндии, Бисмарк из Померании, Ласи из Ирландии. После переворота 1741 г. их оттеснили. При Елизавете мы уже видим несколько

иную картину: Фермор — англичанин, но родился в Пскове, Ливен и многие другие обладатели немецких имен — это уже русские подданные, уроженцы балтийских провинций. Родители Вильбуа — французы, жившие в России еще со времен Петра Великого. Ни тогда, ни позднее никто не отстранял заслуженных иностранцев, однако офицерский корпус за очень малыми исключениями состоял из природных русских.

Не подлежавшее рекрутским наборам дворянство было тем не менее отнюдь не освобождено от «царской службы». Петр Великий наистрожайшим образом обязывал к этому дворян, считая, что их владельческие права проистекают только из государственной службы. Все помещичьи земли находились в собственности короны. Анна Ивановна строго определила время обучения и службы молодых дворян: от семи до двадцати лет им полагалось учиться, от двадцати до сорока пяти — служить в администрации или армии. Были установлены и сроки испытаний — в двенадцать и шестнадцать лет. Тех, кто при втором испытании не знал катехизиса, арифметики и геометрии, определяли в матросы. Из воспоминаний Болотова, имевшего весьма средний достаток, видно, что родители стремились дать ему образование, хотя педагогические методы не всегда были достойными подражания. Первый учитель-немец старался вбить науку в его голову битьем по противоположной части тела.

Юный дворянин сначала или поступал в основанный Минихом кадетский корпус, или записывался в полк. Самые удачливые, которых, естественно, было очень немного, могли выбрать для себя гвардию. Обучающийся офицер исполнял все обязанности солдата и отличался от него лишь каким-нибудь значком или нашивкой. Он носил ружье и заплечный мешок, пока его не производили сначала в прапорщики, а затем в подпоручики и поручики. Почти все были знакомы с математикой, историей, рисованием, началами фортификации и других военных наук. Дворяне и черное духовенство^[16] были единственными грамотными сословиями. Многие из них говорили, читали и писали по-немецки, а некоторые знали даже французский язык, начавший после воцарения Елизаветы вытеснять немецкий. Болотов около 1755 г. читал в оригинале «Жилия Блаза». Таким образом, русский офицерский корпус, хотя, конечно, и не столь культурный, как французский, был вовсе не лишен образованности. Кроме того, он имел и свои национальные качества: храбрость, выносливость, чувство воинской и личной чести. Офицерские чины не были абсолютно недоступны для выходцев из простонародья, как в тогдашней французской армии. Правда, указ Петра Великого, предписывавший иметь одну офицерскую должность на восемь сержантов, был отменен его дочерью, и мало кому удавалось подняться по служебной лестнице.

Дворянство балтийских провинций согласно привилегиям, полученным при завоевании, не было обязано служить царю, но если кто-нибудь из них поступал на службу, то на тех же условиях, что и русские. Тем не менее вследствие своей бедности, плодовитости и воинственности оно выказало большее рвение и принесло с собой все качества германской расы: деятельный характер, выдержку, обязательность и чисто западную культуру. Но эти офицеры, как немцы и протестанты, не могли в полной мере понять достоинства и слабости русского крестьянина, ставшего солдатом. Однако, сохраняя все свои тевтонские склонности, они в общей массе отличались безупречной преданностью.

Регулярная пехота состояла из трех гвардейских полков: Преображенского, Семеновского, Измайловского и 46 армейских. Гвардия всегда находилась в Петербурге. Что касается остальных, то в 1756 г. только 32 полка были в полной боевой готовности, 12 имели большой некомплект и составляли резерв для службы внутри государства. Каждый полк состоял из трех батальонов по четыре мушкетерских и одной гренадерской роте (первые имели 144 рядовых и 6 унтер-офицеров, вторые — из 200). Мушкетеры были вооружены

ружьями, а гренадеры еще и гранатами. Почти все армейские полки назывались по губерниям: Муромский, Рязанский, Черниговский, Казанский, Сибирский. Было даже два Московских полка: 1-й и 2-й, сформированные в начале 1756 г. Только четыре гренадерских обозначались номерами от 1-го до 4-го. Как видно, гранаты были тогда в большой моде^[17].

Для комплектования этих полков, а затем и обсервационного корпуса П. И. Шувалова в Польше были взяты солдаты из полков, стоявших внутри страны. По мере возможности их переформировали, добавив людей из ландмилиции, гарнизонов, спешенных драгун и даже офицерских ординарцев, которые были заменены малороссами, не обученными для строевой службы.

Вооружение пехотинца состояло из шпаги и непомерно тяжелого ружья со штыком, весившего 14 фунтов. Каждый из 32 полков действующей армии должен был иметь по 3–4 тыс. чел., но фактически насчитывалось не более 1500–1800 чел.

Регулярная кавалерия состояла из двух гвардейских полков: Лейб-кирасирского и Конногвардейского и 32 армейских (3 кирасирских и 29 драгунских) и должна была иметь 39 546 человек. В марте 1756 г. сочли необходимым произвести в кавалерии «знатную перемену», «чтобы привести русскую конницу в такое надежное состояние, дабы она со всеми европейскими кавалериями не только сражаться, но и превосходить могла...»^[18]. Тогда же увеличили число кирасирских полков и, кроме того, сформировали конногренадерские полки.

Но фактически регулярная кавалерия действующей армии имела не более 7 тыс. чел. в составе 14 полков, из них 5 кирасирских: великого князя Петра Федоровича, Киевский, Казанский, Новотроицкий и называвшийся только по номеру — 3-й; 5 конногренадерских: Каргопольский, Рижский, Петербургский, Рязанский, Нарвский и 4 драгунских: Тобольский, Нижегородский, Архангелогородский и Тверской. Все остальные находились внутри страны или же использовались для охраны путей сообщения.

У кирасир, драгун и конногренадер предполагалось заменить шпагу саблей, что давало возможность наносить колющие и рубящие удары. (У нас замена шпаги, оружия скорее фехтовального, чем боевого, произошла уже во времена Лувуа). Кроме того, драгуны и конногренадеры елизаветинского времени имели ружья со штыком, а кирасиры — карабин. Новый устав кавалерии предусматривал маневрирование эскадронов в сборном строю и перемену фронта. Возобновилась практика стрельбы с коня, вышедшая из употребления после 1706 г. Но все эти произведенные в разгар кампании преобразования имели и свои недостатки. Только немногие полки удалось обучить в соответствии с предписанным методом. И еще долгое время в русской кавалерии противостояли друг другу старый и новый уставы.

Но особенно неудовлетворительными оставались лошади. Было очень мало пригодных для тяжелой и средней кавалерии. Государство выделяло на ремонт^[19] недостаточные средства, которые или растрачивались, или употреблялись не по назначению. Можно было видеть высоких всадников на низкорослых тощих лошадаках. Своего рода шпион Фридриха II, которого считают неким капитаном Ламбертом, а некоторые историки называют «рижским вояжиром»^{[20]^[19]}, поскольку он писал свое донесение о русской армии из этого города, очень строго судит кавалерию царицы. Кирасирские полки пополнялись расквартированными в балтийских провинциях лошадьми, за которых платили по 60 руб., но занимавшиеся ремонтом офицеры не заботились ни об их возрасте, ни о дрессировке. Многие из этих животных возили прежде лишь повозки горожан и не годились под седло, а некоторые даже ослепли. Эскадроны не держали строй, обучение стрельбе было совсем заброшено. Три кирасирских полка из пяти еще не получили латы. Что касается драгун, то

«они вообще не заслуживали именоваться кавалерией». Люди были столь же плохо обучены, как и лошади. Находясь подолгу у турецких и татарских границ, эскадроны могли лишь очень редко упражняться в совместном маневрировании. Про их офицеров говорили: «Глуп, как драгунский офицер».

Несомненно, что в этой войне регулярная кавалерия у русских была очень слабой, тогда как прусская оказалась грозной силой и по числу лошадей, их красоте и силе, обученности и крепости солдат, а также пламенной порывистости ее командиров. С нею Фридрих, не колеблясь, атаковал пехотные каре и сбивал артиллерийские позиции, действуя с не меньшей смелостью, чем Наполеон, и почти столь же удачно. Но в противоположность сему последнему он жертвовал ради этого излюбленного им рода войск не только пехотой, но более всего артиллерией. Его пехота никогда не была лучше русской, а артиллерия даже хуже.

Замечания «рижского вояжира» относятся прежде всего к русской регулярной кавалерии. Но оставалась еще и кавалерия нерегулярная. Для нее характерно то, что у каждого всадника было по две лошади, вторая служила главным образом для перевозки багажа, провизии и захваченной добычи. Странно, что сюда же относили и гусарские полки: четыре старых — *Сербский, Венгерский, Молдавский и Грузинский* и два новых — *Славяно-Сербский и Ново-Сербский*. Они были единственными иностранными частями русской армии, поскольку рекрутировались или за границей, как раз в тех местах, имена которых носили, или же в основанных Елизаветой на юге России военных колониях, например в Ново-Сербии. Во всяком случае, эти люди принадлежали или к родственным, или к единоверным Москве народностям. «Рижский вояжир» нашел их намного превосходящими русскую регулярную кавалерию, но по сравнению с прусскими гусарами на худших лошадях, хуже обученными, менее резвыми при маневрировании и не столь опытными в патрулях и разведке. Они имели свою особую организацию — за собственный счет приобретали лошадей, экипировку и сами содержали себя, получая 120 руб. жалованья в год. Каждый из шести полков имел по пять эскадронов, то есть всего тысячу человек. Стоимость его содержания составляла 40 тыс. руб., почти столько же, сколько и всех казаков, вместе взятых. Но если гусары ничем не превосходили этих последних, довольно трудно понять подобное предпочтение. Скорее всего оно объясняется их постоянной боеготовностью, чего недоставало казакам. И хотя гусары не отличались большей храбростью, они были значительно дисциплинированнее.

В казацком «войске» к ним по своей организованности приближались только чугуевские и слободские казаки^[20], а последние иногда даже и считались *гусарами*. Они квартировали в тех пограничных местностях, которые еще приходилось отвоевывать у крымских татар, и составляли своего рода военные колонии. Чугуевский казачий полк был сформирован фельдмаршалом Минихом в составе 500 всадников — 300 малороссов и 200 крещеных калмыков. Им не выделяли землю из опасения, что сельские занятия могут повредить их военной подготовке, а давали жалованье и рационы. Из нестроевого состава у них был лишь один барабанщик, один литаврщик и два извозчика. Приблизительно такая же организация была и у слободских казаков. Они составляли пять полков по тысяче человек в каждом с двумя тысячами лошадей. Их оружием были ружье, сабля и пика. Они носили голубую гусарскую форму, наголо брили голову, оставляя на висках две косички, свисавшие до длинных усов. Слобожане были почти столь же дисциплинированы, как и гусары, но уступали им по боевым качествам. Адъютант Миниха Манштейн утверждает в своих мемуарах, что даже татары считали их худшими из казаков. Они мало чем отличились в Семилетнюю войну, а из отправившихся к армии 5 тыс. прибыло только 3 тыс. Осенняя кампания 1757 г. оказалась настолько губительной, что их пришлось отправить домой в числе всего 2 тыс. и с потерей половины лошадей. В последующих кампаниях они уже не

участвовали.

К другим казачьим «войскам» относились: Уральское войско (3600 чел.), Астраханское (1060 чел.), Терское (500 чел.), Азовское (400 чел.) и, наконец, Донское (15 тыс. чел.). Это последнее и принимало самое деятельное участие в Семи летней войне, поэтому речь пойдет прежде всего именно о нем.

Из 15 тыс. реестровых донских казаков в наряде было только 9 тыс. Каждый полк состоял из 500 всадников «о дву конь» и разделялся на сотни, которыми командовали сотники или есаулы. В мирное время донцы составляли две команды: Краснощекова, называемую в некоторых документах «прежней», и «новую» — Степана Ефремова. В военное время донцы распределялись между пехотными корпусами из расчета одного или двух полков при каждом корпусе.

На все Донское войско царица тратила меньше 18 тыс. руб. в год. В мирное время казаки не получали ни жалованья, ни рационов, зато и не имели никаких обязанностей. Но даже на войне им слишком часто приходилось содержать себя самим, а иногда они подкармливали и регулярные войска из того продовольствия, которое удавалось реквизировать или награть у населения.

Донцы были анархической частью русской армии. Каждый год они сами выбирали своих полковников, сотников и других офицеров, за исключением бригадных генералов, и поэтому лишь в слабой степени считали себя обязанными к повиновению. Донской полк представлял собой республику, а вернее движущуюся анархию. Там не было иного закона, кроме обычая степей. Не обремененный обозом, он перемещался с непостижимой быстротой, поскольку вторая лошадь позволяла каждому иметь для себя провизию на три недели. Донцы наводили ужас на мирных жителей. Даже царские генералы старались следить за ними и по возможности сдерживать с помощью драгун, чтобы их грабежи и опустошения не обрекли на голод всю армию и не побудили отчаявшееся население к бунту.

Вооружение донцов составляли ружья, луки, сабли и длиннейшие пики. Их тактика напоминала действия древних скифов: засада, внезапное нападение, притворное бегство с последующей контратакой. Неспособные выдержать натиск прусской кавалерии, они были идеально созданы для того, чтобы изводить неприятеля неотступным преследованием и деморализующими наскоками. Атакуя с дикими криками на своих низкорослых лохматых лошадях прусскую пехоту, они приводили ее в замешательство. Подобная тактика сбивала с толку европейских генералов, да и в русских регулярных войсках ее не всегда понимали: по словам Болотова^[21], который сам видел их в действии, это были ничтожные вояки, умеющие лишь спастись бегством и непригодные для атак. Зато они великолепно несли разведывательную и дозорную службу, врасплох нападали на неприятеля и изматывали его ложными тревогами.

«Рижский вояжир», признавая, что донцы самые храбрые из казаков, судит их еще более строго, чем Болотов: «Передвигаются они в совершенном беспорядке, подобно стаду, и колонна из 800 донцов может растянуться на четверть лье. Ружья они заряжают самым примитивным способом, насыпая порох из рожка и вынимая пули из особого мешочка. Начальники столь мало ценят их, что даже не интересуются числом убитых». Этот же свидетель, находившийся некоторое время в главной квартире Апраксина и обедавший за генеральским столом, рисует любопытный портрет Краснощекова, самого популярного из казачьих командиров:

«Вся его наука состоит в том, чтобы нападать издали с помощью копья или стрел. Как говорят, он никогда не дает пощады. Из боевых действий он участвовал только в осаде

Очакова^[21], но, как мне известно, оказался неспособен командовать даже разведкой. Он и слышать не желает о действиях ночью, ссылаясь на то, что это очень опасно, поскольку в темноте черт может всех запутать. <...> Своим возвышением он обязан родством с Разумовским. <...> Сами русские называют его колдуном, в этом уверял меня даже генерал Лопухин, а когда я возразил, что в Германии не верят в колдунов, он сказал: „Как же можно не верить столь несомнительной вещи?“»

Любопытно заметить, что уже в 1758 г. в рассказе скептического «вояжира» появляется легенда о Краснощекове, столь распространенная в русских народных песнях, где он выступает как отважный и находчивый герой, Ахилл и Улисс^[22] русского эпоса, взявший Берлин и похитивший «пруссачку» — не то жену, не то дочь Фридриха II, которая служит олицетворением вражеской столицы. Переодевшись купцом, он проникает к самому королю и требует себе водки. Король спрашивает его про героя Краснощекова, и тогда казачий вождь открывается, выскакивает из окна и уходит от преследователей. Но для русского народа и сам Фридрих был колдуном: он мог принимать обличье сизого голубя, серого кота, ястреба, черного ворона, утки и таким образом ускользать от своих врагов^[22]. Для этих простодушных умов «злой король» — настоящий колдун и оборотень. Соперничать с ним может только один Краснощеков.

Эти достоинства и недостатки донцов, в которых было намешано столько азиатского, проявлялись в еще большей степени у таких экзотических нерегулярных войск, как «разнонародные команды», составлявшиеся из представителей финских, финно-тюркских, татарских и монгольских народностей: волжских калмыков, казанских татар, мещеряков, башкир и крещеных ставропольских калмыков. У себя на родине они не знали ни рабской зависимости великорусских крестьян, ни почти республиканских казачьих порядков. Во главе их племен стояли старшины, бывшие одновременно и крупными собственниками, и военными предводителями.

Самыми отважными среди этих всадников были некрещеные волжские калмыки, наполовину мусульмане, наполовину язычники, прямые наследники древних монгольских завоевателей. В начале Семилетней войны предполагалось иметь их при армии в числе 8 тыс. чел., но впоследствии ограничились лишь половиною, повелев остальным находиться в полной готовности. Фактически же было призвано всего 2 тыс. Хотя они и отличились в войне с татарами на Кубани, но все-таки использовать их оказалось затруднительным. Точно так же было взято лишь по 500 всадников «о дву конь» и у остальных четырех народцев. Эти «разнородные команды» казались опасными своим духом независимости (право наказания они признавали только за собственными начальниками), а также их обычаем грабить и дикими нравами, вследствие чего на квартирах приходилось постоянно следить за ними, употребляя для этого регулярные войска. Калмыки Дондук-Даши шли через русские губернии в сопровождении донцов и драгун, чтобы не давать им грабить деревни. На них смотрели как на диких зверей, которых опасно выпускать из клетки.

Превосходные наездники, они столь же хорошо сражались и спешившись. В их вооружении не было никакого порядка: например, на один отряд из 286 мещеряков приходилось 72 ружья, 242 лука и 63 сабли. Государство давало всем этим инородцам своего рода национальную форму — сукно на кафтаны и меховые шапки: красное для калмыков, зеленое для мещеряков и башкир и синее для казанских татар. Эти воины с желтоватыми лицами и выступающими скулами, узкими глазами, бритыми головами, кривыми саблями, дикими криками на неведомых языках были среди других частей русской армии каким-то страшилщем для неприятеля. Оказавшись на границах пораженной ужасом Германии, они

заставили вспомнить о нашествиях древности и казались наследниками гуннов Аттилы и монголов Чингисхана.

Артиллерия в русской армии подразделялась на полевую и гарнизонную (крепостную). К 1755 г. пехотный полк должен был иметь по штатам шесть орудий: две трехфунтовые пушки и четыре шестифунтовые «мортирцы»^[23]. Использовались эти орудия плохо из-за неумения пехотных офицеров обращаться с ними, и поэтому сентябрьским указом 1756 г. в каждый полк было назначено по одному артиллерийскому офицеру. Однако вследствие растянутости орудий по фронту эти офицеры не успевали уследить за ними. Впрочем, в большинстве полков вместо шести имелось в наличии лишь четыре орудия: две пушки и две «мортирцы», а у драгун и слободских казаков по два орудия на полк. Всего в русской армии числилось 522 «мортирцы» и 257 полковых пушек, но при начале кампании было взято лишь 350 орудий. Кроме того, в 1756 г. изготовили некоторое число «близнят» — трехфунтовых парных мортирок на одном лафете, однако они оказались бесполезными и их просто бросали по дороге.

Полевая артиллерия в начале войны имела 233 орудия восьми различных калибров (все бронзового литья), из них 107 пушек, 91 «мортирцу» и 35 гаубиц.

Гарнизонная артиллерия насчитывала несколько тысяч орудий, из которых девять десятых были железными и в своем большинстве уже давно устарели.

К этому времени в артиллерии были произведены важные реформы генерал-фельдцейхмейстера П. И. Шувалова. Отчасти они опережали даже то, что делалось во Франции и в Пруссии. Шувалов создал артиллерию как *род войск*, вдвое облегчил пушки и лафеты, уменьшил до пяти число калибров, ввел в употребление разрывные ядра и многоствольные орудия, увеличил точность и дальность стрельбы. Утверждали, будто русские снаряды летели на 500–600 саженьей^[24] — намного дальше, чем во французской артиллерии, хотя это и представляется весьма сомнительным.

Главным нововведением Шувалова был единорог — уменьшенная и облегченная разновидность гаубицы, которая стреляла на 1500 саженьей, а с близкого расстояния могла вести скорострельный огонь.

Поскольку все эти реформы происходили в самом начале войны, следовало ожидать, что и полковая и полевая артиллерия получат усовершенствованные орудия, и хотя начинать пришлось без них, авторитет этой «секретной» и «новоизобретенной» артиллерии был в русской армии очень высок. Болотов пишет о ней с почтением и таинственностью. Слава ее достигла и Европы: австрийцы, чтобы польстить царице, просили для себя одно новое орудие в качестве образца. Но Людовик XV, которому предложили прислать вместе с орудием даже русского офицера, вежливо отклонил такую любезность, чтобы не поощрять «тщеславие г-на Шувалова». При Егерсдорфе действовало только несколько из этих новых орудий, однако в последующих сражениях они сыграли решающую и смертоносную роль.

Россия обязана Шувалову и за создание корпуса военных инженеров, которого до Вобана не существовало даже во Франции. В его составе полагалось иметь 1302 чел.: 3 генералов, 10 офицеров Генерального штаба, 66 офицеров, 192 кондуктора, 229 минеров, а также инженерных учеников, мастеровых и прочих нестроевых служителей. Большая часть из них была распределена по крепостям, остальные составляли инженерный полк, квартировавший в Петербурге. В мирное время инженеров использовали не только на фортификационных работах, но также для топографических съемок, при землеустройстве и даже на строительстве всякого рода зданий. В военное время инженерный корпус предназначался главным образом для осад, а не для действий в полевых условиях. Действовавшая против Фридриха II армия имела весьма малочисленный инженерный отряд — всего 66 чел. под

командованием француза генерала дю Боске. Кроме того, Шувалов учредил еще и инженерный архив. Заметим также, что русские уже тогда умели строить понтоны, используя для этого парусину, что, по-видимому, было их собственным изобретением, поскольку пруссаки делали их из кожи и железа.

Уже в крымских кампаниях Миниха стало ясно, насколько русская армия медлительна и неповоротлива. Настоящим бичом для нее были обозы. Они буквально душили ее. У простого сержанта могло быть до 10 телег, у офицера — до 30. Генералу Густаву Бирону принадлежало 300 ломовых лошадей. Телеги нужны были также и простым солдатам, не говоря уже о раненых и больных. Конечно, старались уменьшить все эти *impedimenta*^[25], тем не менее армия Апраксина в 1757 г. тащила за собой почти 6000 телег. Если принять во внимание сопровождавших солдат да еще тех 10–12 денщиков у каждого старшего офицера, окажется, что из строя было выведено более трети личного состава.

Другой помехой были рогатки, которыми продолжали загромождать обозы, поскольку в начале войны ни пехота, ни даже регулярная кавалерия не решались противостоять прусским эскадронам без этих заграждений. Болотов называет их «смехотворной защитой», и действительно, уже со следующего года они вышли из употребления.

Для довольствия войск существовало интендантство, во главе которого стоял *генерал-провиантмейстер*^[26], но оно часто сталкивалось с неразрешимыми проблемами. Те страны, через которые шла армия, — Пруссия, Польша, Померания — были слишком бедны и очень быстро истощались. Доставке припасов из России препятствовали огромные расстояния, разлившиеся реки, разбитые дороги, проложенные по песчаной или глинистой местности, на которых впоследствии увязали наполеоновские ветераны. Использовались все средства: реквизиции, закупки, как прямые, так и через посредников, хотя на это чаще всего не доставало денег. Необходимость добывать продовольствие и особенно фураж для огромного количества подседельных и ломовых лошадей, устраивать и защищать магазины не раз останавливала армию и принуждала ее или топтаться на месте, или даже отступить. С такой же медлительностью производились и прочие поставки. Даже в 1758 г. большинство солдат не получили ни тулупов, ни меховых рукавиц.

Один австрийский офицер, побывавший в лагере Апраксина в конце 1757 г., вполне справедливо писал: «В русской армии совершенно не умеют использовать повозки для доставления съестных припасов, ни правильно устраивать магазины и заниматься фуражированием, ни взимать контрибуцию таким образом, чтобы не отягощать сверх меры обывателей в завоеванных странах, не говоря уже о сохранении собственных людей...»^[27].

Но в самом плохом состоянии находились госпитали и перевозка раненых. Даже во французской армии жаловались на слишком малое число опытных врачей и хирургов. А насколько хуже все это было у русских! Для больных и раненых не всегда находилась даже крыша над головой, чтобы спокойно умереть. Князь Яков Шаховской в своих мемуарах рисует душераздирающие картины: вереницы носилок с больными, которых приносили в большой госпиталь, но их отправляли обратно из-за переполнения этими несчастными, коих сносили заразные лихорадки. Люди задыхались в миазмах и от нехватки воздуха, но окна все-таки не отворяли из-за боязни до смерти заморозить выздоравливающих. И все это происходило в самом центре империи, в Москве, причиной чего послужило лишь прохождение через нее двадцати тысяч новобранцев^[28]. Еще хуже было в полевых условиях. Тот же австрийский офицер писал: «С ужасом взирал я на больных, кои стонали, лежа на траве без шатров и покрывал. Повсюду было превеликое множество сих несчастных, оставленных без какого-либо вспомоществования. И каковые чувства зрелище сие могло возбудить в их

сотоварищах?»^[29]

Я лишь вскользь упомяну о гарнизонных войсках и ландмилиции, поскольку они не принимали никакого участия в Семилетней войне, если не считать подкреплений из них для действующей армии. Сформированные указом Петра Великого (1716), гарнизонные войска состояли из 49 пехотных и драгунских полков, 4 отдельных батальонов и 4 эскадронов. Пехотные полки имели четырехбатальонный состав по 4 роты в батальоне и одну гренадерскую роту. Они были распределены по крепостям (один полк в каждой). Неукрепленные города охранялись местными войсками, формировавшимися из свободных крестьян (однодворцев), отставных солдат и некоторых дворян.

Гарнизонные войска комплектовались так же, как и вся действующая армия. Поэтому из них можно было брать для сей последней самых лучших солдат. Эти войска использовались одновременно и в качестве внутренних оборонительных сил, и для обучения новобранцев.

Но когда в 1756 г. потребовалось взять из них людей для формирования *обсервационного корпуса*, то, к великому удивлению, нашлось не более 7–8 тыс. хороших солдат, так как обучение в этих войсках было крайне неудовлетворительно. Из соображений экономии сюда поставляли слабых людей и недостаточные рационы. Поэтому на многие нарушения и злоупотребления оставалось лишь закрывать глаза. Солдаты женились и, чтобы жить, практиковали всевозможные ремесла, в том числе и воровство. Их мало учили и никогда не производили совместных маневров. Таким образом, эти полки превратились в конце концов в своего рода национальную гвардию, да еще не самого лучшего качества. Их нельзя было употреблять даже для сопровождения обозов. Что касается численности, достигавшей на бумаге 75 тыс. чел., то она далеко не соответствовала этой цифре. Драгунские полки и отдельные эскадроны также находились не в лучшем состоянии; Казанский, Оренбургский и Сибирский полки годились лишь для конвойной и полицейской службы. Полноценными были только Воронежский полк и Рославльский эскадрон.

Ландмилиция подразделялась на Украинскую и Закамскую. Первая несла обсервационную службу против крымских татар, вторая следила за северо-восточными народцами. Украинская ландмилиция состояла из 28 полков драгунского образца (то есть для пешего и конного строя), Закамская — из трех таких же полков и одного пехотного. Все это составляло в целом 28 тыс. чел. Но только украинские полки могли использоваться в этой войне на путях сообщения. Комплектовались они преимущественно из малороссов.

Если принять во внимание все эти обстоятельства, становится ясно, что Российская империя представляла собой внушительную оборонительную силу, но, несмотря на приведенные нами огромные цифры, не обладала столь же значительными наступательными возможностями.

В то время Россия имела выход только к одному морю^[30] и поэтому располагала лишь одним флотом — Балтийским, который состоял из двух эскадр: кронштадтской и ревельской. Первая имела 14 линейных кораблей с 954 пушками, 5 фрегатов, 1 прам^[31] и 2 бомбардирских галиота. Вторая — 6 линейных кораблей с 372 пушками, 2 фрегата и 42 галеры. Во время Семилетней войны русскому флоту не пришлось ни действовать совместно с союзными флотами, ни сражаться с англичанами. Он играл лишь вспомогательную роль, занимаясь перевозками провианта для армии и поддерживая некоторые действия сухопутных войск на побережье Восточной Пруссии и Померании.

В России не было ни военного, ни морского министра. Французской системе, основанной на единоначалии и ответственности в управлении каждой отраслью, Петр Великий предпочел систему коллегий, принятую в большинстве германских государств.

У нас, во Франции, она просуществовала всего лишь несколько месяцев во время

Регентства, и Людовик XIV заменил ее министерствами. Впрочем, коллегиальная организация восходила еще к старинными московским учреждениям: при кремлевских царях все решалось боярской думой; во главе коллегий, созданных Петром Великим, стояли президент и вице-президент. Даже после основания министерств в эпоху Александра I рядом с главой каждого ведомства был *товарищ министра*.

Во время Семилетней войны все главнокомандующие русской армией — Апраксин, Фермор, Салтыков, Бутурлин — не принимали ни одного сколько-нибудь важного решения, не собрав военный совет. Кроме того, все они были сверх меры перегружены ежедневной перепиской с Военной Коллегией. И словно уже одного этого было недостаточно для затруднения их действий, великий канцлер Бестужев, стремившийся не только лично все знать, все делать и руководить дипломатией и внутренними делами, но еще и командовать армией и флотом, придумал создать так называемую *Конференцию*. Она состояла из генералов и гражданских сановников, находившихся в Петербурге, и претендовала на то, чтобы указывать главнокомандующему план кампании, вплоть до маршей и контрмаршей и определения дня для баталии.

Именно в Конференцию верховный главнокомандующий должен был слать рапорт за рапортом, по всякому поводу испрашивать ее мнение, сообщать о всех своих намерениях, объяснять все свои действия и получать разрешение на то, чтобы побеждать неприятеля. А поскольку армия находилась в тысяче километров от столицы, то, пока таковое разрешение можно было получить, ситуация на шахматной доске войны неизбежно менялась. Возможность победы ускользала, подобно вспорхнувшей птичке, а русская армия уже сама оказывалась в столь тяжелом положении, что надо было просить у Петербурга разрешения не дать врагу победить себя. Присылавшиеся Конференцией приказания были полны противоречий, неувязок, ложных предпосылок, неисполнимых и подчас химерических замыслов. Оказавшись между распорядившейся издалека Конференцией и грозным прусским королем, столь близким и быстрым в своих решениях и действиях, русский командующий становился чуть ли не паралитиком. Он не осмеливался ни наступать, ни использовать возможности для победы. Ничто столь не мешало русской армии в этой войне, ничто так не изматывало ее маршами и контрмаршами и не сводило до такой степени на нет все достигнутые успехи, как эта Конференция, сей диковинный гибрид, возвращенный Бестужевым. Она подчиняла все военные действия извивам придворной политики и являлась достойной парой знаменитому австрийскому гофкригсрату^[32], который в эпоху революционных войн прославился как академия неудач и поражений. Когда генерал, противостоящий Фридриху II или Бонапарту, получает рецепты побед в конвертах, присылаемых из Петербурга или Вены, это неизбежно ставит его в чрезвычайно тяжелое положение.

Глухие разногласия внутри коалиции 1756 г., интриги в Зимнем дворце и мелочная опека над главнокомандующим со стороны Конференции привели в конце концов к бесплодности побед при Егердорфе и Кунерсдорфе.

Глава третья. Вступление русской армии в войну. Кампания 1757 г.



Россия была застигнута врасплох происшедшим в 1756 г. «переворотом альянсов». Великий канцлер Бестужев, рассчитывая на английские субсидии и военное содействие Австрии и полагая, что война с Фридрихом II будет простой «диверсией», да еще под именем и за деньги иностранной державы, уделял мало внимания тем реформам, которые требовалось произвести в армии.

Измена Англии, предоставившей Фридриху помощь деньгами и флотом, развеяла самоуспокоенность канцлера. В военной и морской коллегиях началась лихорадочная деятельность: один за другим следовали часто противоречащие друг другу указы о реформах в кавалерии, пехоте, артиллерии, нерегулярных войсках, равно как в вооружениях, тактике и интендантстве, словом, во всем, что относилось к военным и морским силам.

Известие о Версальском договоре (1 мая 1756 г.), по которому к коалиции против Фридриха II присоединялись Франция, Швеция и их клиенты в Германской империи, а также обеспечивался благожелательный нейтралитет Польши и Турции, успокоило петербургский кабинет.

Тем не менее осенью 1756 г. можно было опасаться того, как бы Фридрих не опередил Россию в захвате Курляндии. Армия царицы еще далеко не достигла боеспособного состояния. В сентябре в Петербурге узнали о внезапном вторжении прусского короля в Саксонию. Страх и ненависть к Фридриху увеличились еще более, и все приготовления еще более ускорились. 30 сентября^[33] фельдмаршал Апраксин был назначен главнокомандующим, а уже 16 октября он получил приказ выступить к границе. Тем не менее война была объявлена лишь год спустя манифестом 16 августа 1757 г.

Но что тогда представляла собой эта граница? Вспомним, как причудливо была разделена в то время Восточная Европа. Россия протянулась узкой полосой вдоль Балтийского моря, вытягивая, подобно руке, свои провинции Ливонию и Эстонию почти до самого Мемеля к пределам Восточной Пруссии. Но обе остроконечные территории этих враждующих монархий, устремленные друг против друга, не соприкасались. Между ними лежали земли вассалов Польши-Курляндии и Семигалии^[34]. Но если бы Восточная Пруссия оказалась под властью русских, они смогли бы вторгнуться в другие провинции Фридриха II, лишь пройдя через нейтральные территории. Восточная Пруссия представляла собой остров, отрезанный от всего Королевства с севера Балтийским морем, с востока Курляндией, с юга Польшей и с запада Польской Пруссией и почти независимыми городами-республиками Данцигом и Торном, господствовавшими над Нижней Вислой. Таким образом, в конце 1757 г. театр военных действий представлял собой узкую полосу земли между Балтикой и обширными польскими владениями. Эта полоса состояла из Русской Ливонии, автономной Курляндии, Прусской Пруссии, Польской Пруссии и Прусской Померании.

Поэтому, чтобы вторгнуться в самые восточные владения Фридриха, русская армия должна была перейти две границы и встретиться с неприятелем на чрезвычайно узком фронте. А для удара во фланг основных его провинций — Прусской Померании, Бранденбурга и Силезии предстояло пройти еще 500 км по польской территории. Сегодня русская и прусская монархии имеют общую границу, весьма извилистую и совершенно

неестественную, но тогда они не соприкасались ни в одной точке. С севера на юг тянулись нейтральные территории: Курляндия, Литва, Польша. На севере самые близкие города России и Пруссии, Рига и Мемель, находились очень далеко друг от друга, а такие же города на юге — Могилев у Днепра и Франкфурт-на-Одере — отделяло огромное расстояние. Понадобились три раздела Польши и переустройство 1815 г., чтобы оба воинственных государства получили общую границу, когда одно из них приобрело Познань, а другое — Варшаву, приблизившись таким образом на 500–600 км.

Впрочем, в 1756 г. в Польше, состоявшей из собственно польских земель, а также литовских и русских, для прохода армий Елизаветы не встречалось никаких препятствий. Ее королем был саксонский курфюрст, союзник Австрии и Франции. Если формально польский сейм и не подчинялся политике дрезденского двора, он в то же время и не противился ей. Польской армии как бы не существовало, во всяком случае, она не достигала 12 тыс. чел., плохо обученных и недисциплинированных, и не являлась ни королевской, ни национальной. Каждый воевода, каждый каштелян^[35] и каждый влиятельный вельможа полновластно распоряжались всеми войсками, находившимися в его провинции, у себя в замке или в своей вотчине, используя их только в своих собственных интересах. Армия не представляла собой государственной силы. То же самое относилось и к городам, особенно расположенным по течению Вислы. Каждый из них заботился о собственной защите по-своему: Торн, Варшава, Познань были без труда заняты русскими, но Данциг сумел не открыть свои ворота. Население восточных областей, говорившее по-русски и исповедовавшее православие, симпатизировало русским, а католики собственно Польши проявляли безразличие или враждебность. Города на Висле, своего рода немецкие протестантские колонии среди славянского населения, склонялись скорее на сторону Пруссии. Не считая нескольких манифестаций в сейме, спровоцированных французскими дипломатами, Польша в течение пяти лет терпела проход через свою территорию русских колонн. Ее громадный организм был уже окончательно обессилен и дезорганизован.

Бескровному вторжению она сопротивлялась лишь своими лесами, водами и болотами. Для русских сама земля стала более враждебной, чем жившие на ней люди.

В этой войне, начатой коалицией против Фридриха II, особой целью русской армии вполне естественно должна была стать Восточная Пруссия, полностью отрезанная от остального Королевства Польской Пруссией. Однако Фридрих считал, что решающего удара следует ожидать отнюдь не в этой отдаленной провинции. Значительно важнее были те поля сражений, которые находились в Силезии, Богемии, Вестфалии, Саксонии, то есть в самом центре Германии и Европейского континента. Поэтому он вывел из Восточной Пруссии свои самые лучшие войска.

Однако государство Фридриха было столь сильной военной державой, что даже в этой отдаленной, заброшенной и почти уже пожертвованной провинции, на этом второстепенном театре военных действий нашлись генералы и офицеры, которые могли бы занять первые места в других европейских армиях, а также и войска, хотя относительно худшие, но все-таки способные поддерживать честь прусского имени. Если артиллерия была «позором сей малой армии», а состояние пехотных полков оставляло желать много лучшего, зато кавалерия, как и везде в прусской армии, имела добротных лошадей, превосходную экипировку, хорошую выучку и великолепный боевой дух.

Губернатор и главнокомандующий в Восточной Пруссии Ганс фон Левальд был ее уроженцем и происходил из бранденбургской фамилии. Он прошел школу старого Дессау и достиг высших чинов на королевской службе. Это был отважный, преданный и честный человек, отличавшийся строгими нравами и религиозностью. В 1751 г., когда он уже достиг

шестидесяти шести лет, его заслуги в войне за Австрийское Наследство были вознаграждены фельдмаршалским жезлом. Но поелику он обладал скорее достоинствами подчиненного, чем самостоятельного начальника, Фридрих доверил ему именно ту провинцию, в которой, по всей очевидности, можно было не опасаться вторжения благодаря отдаленности от нее Австрии и миролюбивой политике России. Казалось, необременительный пост губернатора Восточной Пруссии будет для него не более чем почетной синекурой. Но когда король понял свою политическую ошибку, он послал к нему одного из своих адъютантов, генерала Гольца, хорошего тактика, пропитанного идеями самого короля-полководца. Своими советами он должен был в определенной мере сгладить возможную некомпетентность фельдмаршала.

Среди ближайших помощников Левальда находились: трансильванец Рюш, принесший в прусскую кавалерию всю пылкость венгерской или румынской крови; командуя черными гусарами, он прославился отвагой и дерзостью своих атак; Шорлемер, Малаховский, принц Голштинский, Платен, Плеттенберг, Финк фон Финкенштейн. Все это были выдающиеся кавалерийские генералы. Пехотой командовали: бесстрашный в авангардах Дона, Манштейн, Мантейфель, Белов, Каниц, Кальнейн, Гор и другие.

Главкомандующим, которого царица поставила против Левальда, был Степан Федорович Апраксин. Он не пользовался милостями при дворе, его не любили «люди случая» Шуваловы, и у него не было доступа к императрице. Но все-таки это был придворный, хотя его успехи на этом поприще восходили ко временам Екатерины I и Анны Ивановны. Его обвиняли в трусости после того, как он стерпел пощечину от морганатического супруга императрицы Разумовского, но кто на его месте стал бы требовать сатисфакции? Конечно, это был отнюдь не римский герой — толстый до бесформенности, своего рода Фальстаф^[23], как изобразил его Газенкамп^[36]. В пятьдесят лет он все еще отличался галантностью, доходившей до разврата, хотя более всего прочего предпочитал гастрономические утехы.

«Рижский вояжир» утверждает, что после долгой беседы не нашел в нем достаточных теоретических познаний для столь высокой должности. Он будто бы не щадил ни лошадей, ни людей и во всем следовал советам генерал-майора Веймарна, который прежде был адъютантом фельдмаршала Кейта. Но, конечно, это свидетельство немца, стремившегося превознести своего соотечественника за счет русского.

Среди помощников Апраксина, не считая Краснощекова и других казачьих командиров, упомянем генерал-аншефов: Лопухина, Матвея Ливена, Фермора, Броуна; генерал-лейтенантов: князя Голицына, двух других Ливенов, Толстого и генерал-майоров: Румянцева, Вильбуа и князя Любомирского.

По мнению «рижского вояжира», Василий Абрамович Лопухин был «в военных делах самым невинным в свете человеком», проводившим целые дни напролет за обеденным столом, картами и питьем. Мы уже говорили о его вере в колдовство. Но эти недостатки, даже если они и были на самом деле, нисколько не вредили ему в глазах окружающих, и он оставался одним из самых любимых в армии командиров. Очень религиозный, набожный и даже склонный к суевериям, Лопухин провел свою последнюю ночь перед битвой при Егерсдорфе, молясь в походной церкви.

Матвей Ливен, происходивший так же, как и Веймарн, из балтийских немцев, был советником главнокомандующего и почитался «оракулом среди русских». Этот превосходный тактик, один из тех редких начальников, которые заботятся о сохранении людей и лошадей, прославился в войне против турок под Очаковым и против шведов у Вильманстранда^[24]. К сожалению, он не мог похвалиться хорошим здоровьем, но, несмотря на это, ему было поручено командование главными силами регулярной и нерегулярной

кавалерии.

Правым флангом командовал Виллим Фермор, также прибалтийский немец, хотя его род вел свое происхождение из Англии. Военную карьеру он начинал под командою фельдмаршала Миниха и отличился при осаде Данцига (1734), а затем в войнах против турок и шведов. В дальнейшем о нем будет сказано еще очень многое.

Броун, или Браун, был того же происхождения, что и Фермор.

Среди младших по возрасту Вильбуа проделал всего лишь шведскую кампанию. Он был талантлив, но не любил русских. «Рижский вояжир» приводит такие его слова: «Черт меня возьми, здесь нужно притворяться таким же тупым, как они, если не хочешь сделать всех своими врагами».

Петр Александрович Румянцев при Екатерине II стал фельдмаршалом и дунайским героем («Задунайским») ^[25]. «Уже теперь это один из самых умных генералов», — писал в 1758 г. «рижский вояжир», который упрекал его лишь за излишнюю пылкость и неумение сдерживать себя. Он стал известен после битвы при Егерсдорфе и осады Колина.

Князь Любомирский служил сначала в австрийской кавалерии и похвалялся тогда, что может с одним полком имперских кирасир опрокинуть три прусских.

Приказ Апраксину в октябре 1756 г. о переходе границы и «диверсии» было легче написать, чем исполнить. Приготовления к войне далеко еще не закончились. Не хватало лошадей для артиллерии. Не были устроены магазины. Несмотря на приближение зимы, люди не получили ни тулупов, ни рукавиц. Армия оставалась разбросанной. Первый корпус Лопухина (25 тыс. чел.) занимал Ливонию и Курляндию, но немалая его часть находилась в Эстонии, а также в губерниях Псковской, Новгородской и даже Петербургской. Второй корпус Василия Долгорукого (15 тыс. чел.) едва был сформирован и еще не собрался. Третий корпус Матвея Ливена, состоявший только из кавалерии, находился в таком же положении и имел 25 тыс. чел. Его аванпосты едва достигали проходившей по Неману границы с Польшей. Четвертый и пятый корпуса Броуна и Фаста (в совокупности не более 14 тыс. чел.) пришли в Эстонию только в сентябре.

Всем пяти корпусам еще предстояло укомплектовать свою артиллерию, особенно задерживались «шуваловские» гаубицы. Апраксин рассчитывал иметь в своем распоряжении 25–26 тыс. чел. корпуса Лопухина и полагал, что Фридрих II сможет выставить против него 145 тыс. В тот момент Россия имела скорее военный кордон вдоль границ, чем настоящую боеспособную армию.

Инструкции, полученные Апраксиным одновременно с приказом начать военные действия, были полны неясностей и противоречий. В них говорилось: «...всякое сумнительное, а особливо противу превосходящих сил сражение сколько можно всегда избегаемо быть имеет».

Перед отъездом из Петербурга Апраксин получил аудиенцию у императрицы. Можно представить, как протекала их беседа по тем горячим упрекам, с которыми сразу же после нее царица обратилась к Петру Шувалову: «Вы преувеличиваете мои силы в моих глазах. Бога вы не боитесь, что так меня обманываете». В свою очередь, фаворит Иван Шувалов упрекал фельдмаршала за то, что он «пугает больную императрицу». Шуваловы позаботились о том, чтобы не допускать его больше во дворец.

О более твердом характере и большей предусмотрительности Апраксина, чем приписывал ему «рижский вояжир», свидетельствует то, что после прибытия в главную квартиру он почти постоянно противостоял Конференции и ее создателю Бестужеву. Один русский офицер, добравшийся до Данцига, переодевшись лекарем, прислал главнокомандующему весьма точные сведения о состоянии прусских сил: не могло быть и

речи, чтобы они вторглись в Курляндию, и все подобные слухи были ложными. Апраксин направил это донесение Конференции, присовокупив свое мнение, что поскольку ничто не угрожает Курляндии, то нет никакой надобности начинать зимнюю кампанию.

Тем не менее Конференция в трех последовательных рескриптах требовала немедленного открытия военных действий, чтобы предупредить замыслы прусского короля в отношении Курляндии. Апраксин энергично сопротивлялся и требовал для этого официального приказания, на что Конференция не могла решиться. И в 1756 г. после вторжения пруссаков в Саксонию, разгрома австрийцев у Лобозица и капитуляции саксонской армии в Пирне ни русские, ни французские, ни шведские войска не вступили на вражескую территорию.

Конференция, вынужденная дать армии немного времени для отдыха и организации, занялась выработкой планов на предстоящую кампанию. Все они имели тот недостаток, что русские силы изначально разделялись: главная армия должна была наносить решающий удар по Восточной Пруссии, а вторая армия — соединиться с австрийцами на театре основных военных действий. Апраксин совершенно справедливо отвечал, что очень важно сосредоточить, а не разделять армию, и чем раньше представится благоприятная возможность для решающего наступления, тем лучше.

22 декабря военный совет под председательством Апраксина решил при первых признаках наступления Левальда, «не дожидаясь от него нападения, всею силою атаковать». Однако подобной ситуации так и не возникло, и тогда военный совет 3 февраля 1757 г. принял план наступления на Кёнигсберг, однако же без каких-либо действий флота против Пиллау.

В марте 1757 г. вся русская армия сконцентрировалась на правом берегу Немана. В апреле русский генерал Шпрингер сообщил Апраксину из главной квартиры австрийцев, что они еще не завершили приготовления, и фельдмаршал послал в Конференцию свое мнение о крайней затруднительности совместных действий с неподготовленной армией: «Поелику австрийцы до сего дня еще не начинали действий, хотя и находятся не только ближе к пруссакам, но и в более благоприятном, нежели мы, климате, то и российская армия наипаче того должна воздерживаться от рискованных действий, и особливо никак не подобает шутить с таким неприятелем, каков есть прусский король»^[37].

Море еще не освободилось от льда, дороги были отвратительны, и приходилось производить работы, чтобы они стали проходимыми. Кроме того, не прибыли и многие из нерегулярных войск. Сделать что-нибудь существенное раньше мая не представлялось никакой возможности. Но, с другой стороны, ничто и не побуждало к излишней спешке — все доставлявшиеся сведения говорили о чисто оборонительных намерениях Левальда.

Посмотрим теперь, что происходило в самой Восточной Пруссии перед вторжением в нее русских войск.

Эта провинция омывается водами Балтийского моря, которое образует у берегов две лагуны, подобные небольшим внутренним морям, отделенным друг от друга узкими полосами суши: Куриш-Гаф на севере и Фриш-Гаф на юге. На самом севере Куриш-Гафа расположен город Мемель, который в 1807 г. служил последним убежищем прусскому королю^[26], а на северном берегу Фриш-Гафа находится столица Восточной Пруссии Кёнигсберг. Вход в этот залив надежно защищен крепостью Пиллау. По течению Немана, впадающего в Куриш-Гаф, расположены города Тильзит и Рагнит в Восточной Пруссии, а также Ковно и Гродно в Литве. Кёнигсберг стоит на впадающем во Фриш-Гаф Прегеле, так же как и города Тапиау, Велау, Инстербург и Гумбиннен. В Прегель впадает река Алле,

протекающая через Бартенштейн, Фридланд (неподалеку от Эйлау), Алленбург и Бюргерсдорф. Неман и Прегель образуют две естественные параллельные линии обороны, в то время как Алле перпендикулярна Прегелю. Все эти знаменитые названия — Эйлау, Фридланд, Тильзит^[27] — свидетельствуют о том, что солдаты 1757 г. сражались на тех же полях, которым предстояло увидеть великие события 1807 г. Завоевание Восточной Пруссии было чрезвычайно важно русским, и они надеялись закрепить свои права на нее по заключении всеобщего мира. Но и для Фридриха II она тоже имела весьма существенное значение, ведь его королевство получило свое имя от тех самых *пруссос* — древнего народа литовской расы, уничтоженного и поглощенного германской колонизацией. Кто мог предвидеть, что названию исчезнувшего народа суждено олицетворять господство немцев на пространстве от Немана до Мозеля и даже образовать такое словосочетание, как Рейнская Пруссия? Именно Восточная Пруссия была колыбелью предков Фридриха II, именно она являлась, строго говоря, «королевством Пруссия»^[38], именно там он пользовался неограниченным суверенитетом^[39], в то время как в Бранденбурге и других землях был, хотя и номинально, под властью своего сюзерена — германского императора. И наконец, из его двух приморских провинций она имела наибольшее значение.

Восточная Пруссия представляла собой бедную страну, покрытую песками и болотами и слабо заселенную, — тогда в ней насчитывалось около 500 тыс. жителей. Смешанная с литовскими элементами германская раса отличалась силой, суровостью и непоколебимой верностью своим государям — гроссмейстерам Тевтонского ордена и династии Гогенцоллернов. Именно из этой страны древних литовцев, из этой отдаленной германской колонии раздался в 1813 г. призыв подняться против Наполеона^[28]. И хотя Фридрих II был всецело поглощен отчаянной борьбой на полях Богемии, Саксонии и Силезии и прекрасно понимал, что судьба столь отдаленной провинции решается не на Прегеле или Алле, а на берегах Эльбы и Одера, он тем не менее все-таки позаботился о защите Восточной Пруссии. Вернее, он рассчитывал организовать там сопротивление врагу, используя для этого лишь местные ресурсы, и прежде всего обратился с призывом к своим «вассалам и верноподданным» о заеме в пятьсот тысяч талеров.

Великая княгиня Екатерина уведомляла короля обо всем, происходившем при русском дворе и в армии, через кавалера Вильямса и английского посланника Митчелла. В декабре 1756 г. Фридриху сообщили, что царица, узнав о приготавливавшемся французами нападении на Клевское княжество^[40], сочла его «не столь уж страшным врагом, каким он казался еще пять недель назад, и поэтому было решено отправить на помощь королеве-императрице^[29] 80 тыс. чел. регулярных войск и 30–40 тыс. нерегулярных. Впрочем, приготовления еще далеко не закончились, в каждом полку недоставало по 500 чел., и лишь только-только отдали приказ о наборе рекрутов»^[41].

В свою очередь прусский король также сообщал Левальду о развитии событий (26 декабря). Указывая на тревожные известия, он в то же время успокаивал его: «Во-первых, до начала июня русские будут не в состоянии двинуть свои войска; во-вторых, царица больна, и даже опасаются за ее жизнь; и третье, если так оно и случится, у меня не будет никаких оснований бояться молодого двора»^[42]. То же самое и в январских письмах 1757 г., наполненных всяческими соображениями о здоровье Елизаветы и тех последствиях, которые может повлечь за собой ее кончина. Другие надежды возлагались на удаление маркизы Помпадур после покушения Дамьена^[30], что может вызвать у Людовика XV прилив раскаяния и набожности, а следовательно, и побудить его «нанести страшный удар по австрийской

клике»^[43].

Фридрих II не терял надежды на то, что его друзьям в Зимнем дворце удастся отсрочить русское наступление, а преданный великой княгине Апраксин будет воевать против него лишь ради соблюдения приличий. Более того, хотя он очень боялся России, но вместе с тем и презирал русскую армию, считая ее не более чем беспорядочной толпой. Однако его представления об этой военной силе, почерпнутые из бесед со старым фельдмаршалом Кейтом, который когда-то командовал ею, уже давно устарели. Он ничего не знал ни о реформах 1756 г., ни об изменениях в ее численном составе. Ему удалось передать эту неосторожную самоуверенность не только своему окружению, но также жителям и властям Восточной Пруссии. Фридрих оставил Левальду всего лишь 19 400 чел. регулярного войска. Правда, корпус принца Гессен-Дармштадтского, расквартированный в Прусской Померании для наблюдения за шведами, мог служить Левальду резервом, однако нехватка войск в Центральной Европе почти сразу заставила короля отозвать этот корпус в свое распоряжение. Таким образом, вслед за Восточной Пруссией он оставил без защиты и Померанию, обнажив обе свои балтийские провинции! У Левальда не было иного выхода, как пополнять свои силы из местных ресурсов. В 1756 г. он призвал под знамена всех рекрутов, включил их в гарнизонные полки и поставил под начало отставных офицеров, которые принялись учить их, снабдив ружьями, присланными из Берлина.

Всего таких полков было три, но солдаты в них оставались не обученными, а офицеров было бы правильнее называть инвалидами. В своей безумной рекрутчине, которая буквально опустошала все его государство, Фридрих ухитрялся ставить на поле битвы эти полки из гарнизонов в самый центр, используя их или в резерве, или во второй линии.

Кроме гарнизонных полков существовала еще и *ландмилиция*, этот предок *ландвера* 1813 года, образовавшаяся еще до возникновения самого королевства, в эпоху герцогов. Фридрих I предполагал сделать службу в ней всеобщей повинностью, но пришлось ограничиться лишь жителями городов и больших селений. Такое ополчение горожан и крестьян почти сплошь состояло из пехоты с очень незначительной кавалерией. Король-капрал, отец Фридриха II, посчитал, что рядом с его блестящими линейными полками эта ландмилиция являет собой слишком жалкое зрелище, и поэтому она была почти упразднена. Но в последние десять лет своего правления он пытался преобразовать ее. За весь королевский период существовало всего четыре полка ландмилиции в Бранденбурге, Померании, Магдебурге и Восточной Пруссии. Два последних в какой-то мере участвовали в Семилетней войне, один против шведов, другой против русских. Но пока все они числились только на бумаге, хотя уже были укомплектованы офицерами, унтер-офицерами и барабанщиками, уволенными из действующей армии большей частью по увечью и состоявшими на половинном жалованье. В Восточной Пруссии полк ландмилиции носил имя своего полковника — фон Хюльзена. Он имел только один батальон и был сразу же послан в гарнизон мемельской крепости. Левальд занялся реформированием ландмилиции и образовал в пограничных округах 5–6 рот и присоединил к ним также *ландгусар* и *егерей*.

Благодаря его настойчивым действиям было поставлено в строй 2214 ополченцев для службы на границе против нерегулярных войск, русских мародеров и всяческих шаек. Это ополчение не было постоянно действующим, его собирали лишь по сигналу набата. За нехваткой офицеров даже в гарнизонных полках на их места назначали старых дворян, состоятельных арендаторов и увечных унтер-офицеров. Во главе этого ополчения был поставлен отставной эскадронный командир Катаржинский де Гуттек. Поскольку провинцию населяли две нации — литовцы на юге и немцы на остальной территории, у них несколько отличалась форма: белая с синими отворотами для литовцев, голубая или серая с белыми

отворотами у немцев. Военная форма уже по понятиям того времени была абсолютно необходима, так как без нее любой участник военных действий считался взбунтовавшимся крестьянином, что провоцировало репрессии неприятеля.

Жители пограничных областей в случае приближения врага подлежали поголовному призыву под началом лесников. Скорее всего, у этих крестьян не было военной формы, поскольку им предписывалось вооружаться не только ружьями и мушкетами, но также косами и вилами. Их оповещали колокольным звоном, верховыми нарочными и прочими сигналами — горящими смоляными бочками и факелами на шестах из пучков соломы. Впрочем, роль такой мобилизации для военных действий была очень невелика, она только раздражала русские войска.

Несколько полезнее оказалось городское ополчение. В Кёнигсберге все горожане были разделены на две категории: регулярных и резерв. Из первой составилось десять рот общей численностью 3 тыс. чел. и один эскадрон (150 чел.). Пехотинцы получили вместо ружей мушкеты. Кавалеристы, набранные из мясников, пивоваров, лавочников и извозчиков, были вооружены саблями и пистолетами. Это оружие поставлялось королевскими или городскими арсеналами или же подлежало реквизиции у местных жителей. Что касается резерва, куда входили «все способные двигаться», то там приходилось довольствоваться шпагами, косами, вилами, а подчас и кочергами. Добавим к этому, что далеко не всем игра в солдаты доставляла удовольствие. Университет, типографии, издательства, учителя танцев, городское дворянство, королевские чиновники, духовенство, адвокаты, то есть все пользовавшиеся привилегиями, подали жалобы. Одних под благовидным предлогом удовлетворили, другим же пригрозили штрафами и даже тюрьмой. Жителям раздавали оружие и в некоторых незащищенных городах, как, например, в Тильзите.

Во всей Восточной Пруссии было всего три крепости: Пиллау, Мемель и Кёнигсберг — и укрепленный мост в Мариенвердере на Висле, вооруженный двумя старыми железными пушками при двух отставных солдатах. Сколько-нибудь важное значение имел только Кёнигсберг, защищенный непрерывным поясом укреплений с 32 бастионами, цитаделью и отдельным фортом Фридрихсбург. Левальд едва успел привести в порядок лишь эту крепость, на две другие у него не оставалось времени.

Напрасно пытался он использовать все доступные средства — складывавшаяся ситуация не предвещала ничего хорошего. Вместо подкреплений король мог помочь только ценными советами, да еще тем, что облек его неограниченной диктаторской властью над всей провинцией, предписав никогда не собирать военный совет.

Наконец, уже избавившись от своих политических иллюзий, Фридрих повелел Левальду произвести мобилизацию всех войск ввиду неизбежного, по полученным достоверным сведениям, русского вторжения. В заключение он писал: «Я полагаюсь на вашу осмотрительность, опыт и разумные решения, однако вы не должны ни щадить русских, ни вступать с ними в переговоры (*nicht schonen, noch marchandireri*)... Если они вторгнутся в Пруссию, без промедления вцепляйтесь им в загривок и хорошенько отлупите их. ...Я припоминаю, что фельдмаршал Кейт почитал наилучшим в качестве доброй пощечины начинать с кавалерийской атаки на их фланги и, опрокинув оные, пробивать в каком-либо месте пехотное каре, после чего все и будет покончено, поелику они придут тогда в совершенное замешательство и останется лишь взять как можно больше пленных и отправить к неприятельскому командующему барабанщика с предложением присылать парламентаров и деньги на содержание пленных...»^[44].

Таким образом, Левальду оставалось только позаботиться о будущих пленных. И когда он в соответствии с приказом короля двинулся к границе, то оставил губернатору

Кёнигсберга полковнику Путкаммеру инструкции, которые при всей осмотрительности и разумности были исполнены презрения к русской армии, особенно к ее нерегулярным войскам: «Хотя, по всей очевидности, у Кёнигсберга могут появиться только калмыки, казаки и прочие, подобные им, г-ну полковнику надлежит принять такие же меры, как если бы на их месте были те, кто может отважиться на штурм города... Необходимо также требовать от господ офицеров постоянной бдительности и понимания того, что даже двадцать человек, если они исполняют свой долг, могут не бояться тысячи казаков». Одновременно он поручил нескольким курляндским офицерам, состоявшим на прусской службе, и среди них графу Дона и генералу Лоттуму, переодевшись, побывать на русских квартирах и доставить ему точные сведения о передвижении неприятеля.

В апреле 1757 г. Апраксин перешел Двину и произвел в своей главной рижской квартире общий смотр войскам. На этот воинский праздник он пригласил дам и все высшее общество — городские стены, окна и даже крыши домов были переполнены зрителями. Под всеобщие приветствия полки промаршировали стройными рядами. Проходя, офицеры салютовали шпагами, знамена склонялись. На всех солдатах были аккуратные мундиры, сверкало начищенное до блеска оружие и снаряжение. Поверх шляп красовались зеленые ветки, а на головах гренадер покачивались пучки перьев. «Великолепное зрелище» — так отозвался об этом смотре начинавший свою военную карьеру поручик Архангелогородского полка Болотов.

В мае Апраксин «для прикрытия магазинов» занял Ковно на Немане, а русский авангард Броуна (15 тыс. чел.) — Митаву. Лопухин и основная часть армии (32 тыс. чел.) сосредоточились вокруг Риги. Румянцев с 4 тыс. кавалерии перешел Двину у Динабурга. Салтыков командовал «десантным отрядом» в Ревеле (10 тыс. чел.), который морем должен был отправиться к берегам Пруссии. Еще 17,5 тыс. чел. задерживались у Дерпта и Пскова. Генерал-майор Кастюрин, бригадир Краснощеклов, майоры Гаке и Суворов еще только подходили к Вильне. Если не считать нерегулярных войск, то вся эта масса вследствие множества *impedimenta*^[45] двигалась довольно медленно — не более 10–12 км в день. Уже начали чувствоваться все затруднения со снабжением такой армии в подобной стране; недостаток скота восполнился ожидавшимся из Украины только в сентябре. Кроме того, в это время полагалось соблюдать пост, и на маршах это истощало людей. Апраксин писал в Конференцию: «Правда, указом блаженной и вечно достойной памяти императора Петра Великого повелевается солдат в том случае (во время похода. — Д.М.) в пост мясо есть заставлять, но я собою силу этого указа в действо привести не дерзаю <...>, но нужно для их выздоровления сей способ употребить, ибо в сей земле ни луку, ни чесноку найти нельзя, а солдаты в постные дни тем и питаются»^[46]. Как видим, даже по такому второстепенному делу главнокомандующий должен был сноситься с Конференцией. Эта последняя передала его донесение на усмотрение императрицы, которая переадресовала его Святейшему Синоду. Синод дал свое согласие, но оно прибыло лишь после Петровского поста, в июне 1757 г.

Только 23 июня левое крыло русской армии, составлявшее ее авангард, под командованием Фермора выступило из Полангена и перешло прусскую границу. 30-го оно сосредоточилось у Мемеля. Почти одновременно появилась и эскадра Вальронда, состоявшая из шести судов с бомбардирскими орудиями.

Появление длинных донских пик уже вызвало панику среди прусского населения. Несмотря на призывы Апраксина щадить мирных жителей, донцы повсюду грабили скот, лошадей и даже уводили людей. Крестьяне со своими стадами прятались в лесах, а чиновники, забрав документы, укрылись в Мемеле. Эта крепость с обветшалыми укреплениями имела 80 разнокалиберных орудий, ее гарнизон состоял всего из одного

батальона.

Апраксин предполагал начать кампанию со взятия Мемеля. К этому его побуждала слабость оборонительных средств крепости и пассивность Левальда. Однако противные ветры задерживали в Виндаве^[47] эскадру Льюиса, перевозившую корпус Салтыкова и осадную артиллерию. Задерживался и Фермор, который должен был принять командование левым флангом.

8 июня Апраксин приказал ему: «Прибыв в Мемель, через обсылку сдачи города требовать, с таким подтверждением, что в противном случае никто пощажен быть не имеет. Если же (Фермор) какого сильного сопротивления тамо нашел бы, то в таком случае, заняв свой пост, *ожидал бы осадную артиллерию и велел бы из галер в способных местах казаков на берег высаживать и набегии даже до ближних к Кёнигсбергу мест чинить, и, таким образом, по прибытии осадной артиллерии формальную атаку чинить*»^[48]. Фермор имел тогда свою главную квартиру в Либаве (Курляндия). Он отвечал, что у него всего семь пехотных полков общим числом 321 офицер и 8281 солдат вместо 27 тыс., назначенных для него Апраксиным, и поэтому нужно еще подождать.

13 июня Салтыков высадился в Либаве, люди его были измучены штормами, две галеры потеряны. На следующий день он уже переправил на берег осадную артиллерию, и тогда же прибыл Краснощеков с 1800 казаками. Пехотным полкам еще пришлось дожидаться своих пушек и обозов, которые флот доставил только 21 июня. Теперь уже можно было начинать осаду. 20 июня выступил авангард Фермора, а затем и его основные войска, разделенные на три бригады, всего 16 тыс. чел. вместо 27 тыс.^[49] Шедший впереди авангарда с летучим отрядом из 700 казаков и гусаров генерал-майор Романиус должен был распространять воззвания к населению. Тем, кто не окажет сопротивления и подчинится, были обещаны императорская милость и защита. Начальникам разведки рекомендовалось брать заложников из высших слоев и не трогать всех остальных; если же население будет сопротивляться, реквизировать скот и имущество, но не жечь деревни^[50].

В шесть часов утра 30 июня военные действия начала эскадра Вальронда. Это были первые выстрелы русско-прусской войны. Осаждающие приступили к бомбардировке города и цитадели с моря. В Мемеле сразу возникло несколько пожаров, но их быстро потушили.

Тем временем командовавшие сухопутными силами Фермор и Салтыков, произведя рекогносцировку, пришли к заключению, что штурм крепости невозможен и нужно приступить к правильной осаде.

После нескольких часов жестокой канонады Фермор отправил к коменданту парламентаря, но подполковник фон Руммель от переговоров отказался и зажег предместья.

При свете пожара русские генералы определили места для своих батарей, и всю ночь продолжалась работа по их установке. В шесть часов утра 1 июля осадные мортиры и гаубицы поддержали огонь морской артиллерии.

К утру 2 июля на такую ничтожную дыру, каким был Мемель, было потрачено уже 982 снаряда. Гарнизон довольно активно отвечал, но не мог принести особого вреда неприятелю ни на суше, ни на море. Русские начали рыть траншеи и подводить апроши^[51]. 3-го числа фон Руммель запросил разрешения отправить курьера к Левальду на предмет сдачи крепости, но Фермор не согласился на это. Осадные работы быстро продвигались, сила огня не ослабевала, и фон Руммелю пришлось поднять белый флаг. Предложенные им условия сдачи были, по выражению г-на Масловского, «в высшей степени дерзки»: свободный пропуск всего гарнизона с воинскими почестями, а также гражданских властей, денежной казны и вообще всего государственного имущества. Фермор согласился только на свободный выход

гарнизона при оружии, но без почестей. Фон Руммель сдал крепость и занял своим гарнизоном Лабау.

5 июля Фермор вступил в Мемель и на следующий день отправил донесение Апраксину, который выразил недовольство слишком мягкими для неприятеля условиями. И на самом деле, гарнизон из 800 человек, противостоявший 16 тысячному корпусу и подвергавшийся бомбардировке с суши и моря, не имел иного выхода, как сдаться на милость победителя. Нельзя было выпускать этот батальон, который Левальд хотел сделать ядром будущего ополчения. Успех Фермора отнюдь не стал славной победой: крепость сдалась лишь после бомбардировки, апроши оказались бесполезными. Не имело ни малейшего смысла держать здесь все 16 тыс. чел., вполне хватило бы и половины того, а остальных, в особенности казаков, лучше было использовать для других целей.

При вступлении в город Фермор приказал отслужить в лютеранской церкви благодарственный молебен. Эту неприятную для прусского верноподданного обязанность исполнил настоятель Вольф. Для своей проповеди он взял плач Иеремии на развалинах Иерусалима^[31]. Сограждане оценили такую смелость, да и сам Фермор не осудил его. Затем чиновникам и всем жителям города пришлось принести присягу на верность императрице Елизавете, поскольку подразумевалось, что завоеванное останется теперь в ее владении. Фермор занялся возвращением разбежавшихся горожан, измерением глубин в порту, восстановлением укреплений, доставкой припасов и реквизицией лошадей, которых так не хватало русской армии. Главнокомандующий приказал оставить в Мемеле гарнизон и часть эскадры, а другие корабли должны были крейсировать у прусских берегов. Фермору же надлежало незамедлительно идти на Тильзит.

Хотя авангард выступил уже 21 июля, сам он покинул Мемель лишь 26-го. Стояла удушающая жара, как это нередко случается в местах, отличающихся чрезмерным перепадом летних и зимних температур. Чтобы поберечь людей, Фермор запретил проходить более двадцати километров день, что надлежало делать в два приема — после двух часов ночи и после пяти вечера. 27 июля у Тильзита появился казачий разъезд, захвативший одного припозднившегося горожанина. 29-го поручик Владимирского полка передал требование сдать город и крепость на капитуляцию. 30-го Фермор мог уже видеть городские стены собственными глазами. Укрепления здесь были в еще худшем состоянии, нежели мемельские; в гарнизоне насчитывалось всего четыре роты ополчения, и он даже не пытался оказать сопротивления. В миле от Тильзита Фермора встретила депутация духовенства и городских властей, которая «нижайше просила его взять город под свое покровительство и в знак покорности тут же принесла присягу на верность царице». Фермор отвечал на это с изысканной любезностью. На следующий день, 31 июля, русский авангард вступил в город. Гренадеры встали на посты при пушках по всем площадям. Гражданская гвардия Тильзита с оружием продефилировала перед ратушей и приняла присягу. В церкви отслужили благодарственный молебен и была произнесена проповедь о милосердии Господнем. Все чиновники, все пасторы окрестных приходов, все обыватели мужского пола старше пятнадцати лет, независимо немецкой или литовской расы, должны были принести присягу. Фермор несколько дней занимался делами в завоеванном городе и работами по улучшению мостов через Неман, для чего использовались местные жители, а также устройством госпиталей и пекарен. Только 10 августа основные силы смогли перейти на другой берег. К середине месяца прусский орел был сбит со всех зданий и заменен царским гербом. Тильзит стал русским городом. Ополчению предписывалось сдать оружие; все собрания жителей, безусловно, воспрещались.

Пока правое крыло русской армии завоевывало северо-восточную часть Пруссии от

Мемеля до Тильзита, основные силы под командованием Апраксина и Лопухина разворачивались для наступления на вражескую территорию. Переход через Неман продолжался с 28 июля до 1 августа. Переправа чрезвычайно замедлялась нагромождением повозок и багажей и недостатком съестных припасов. Вся эта «Великая Армия» разделялась на три корпуса: Фермора, Лопухина и Броуна. Передовые отряды казаков и гусар должны были опережать ее на один день. Основной удар намечался по Гумбиннену — главному городу литовской части Восточной Пруссии. 1 августа войска перешли границу у Вержболова (Вирбаллена), и кавалерия рассыпалась по окружающей местности. Болотов пишет:

«Вход в неприятельскую землю производил во всех нас некое особое чувство. „Благослови, Господи, — говорили мы тогда между собою, имея под ногами землю наших неприятелей, — теперь дошли мы наконец до прусской земли! Кому-то Бог велит благополучно из нее вытти и кому-то назначено положить в ней свою голову!“ Мы нашли места сего королевства совсем отменными от польских. Тут господствовал во всем уже совсем иной порядок и учреждение: деревни были чистые, расположены и построены изрядным образом, дороги повсюду хорошие, и в низких местах повсюду мощные, а инде возвышенные родом плотин и усаженные деревьями. Одним словом, на все без особого удовольствия смотреть было не можно. Сверх того, как тогда не делано было еще никакого разорения, то все жители находились в своих домах и, не боясь нимало нас, стояли все пред своими домами, а бабы и девки наполняли ушаты свежей воды и поили солдат мимо идущих. Одним словом, казалось тогда, что мы не в неприятельскую, а в дружескую вошли землю»^[52].

Глава четвертая. Битва при Грос-Егерсдорфе (30 августа 1757 г.)



Левальд достаточно долго мог надеяться на то, что русского вторжения не произойдет и все ограничится демонстрациями, а некие благоприятные влияния в Петербурге, как рассчитывал и сам Фридрих II, на неопределенно долгое время задержат сокрушающий поток. У Левальда были основания ожидать поддержки как со стороны прусского корпуса в Померании, так и со стороны британского флота, который, несомненно, будет действовать против русских эскадр Ревеля и Кронштадта.

Но теперь перед ним вдруг открылась страшная реальность: на его маленькую армию надвигались почти 90 тыс. солдат. Русскому вторжению, подобному нашествию варваров, предшествовали тучи всадников, чуть ли не потомков Аттилы. День за днем ему сообщали то о падении Мемеля, то о взятии Тильзита, и, наконец, о переходе врага через Неман уже в саму Пруссию. Померанский корпус не появлялся, и ничего не было слышно о британском флоте. Не мог он рассчитывать и на самого Фридриха, который только что потерпел ужасные поражения у Колина и под стенами Праги (июль 1757 г.). Кроме угрозы превосходящих сил неприятеля по фронту и на обоих флангах, Левальд мог опасаться еще и высадки русского десанта у себя в тылу в случае прорыва русской эскадры к Пиллау. Тогда ему пришлось бы очистить половину всей провинции вплоть до сдачи столичного города Кёнигсберга. Он уже обсуждал с берлинским правительством вероятность полного отступления. Из лагеря Фридриха прибыл поручик фон Гумбольдт, который за 14 дней проделал 1800 км и привез Левальду письмо короля (от 11 июля). В нем были лишь слова о доверии, сопротивлении до последней крайности и самых энергичных действиях: «Вы непременно побьете один из русских корпусов, каким бы сильным он ни был»^[53]. Король в своих письмах к фельдмаршалу рекомендовал ту же самую тактику, что и в своей депеше от 12 июня: «Остается только один выход: обрушиться на первый же корпус, который посмеет приблизиться к вам, и разбить его, а потом и все остальное!» Иначе говоря, использовать разобщенность русских сил и разгромить их поодиночке.

К счастью для Левальда, Пиллау был защищен от нападения и он мог не опасаться, по крайней мере некоторое время, за пути к отступлению.

В первый же день вторжения в Пруссию 220 конногренадер и 180 чугуевских казаков под командою ротмистра де ла Роа достигли деревень Каттенау и Куммельн. Поверив жителям, что поблизости нет никаких прусских войск, этот офицер остановился со своими людьми в деревне, а казакам разрешил идти на Нибуцин. Они тоже были обмануты и подверглись внезапной атаке черных гусар Малаховского. После короткой схватки их отбросили к Куммельну, а оттуда вместе с конногренадерами к Каттенау. Они были спасены лишь появлением еще нескольких эскадронов русской кавалерии, которые опрокинули Малаховского и гнали его до наступления ночи. Таким образом, стычка закончилась в пользу русских, но для них все началось с пагубной неосмотрительности. Болотов идет еще дальше и говорит, что эта стычка, «сделав во всем нашем войске великое о храбрости пруссаков впечатление, умножила тем в сердцах множайших воинов чувствуемую и без того великую от пруссаков робость, трусость и боязнь» <...> Он также присовокупляет к этому:

«... всего важнее и достопамятнее, ... что не только неприятельские войска, но

самые прусские обыватели возмечтали себе, что все мы хуже старых баб и ни к чему не годимся. Почему ополчились уже на нас и самые их мужики и начали стараться причинять нам повсюду вред и беспокойство. <...> [Апраксин], будучи разгорячен и раздосадован всем тем, дал то злосчастное повеление, чтоб впредь, ежели где подобное тому случится и обыватели поднимут на нас руку, не щадить бы и самих жителей и разорять селения таковые. Но таковое несчастное повеление не успело излететь из его уст, как тотчас нашими казаками, калмыками и другими легкими войсками употреблено было во зло. Они, будучи рассылаемы всюду и всюду для разведывания о неприятеле, не стали уже щадить ни правых, ни виноватых, но во многих местах от жадности к прибуткам начали производить великое разорение и жителей не только из селений разгонять, но оных мучить, бить, грабить, дома их опустошать и такие делать злодейства, бесчеловечия и беспорядки, какие одним только варварам приличны и кои не только влияли величайшую к нам ненависть и злобу, но и покрыли нас стыдом перед всем светом... Учиненные ими разорения самим нам обратились после в существенный вред и сделали то, что все предпринимаемые в сие лето и толь многочисленные труды приобрели нам только единое бесславие, а пользы не принесли ни малейшей»^[54].

Таким образом, недисциплинированность нерегулярных войск с первых же шагов на прусской земле отбила у побежденных то миролюбие и даже доброжелательность, которые Болотов заметил в самом начале кампании, после чего и последовали все жестокости крестьянской войны.

С 6 по 10 августа Апраксин находился в Гумбиннене, где посетил ратушу и привел к присяге обывателей. Через несколько дней он приказал наказать крестьян, пойманных с оружием в руках: одни были повешены, другим отрубили пальцы правой руки. 8-го он собрал военный совет, на котором решили идти к Инстербургу, находящемуся при слиянии Инстера и Прегеля, чтобы соединиться с Фермором.

Левальд, со своей стороны, проникнувшись советами Фридриха, вознамерился воспрепятствовать этому и по возможности разбить сначала Апраксина, а потом и Фермора. Инстербург защищала конница Малаховского, на помощь которому из Кёнигсберга направлялись: принц Голштинский по правому берегу Прегеля и генерал Дона по левому. Для обеспечения сообщений между обоими берегами у Таплакена и Бубайнена были наведены мосты.

Обе армии уже подошли близко друг к другу. 7 августа выступил русский авангард Штофельна. 8-го он вступил в бой у Гервишкемена и Питкине, где Малаховского поддерживали вооруженные крестьяне. Инстербург был взят, затем оставлен и снова захвачен, а 11-го в него вступил сам Апраксин, которому Малаховский безуспешно пытался чинить помехи и препятствия.

Внезапное продвижение русских расстроило наступательные планы Левальда. Его авангард достиг уже Заалау, когда они захватили Инстербург, и пруссакам пришлось отступить. 13 августа сюда же подошел корпус Сибильского, а 18-го неподалеку, в Георгенбурге, встал лагерем и Фермор. Таким образом, все русские силы объединились под командованием самого Апраксина, что составило внушительную массу в 89 тыс. чел. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы Левальд напал, а тем более разбил эту армию по частям.

Отныне ему оставалось лишь защищать оба берега Прегеля, при впадении в который реки Алле у Велау он устроил свои магазины. Его главная квартира располагалась на высотах у Каленена, весьма удобных для обороны, а передовые посты стояли в Заалау и Зимонене по

правому берегу Прегеля и в Норкиттене на левом. Все леса по обоим берегам охранялись кавалерией и множеством вооруженных крестьян, озлобленных опустошительными набегами нерегулярной русской конницы.

Чтобы прощупать противника, Апраксин, пользуясь своим превосходством, несколько раз посылал по обоим берегам сильные разведывательные отряды. Например, 18 августа 5 или 6 тыс. нерегулярной кавалерии под командой генерала Кастюрина спустились по левому берегу, как бы направляясь к Кёнигсбергу. Такое же число во главе с Краснощековым действовало на правом берегу, угрожая Каленену. Почти везде им пришлось иметь дело с черными гусарами и крестьянами. Позиция Левальда с центром у Каленена, которую на флангах прикрывали лес и болото, была достаточно разведана. По левому, не занятому пруссаками, берегу Кастюрин смог беспрепятственно пройти вплоть до Алленбурга. Его даже упрекали за то, что он не пытался сжечь магазины в Велау или совершить набег на Фридрихсбург или Кёнигсберг.

Русскому главнокомандующему оставалось лишь спуститься по правому берегу и сбить позицию пруссаков у Каленена. Казалось, что именно к этому и идет дело: 20 августа Апраксин приказал идти на Заалау, однако неожиданно изменил направление удара, повернув через Алленбург на Кёнигсберг. Главной причиной этого был недостаток провианта для войск. Правда, люди отнюдь не голодали, а Болотов говорит даже об изобилии. Прусские крестьяне доставляли в достаточном количестве крупный скот, деревни изобиловали всяческой птицей и мелкой живностью. Казаки, калмыки, гусары, даже драгуны, продавали все это за бесценок своим сотоварищам из пехоты. И все-таки овец, свиней и птицы не могло хватить на всех. С другой стороны, тот же Болотов упоминает о недостатке зерна и соли. Но более всего армия нуждалась в фураже. Можно представить себе, сколько поглощали лошади 7 тыс. всадников регулярной кавалерии и 12 тыс. нерегулярной, причем эти последние имели каждый по две лошади. Добавьте сюда еще конвой и лошадей обоза. Бичом русской армии был избыток легкой кавалерии, которую к тому же ее генералы боялись даже использовать, опасаясь еще большего разорения окружающей местности. Именно по этим причинам Апраксину пришлось перейти с правого берега Прегеля на левый. Он рассчитывал заманить туда и своего противника, поскольку Левальду нельзя было обнажать свой фланг у Велау и тыл со стороны Кёнигсберга, чтобы в случае потери Алленбурга не быть отрезанным от всех путей отступления.

24 августа русская армия начала трехдневный марш от Прегеля на Зимонен, после чего сконцентрировалась у Норкиттена, между самой рекой и ее притоком Ауксинне, на местности, которую Болотов называет «преужасным буераком». Таким образом, русский тыл был защищен обеими реками, а по фронту тянулся небольшой лес, называющийся Грос-Егерсдорфским, через который можно было пройти лишь по двум дорогам, но никак не обойти его. Армия встала здесь лагерем, расположив свои бесчисленные повозки в виде своеобразного ограждения — *вагенбурга*.

Обеспокоенный передвижениями русских, Левальд, не понимая в точности, что именно происходит, посчитал необходимым отойти от Каленена и Таплакена на Вилькенсдорф. Для прикрытия он отправил к Заалау конницу Рюша и Каница. 26-го они столкнулись с еще не переправившимися частями неприятеля и были отброшены. Несомненно, что эта рекогносцировка была плохо организована, поскольку Левальд не узнал самого главного — всей опасности положения русской армии, разделенной надвое Прегелем, что давало ему возможность напасть на нее при переправе. Только 28-го стало известно о сосредоточении неприятеля на левом берегу. Левальду показалось, что русские намереваются идти вдоль Алле, и он решил принудить их повернуть обратно. Оставив на правом берегу только

укрепленные посты, он со всеми войсками перешел Прегель у Платена и встал лагерем у Пушдорфа, заняв, таким образом, позицию, совершенно аналогичную русской, то есть опираясь на Прегель и Алле с тыла и имея перед фронтом Норкиттенский лес^[55].

Если бы русские разворачивались из Грос-Егерсдорфского леса, а пруссаки из Норкиттенского, они неизбежно встретились бы на поле, посреди которого расположено селение Грос-Егерсдорф. Но пока обе армии находились еще на расстоянии 7 км друг от друга, и ни одна из них ничего не знала о том, что происходит у противника, поскольку они были разделены лесом.

Известие о переправе пруссаков через Прегель немало удивило Апраксина. Все свои передвижения он производил, надеясь обойти укрепленные позиции у Каленена и Таплакена или заставить Левальда покинуть их, а оказалось, что теперь Левальд сам хочет перейти в наступление. Каждое утро сильные отряды конницы тревожили русский лагерь. 29 августа Шорлемер с 40 эскадронами гусар и драгун (то есть силами почти всей прусской кавалерии) пробился до Грос-Егерсдорфа, сбил аванпосты и казачьи заслоны, но после энергичного отпора отошел к Пушдорфу. Но и эта рекогносцировка оставляла желать много лучшего — Шорлемер не обнаружил в Грос-Егерсдорфском лесу никаких русских войск и не смог пройти весь лес до неприятельских позиций. Более того, он не догадался о той роли, которую во время сражения могли сыграть Зиттенфельдские высоты, расположенные к юго-востоку от этого леса при истоках Ауксинне. Впоследствии Фридрих II порицал робость Левальда — именно в тот день и надо было давать генеральную баталию как дальнейшее развитие предпринятой массивированной разведки боем. Действительно, вся прусская армия стояла на небольшом расстоянии позади кавалерии в порядке баталии. «Непостижимо, — говорит Фридрих, — по каким причинам он отложил до следующего дня то, что могло сразу же привести к успеху».

29-го вечером обе армии расположились каждая в своем лагере. Наутро Левальд решил внезапно атаковать русских, раздавить их между Прегелем и Ауксинне и единым ударом завершить всю кампанию.

Но почти в тот же момент Апраксин принял не менее воинственное решение. Он не мог дольше задерживаться в этом месте зажатым между водой, лесом и болотами. Провианта оставалось всего на три дня. Недоставало и фуража. Вынужденная подобно кочевой орде искать новых пастбищ, русская армия должна была постоянно передвигаться. Апраксин намеревался за два марша выйти через Эшенбург на Алленбург и линию Алле. Утром 30 августа его войска должны были вступить на обе дороги, шедшие через Грос-Егерсдорфский лес.

Если Левальд рассчитывал на внезапность, пока русские оставались в лагере, то Апраксин надеялся скрыть от него свой первый марш. Не предполагая, что битва произойдет именно в этот день, он приказал выступить из лагеря. По обеим дорогам Грос-Егерсдорфского леса, представлявшим собой настоящие дефиле^[56], должны были двинуться: справа корпус Фермора, слева Лопухина. Корпус Броуна был разделен и шел вслед первым двум. По левой стороне каждого из них следовали артиллерия и обоз, чтобы иметь защиту на случай нападения с запада. Наконец, по самому левому краю леса от Норкиттена на Зиттенфельде должен был идти *авангард* Сибильского. Вся армия насчитывала около 55 тыс. чел.^[57], включая 10–13 тыс. нерегулярных войск. Она имела 150–200 пушек батарейной и полковой артиллерии.

Левальд мог противопоставить ей 24 тыс. чел., в том числе 50 эскадронов великолепной кавалерии и 64 разнокалиберные пушки.

Чтобы избежать каких-либо неожиданностей со стороны неприятеля, в ночь с 29 на 30

августа Апраксин приказал гренадерам Языкова, Вологодскому, Суздальскому и Угличскому полкам занять высоту, господствовавшую над западным дефиле, и поставить там батарею крупного калибра. При выходе из второго дефиле он расположил 2-й Московский полк, а Сибильский занял казаками Серебрякова и своим авангардом высоты Зиттенфельде.

Русская армия провела ночь под ружьем, готовая к предстоящему на завтра маршу. Но совершенно неожиданно в три или четыре часа утра раздался сигнал тревоги.

Прямо перед русской армией из трех дефиле Норкиттенского леса дебушировала^[58] вся прусская армия. Ее левая колонна, состоявшая из одной конницы, была очень далеко от двух других; для выхода к Грос-Егерсдорфу ей надо было двигаться в обход, и поэтому она вышла на поле битвы последней. Предыдущие выступили из леса в два часа утра, но линии были построены только к четырем. На флангах пехоты маневрировали эскадроны кавалерии.

Все поле предстоящей битвы, окруженное лесом, покрывал туман. Головы противостоящих колонн находились на расстоянии тысячи двухсот метров друг от друга, но ничего еще не видели, хотя русские и могли слышать приближение пруссаков. Левальд для воодушевления солдат, а быть может, по своему пониманию воинской чести приказал играть трубам и бить в барабаны. Находившийся на высотах Зиттенфельде в рядах Архангелогородского полка Болотов пишет, что ничего не видел и не мог понять, как две самые близкие прусские колонны могли пройти ту тысячу метров, которые отделяли их от леса, занятого русскими.

Армия Апраксина была захвачена врасплох. Русские совершенно не позаботились о том, чтобы разведать хотя бы ближайшую местность или выслать разъезды к опушке и даже внутрь того леса, из которого теперь дебушировали пруссаки. Порядок предполагавшегося марша был совершенно непригоден для сражения: каждый полк вытягивался по узкому дефиле, загроможденному артиллерией и даже обозом, хотя эти последние следовало поставить позади колонн. Когда армия была внезапно разбужена трубами, барабанами и звуками выстрелов, русские оказались в полной растерянности, скученные между повозок и фур. Они никак не могли выпутаться из обозов и построиться на опушке в боевые порядки. Охватившее их замешательство прекрасно передано в записках Болотова:

«Боже мой! Какое сделалось тогда во всей нашей армии и обозах смятение! Какой поднялся вопль, какой шум и какая началась скачка и какая беспорядица! Инде слышен был крик: „Сюда! Сюда! Артиллерию!“, в другом месте кричали: „Конницу, конницу скорее сюда посылайте!“ Инде кричали: „Обозы прочь! Прочь! Назад! Назад!“ Одним словом, весь воздух наполнился воплем вестников и повелителей, а того более — фурманов^[59] и правящих повозками. Сии только и знали, что кричали: „Ну! Ну! Ну!“ и погоняли лошадей, везущих всякие тяжести. Словом, было и прежде уже хорошее замешательство, а при такой нечаянной тревоге сделалось оно совсем неописанным. Весь народ смутился и не знал, что делать и предпринимать. Самые командиры и предводители наши потеряли весь порядок рассуждения и совались повсюду без памяти, не зная, что делать и предпринимать. Случай таковой для самих их был еще первый и к тому ж, по несчастью, такой нечаянный и смутный, а они все были еще люди необыкновенные. Никогда не видывал я их в таком беспорядке, как в то время. Иной скакал без памяти и с помертвелым лицом кричал и приказывал, сам не зная что, другой отгонял сам обозы, ругал и бил извозчиков; третий, схватя пушку, скакал с нею сам сколько у лошади силы было. Иной, подхватя который-нибудь полк, продирался с ним сквозь обоз, перелазивая через телеги и фургоны, ведя его, куда сам не

В своем донесении Апраксин признает то замешательство, в которое повергла его эта неожиданная атака:

«Что ж до меня принадлежит, то я так, как пред самим Богом, Вашему Величеству признаюсь, что я в такой грусти сперва находился, когда с такою фурией и порядком неприятель нас в марше атаковал, что я за обозами вдруг не с тою пользою везде действовать мог, как расположено было, что я такой огонь себе отваживал, где около меня гвардии сержант Курсель убит и гренадер два человека ранено, вахмейстер гусарский убит, и несколько человек офицеров и гусар ранено ж, також и подо мною лошадь, одним словом, в толикой был опасности, что одна только Божия десница меня сохранила...^[61]»

Однако приказания его вполне соответствовали возникшей ситуации. Сибильскому было предписано утвердиться на высотах Зиттенфельде перпендикулярно фронту других полков, так чтобы атакующие оказались внутри простреливаемого сектора. Корпус Лопухина получил приказ построиться на опушке леса в ордер баталии, опираясь под прямым углом на правый фланг Сибильского. Так же должен был расположиться и корпус Фермора, примкнув своим левым флангом к правому флангу Лопухина. Резерв (Румянцев) оставался до получения новых приказаний в охране обоза.

Левальд должен был заметить эти новые построения русской армии и особенно столь опасную для него позицию корпуса Сибильского, который растянулся далеко по флангу любой атаки пруссаков и угрожал даже их арьергарду. Впрочем, может быть, туман помешал ему отчетливо увидеть все это.

Около пяти часов утра, не дожидаясь подхода главных сил кавалерии, драгуны принца Голштинского атаковали стоявших перед ними гусар и казаков и опрокинули их. Затем, пройдя через Удербален и Даупелькен, они обрушились на 2-й Московский и Выборгский полки, которые охраняли восточное дефиле, но, встретив картечь и мушкетный огонь, отошли обратно к Удербалену. Тем не менее, очистив равнину, принц Голштинский дал возможность выстроить прусские линии для атаки.

Поскольку восточное дефиле было загромождено менее других, именно там начали строиться полки корпуса Лопухина. По второму дефиле в свою очередь начали дебушировать и становиться в ордер баталии на опушке леса с востока к западу Ростовский, Вятский, Черниговский, Муромский и Нижегородский полки.

Плохо было то, что между 2-м Гренадерским и Ростовским полками образовалось большое незаполненное пространство. Именно на это слабое место и обратился натиск прусской пехоты. Левальд не мог следовать рецептам Фридриха II: сначала канонада, потом кавалерийская атака и только после этого вводить в бой пехоту. Его артиллерия была слабее неприятельской, главная кавалерийская колонна еще только подходила, а принцу Голштинскому пришлось отступить. Оставалось сразу же использовать пехоту, и она с напором атаковала по фронту корпус Лопухина, которому угрожало полное уничтожение еще до построения линий. Сибильский, стоявший перпендикулярно к Лопухину, мог лишь косвенно помочь ему из-за болотистой местности по фронту, вступать на которую он не решался. К тому же у него не было и соответствующего приказа. Поэтому пять полков Сибильского и три Лопухина, составлявшие их продолжение, оставались только зрителями начавшегося боя. Служивший в Архангелогородском полку Болотов оставил яркое описание

происходившего:

«Первый огонь начался с неприятельской стороны, и нам все сие было видно. Пруссаки шли наимужественнейшим и порядочнейшим образом атаковать нашу армию, вытягивающуюся подле леса, и, пришедши в размер, дали по нашим порядочный залп. Это было в первый раз, что я неприятельский огонь по своим одноземцам увидел. Сердце у нас затрепетало тогда, и мы удивились все, увидев, что с нашей стороны ни одним ружейным выстрелом не было ответствовано, власно так, как бы они своим залпом всех до единого побили. Пруссаки, давши залп, не останавливаясь, продолжали наступать и, зарядивши на походе свои ружья и подошед еще ближе к нашим, дали по нашим порядочный другой залп всюю своею первою линиею. Тогда мы еще больше удивились и не знали, что делать, увидев, что с нашей стороны и на сей залп ни одним ружейным выстрелом ответствовано не было. „Господи, помилуй! Что это такое? — говорили мы, сошедшись между собою и смотря на сие позорище со своего отдаленного холма. — Живы ли уже наши и что они делают? Неужели в живых никого не осталось?“ Некоторые малодушные стали уже в самом деле заключать, что наших всех перебили. „Как можно, — говорили они, — от двух таких жестоких залпов и в такой близости кому уцелеть?“ Но глаза наши тому противное доказывали. Коль скоро несколько отдышалось, то могли мы еще явственню наш фронт чрез пруссаков видеть; но отчего бы такое молчание происходило, того никто не мог провидеть. Некоторые из суеверных стариков помыслили уже, не заговорены ли уже у наших солдат ружья; но сие мнение от всех нас поднято было на смех, ибо оно было совсем нескладнейшее. Продолжая смотреть, увидели мы, что пруссаки и после сего залпа продолжали наступать далее и на походе заряжали свои ружья, а зарядив оные и подошед гораздо еще ближе, дали по нашим третий преужасный и препорядочный залп. „Ну! — закричали мы тогда. — Теперь небойсь, в самом деле наших всех побили.“ Но не успели мы сего выговорить, как, к общему всех удовольствию, увидели, что не все еще наши перебиты, но что много еще в живых осталось. Ибо не успели неприятели третий залп дать, как загорелся и с нашей стороны пушечный и ружейный огонь, и хотя не залпами, без порядка, но гораздо еще сильнее неприятельского. С сей минуты перестали уже и пруссаки стрелять залпами. Огонь сделался с обеих сторон непрерывный ни на одну минуту, и мы не могли уже различить неприятельской стрельбы от нашей. Одни только пушечные выстрелы были отличны, а особливо из наших секретных шуваловских гаубиц^[32], которые по особливому своему звуку и густому черному дыму могли мы явственню видеть и отличать от прочей пушечной стрельбы, которая, равно как и оружейная, сделалась с обеих сторон наижесточайшая и непрерывная»^[62].

Туман, дым битвы и горящих деревень не позволяли смотревшим видеть происходившие атаки. «Уже в десяти шагах ничего не было видно», — утверждал Левальд. Из пушек и ружей стреляли почти в упор, схватка шла как в темноте, представляя собой уменьшенное подобие сражения при Эйлау. Корпус Лопухина отчаянно защищался и выказывал при царившем беспорядке стоическую храбрость, вообще присущую русской нации. Дрались уже штыками. Был убит генерал Зыбин, смертельно раненый Лопухин попал в руки пруссаков. Но в конце концов оба эти полка дрогнули и были отброшены в глубь леса.

Именно в этот момент Румянцев («Неизвестно по чьему приказу», — пишет г-н

Масловский) пробил себе дорогу через скопление повозок и фур и ввел в пустой промежуток между 1-ми 2-м русскими корпусами четыре полка. Пруссаки были отброшены на равнину. Теперь русские линии сомкнулись по всей длине, и надежда возродила отвагу сражающихся.

На правом фланге гренадеры Языкова под защитой батарей отбили атаку драгун Шорлемера еще до того, как успела построиться дивизия Фермора, и этим спасли столь важную позицию. Не сумев сбить их, прусская кавалерия ударила по левому флангу с такой яростью, что опрокинула всю стоявшую там конницу и гнала ее до самого русского обоза в Норкиттене. Видя это, гренадеры Языкова повернулись кругом и произвели залп по пруссакам. Несколько шуваловских гаубиц поливали неприятеля дождем ядер. Блестящая атака пруссаков дала двоякий результат: с одной стороны, далеко отбросила русскую конницу, которая в этот день так больше и не появлялась, а с другой — на несколько часов лишила прусскую кавалерию возможности новой атаки.

Русская пехота на этом фланге, избавившись от страха перед прусскими эскадронами, сама перешла в наступление против стоявших перед ней батальонов, ударила во фланг первой линии Левальда и даже начала стрелять им в спину.

Было уже девять часов утра. Левальд ввел в бой свой последний резерв — выдвинул вторую линию, состоявшую только из гарнизонных полков Мантейфеля и Сидова. Солдаты одного из батальонов, оглушенные ужасным огнем и растерявшиеся от обволакивавшего их дыма, начали стрелять по своей же первой линии, «вследствие фатальной *оплошности*», как написал Левальд в донесении Фридриху II^[63]. Пехота дрогнула и стала откатываться, часть ее разбежалась по равнине, преследуемая до опушки Норкиттенского леса.

На правом фланге, так же как и в центре, успех переходил к русским. Бездействовал только корпус Сибильского. Известно, как в то время, когда вооружение пехотинцев было столь примитивно, они избегали выходить на открытую местность, если поблизости оказывалась неприятельская кавалерия. Возле Удербалена сконцентрировались драгуны принца Голштинского, Шорлемера и Платена и черные гусары Рюша. Они прикрывали свою пехоту и следили за передвижениями Сибильского. Поэтому прежде всего надо было избавиться от них. Тут-то и произошло то, о чем столь подробно пишет Болотов, но чего, судя по всему, он так и не понял:

«На самом левом фланге нашего корпуса стояли наши донские казаки. Сии с самого еще начала баталии поскакали атаковать стоящую позади болота неприятельскую конницу. Сие нам тогда же еще было видно, и мы досадовали еще, смотря на худой успех сих негодных воинов. Начало сделали было они очень яркое. Атака их происходила от нас хотя более версты расстояния, но мы могли явственно слышать, как они загикали — „Ги! Ги!“ и опрометью на пруссаков поскакали. Мы думали было сперва, что они всех их дротиками своими переколют, но скоро увидели тому противное. Храбрость их в том только и состояла, что они погикали и из винтовок своих попукали, ибо как пруссаки стояли неподвижно и готовились принять их мужественным образом, то казаки, увидя, что тут не по ним, оборотились того момента назад и — дай бог ноги. Все сие нам было видно; но что после того происходило, того мы не видели, потому что казаки, обскакивая болото, выехали у нас из глаз. Тогда же узнали мы, что прусские кирасиры^[64] и драгуны сами вслед за ними поскакали и, обыскивая болото, гнали их, как овец, к нашему фронту. Казакам некуда было деваться. Они без памяти скакали прямо на фронт нашего левого крыла, а прусская конница следовала за ними по пятам и рубила их немилосердным образом. Наша пехота, видя скачущих прямо на себя и погибающих

казаков, за необходимое почла несколько раздаться и дать им проезд, чтоб могли они позади фрунта найти себе спасение. Но сие едва было не нашутило великой шутки. Прусская кавалерия, преследуя их поэскадронно в наилучшем порядке, текла как некая быстрая река и ломилась за казаками прямо на нашу пехоту. Сие самое причиною тому было, что от сего полку началась по ним ружейная стрельба; но трудно было ему противиться и страшное стремление сей конницы удержать. Передние эскадроны въехали уже порядочным образом за казаками за наш фрунт и, рассыпавшись, рубили всех, кто ни был позади фрунта. Для сего-то самого принуждено было оборотить наш фрунт назад. Но все бы сие не помогло, и пруссаки, въехавшие всю конницею своею в наш фланг, смяли бы нас всех поголовно и совершили бы склоняющуюся уже на их сторону победу, если бы одно обстоятельство всего стремления их не удержало и всем обстоятельствам другой вид не дало. Батарей, о которой я выше упоминал, по счастью, успела еще благовременно обернуть свои пушки, и данный из нее картечью залп имел успех наивожденнейший, ибо как ей случилось выстрелить поперек скачущих друг за другом прусских эскадронов, то, выхвативши почти целый эскадрон, разорвала тем их стремление и скачущих не только остановила, но принудила опроретью назад обернуться. Те же, кто вскакали за наш фрунт, попали как мышь в западню. Пехота тотчас опять сомкнулась, и они все принуждены были погибать наижалостнейшим образом. Наша кавалерия их тут встретила и перерубила всех до единого человека»^[65].

Известно, что Болотов не любил казаков. Как у цивилизованного человека у него были свои предрассудки против этих полудикарей. Он повсюду нарочито преувеличивает совершавшиеся ими эксцессы, а здесь облыжно называет их «негодными воинами». Его извиняет лишь непонимание сути дела. Ведь казаки и не предназначены для атак на тяжелую кавалерию, они должны лишь беспокоить неприятеля, вывести его из терпения и по возможности заманить в какую-нибудь ловушку. При Грос-Егерсдорфе казаки просто-напросто применили свою излюбленную тактику, известную еще скифам Геродота и нередко приносившую успех в битвах с турками и татарами. На сей раз она удалась по отношению к немцам: драгуны Шорлемера и принца Голштинского, которые долго не поддавались на провокации казаков, все-таки не смогли удержать себя от преследования. Среди тумана и дыма они не заметили, как их заманивают под огонь 18 батальонов и 40 полковых пушек, под сабли драгун, конногренадеров и калмыков Сибильского. Так великолепная прусская кавалерия попала в ловушку и лучшая ее часть погибла^[66].

Благодаря этому неожиданно исчезло то препятствие, которое удерживало Сибильского в бездействии — теперь местность перед ним была расчищена. Весь его корпус пришел в движение, готовясь к атаке: пехота, регулярная кавалерия, эскадроны гусар, казаки и калмыки. Прусская пехота маршировала и сражалась с самого рассвета; уже пять часов она находилась под убийственным огнем пушек, изголодавшаяся и обессиленная. Один только полк Кальнайна потерял почти половину людей. Прусская артиллерия была вынуждена умолкнуть, кавалерия отбита от правого фланга русских и изрублена на их левом фланге. Опасались атаки Фермора, и когда появился свежий корпус Сибильского, это выглядело уже устрашающе. Отступление сначала происходило в полном порядке, но мало-помалу, убистряясь, превратилось в бегство. Через четверть часа поле битвы опустело, и армия Левальда исчезла в том же лесу, из которого она вышла утром.

Было уже десять часов, русские выиграли битву на всех пунктах и заняли оставленные

неприятелем позиции. Повсюду раздавались победные крики «Ура!», в воздух взлетали тысячи шляп. Палили из захваченных у врага пушек и ружей. Это была первая победа русской армии в настоящей европейской войне, где русская пехота явила себя всему миру. Болотов рисует нам впечатляющую картину поля битвы:

«Не успели нас распустить из фрунта, как первое наше старание было, чтобы, севши на лошадей, ехать смотреть места баталии. Какое зрелище представилось нам тогда, подобного сему еще никогда не видавшим! Весь пологий косогор, на котором стояла и дралась прусская линия, устлан был мертвыми неприятельскими телами, и чудное мы при сем случае увидели. Все они лежали уже как мать родила, голые, и с них не только чулки и башмаки, но и самые рубашки были содраны. Но кто и когда их сим образом обдирал, того мы никак не понимали, ибо время было чрезвычайно короткое, и баталия едва только кончилась. И мы не могли довольно надивиться тому, сколь скоро успели наши погонщики, денщики и люди сие спроворить и всех побитых пруссаков так обнаготить, что при всяком человеке лежала одна только деревянная из сумы колодка, в которой были патроны, и синяя бумажка, которой они прикрыты были. Сии вещи, видно, никак уже были не надобны, а из прочих вещей не видели мы уж ни одной, так что даже самые ленты из кос, не стоившие трех денег, были развиты и унесены»^[67].

Победа русских была неоспорима. Неприятель отступил на всех пунктах, оставив 29 пушек — почти половину всей артиллерии Левальда, что касается знамен, то Апраксин пишет в своем донесении: «Знамен получить невозможно было, ибо сколь торопен ни был побег пруссаков, они, однако же, старание приложили знамена в одно место собрать и в безопасность привести, чему вблизи позадь их лес много способствовал»^[68]. Однако потери русских представляются значительно большими, чем у пруссаков, возможно, вследствие внезапного начала битвы. По данным г-на Масловского, они составили: 1449 убитых и 4494 раненых у русских и, соответственно, 1818 и 2237 у пруссаков^[69]. Апраксин пишет, что пруссаки потеряли 4600 чел., не считая 600 взятых в плен. Такую же цифру указывает и А. Шефер^[70].

С обеих сторон не были пощажены и начальники: убиты три русских генерала (Лопухин, Зыбин и Капнист, командовавший слободскими казаками), семеро ранены (начальник штаба Веймарн, командующий артиллерией Толстой, шеф инженеров Дюбоске и генералы Ливен, Мантейфель, Вильбуа и Племянников). Русский офицерский корпус потерял 38 чел. убитыми и 232 ранеными. Что касается пруссаков, то под Левальдом было убито две лошади, но сам он не получил ни единой царапины. Присланный к нему Фридрихом опытный советник фон Гольц замертво пал рядом с ним; граф Дона и еще семь генералов были ранены.

Апраксин не удержался от высоких похвал своим подчиненным:

«Ваше Императорское Величество приметить изволите (из числа потерь), колико они (офицеры) исполняли свою должность. Словом сказать: никто не пренебрег оной, а буде кто презирал что-либо, то только жизнь свою, ибо ни один из раненых с места не сошел и раны перевязать не дал, пока победа не одержана и дело совсем не кончено. Буде кто из генералов сам не получил, то, конечно, под тем лошадь, а под иным две ранены»^[71].

Из 31 бывшего в строю генерала пострадала почти треть!

Следует отдать должное и солдатам: русская артиллерия показала свое превосходство, а пехота после первого замешательства сумела собраться, несмотря на отсутствие приказов, и выстоять в разрозненных рукопашных схватках. Если бы не цепкая стойкость 1-го Гренадерского полка на правом фланге и не жертвенный героизм 2-го Московского и Выборгского полков в центре, все было бы потеряно уже с самого начала. Воистину, Грос-Егерсдорф стал именно солдатской победой.

Г-н Масловский пытается защитить Апраксина от обвинений Болотова в недостаточности разведок и отсутствии какой-либо диспозиции перед сражением, одним словом, в его бездействии как командующего. Он показывает, что план действий Апраксина имел много хороших сторон. Однако все эти оправдательные аргументы представляются нам второстепенными, а совершенные ошибки вполне очевидны. Во-первых, выбор лагеря у Норкиттена с двумя реками в тылу и столь близко от пруссаков, что те слышали русские барабаны, вследствие чего было невозможно выступить на марш без риска привлечь к себе неприятеля. Во-вторых, совершенный при подобной близости фланговый марш тремя или четырьмя колоннами, разделенными друг от друга множеством препятствий. Кроме того, нагромождение артиллерии и обозов в узких дефиле и бездействие корпуса Сибильского до самого конца битвы. Во всей армии оказался только один генерал, проявивший себя настоящим тактиком, — это был Румянцев. Фридрих II отдает именно ему честь этой победы^[72]. Румянцев своей атакой двадцатью батальонами во фланг и тыл прусской пехоты исправил ошибки главнокомандующего, и благодаря этому была одержана победа. Недостатки планов Апраксина привели к тому, что русская армия не смогла использовать свой численный перевес. В лесу оставалось много пушек и масса бездействующих людей. На самом деле пруссаков победила армия, имевшая отнюдь не 55 тыс. чел.

Если бы Апраксин ввел в действие все свои силы, он не просто победил, а уничтожил бы противника. Успех был одержан как-то незаметно, таково впечатление Болотова и впоследствии историка Соловьева. Его можно отнести не только к самой армии, но и ко всему русскому народу. Как ни странно, эта столь достойно выигранная битва не оставила в национальном сознании ощущения победы. Предание приписывает умирающему Лопухину такие слова: «Я напишу царице, что Апраксин погубил всю армию».

Но и Левальд не выказал себя великим тактиком. Он атаковал русских по фронту, не беспокоясь о том, что на фланге у него стоял корпус Сибильского. Намереваясь прорваться внутрь леса, он обвинил солдат в излишней, как у русских, осторожности. Не воспользовался он и преимуществами своих хорошо обученных войск и тем самым оставил неприятелю все выгоды численного превосходства. Конечно, обстоятельства складывались против него, делая решающую победу невозможной. Но если бы он обошел русские позиции и бросил на их фланги и тылы свою мощную кавалерию, то привел бы неприятеля в непоправимое замешательство. В аналогичной Норкиттену позиции Наполеон встретил русских при Фридланде в 1807 г. Однако главная ошибка Левальда заключалась в его непреклонном желании сразиться с Апраксиным. Последующие события показали, что и без боя он смог принудить его очистить всю Восточную Пруссию.

Получив донесение Левальда о происшедшей баталии, Фридрих II отнесся к нему не столь строго, как можно было ожидать. Он выразил старому генералу свое полное удовлетворение за проявленную храбрость, приписав все остальное случайностям войны, и не принял заявленную Левальдом отставку^[73]. Но в глубине души король был уязвлен этим поражением и долгое время не мог простить своим прусским «медвежьим шапкам» поражения от этих «варваров». Тогда Фридрих еще не испытал на себе всех качеств русской армии, ему еще предстояло встретиться с нею у Цорндорфа и Кунерсдорфа. Только увидев ее

в действии, он перестал пренебрегать ею, ибо убедился, что она может побеждать не одного Левальда, но и других полководцев.

8 августа 1757 г. жители Петербурга были разбужены в четыре часа утра сто одним пушечным выстрелом, которые возвещали о победе над прусской армией. Велика была радость Елизаветы при получении донесения Апраксина. Она щедро наградила всех начальников, которых представлял фельдмаршал, а также и Петра Ивановича Панина, принесшего ей счастливое известие. Напротив, великий князь, как сообщал французский посланник, «публично выказывал свое неудовольствие одержанной победой и не умел скрыть чувство печали. Сие произвело в высшей степени неприятное впечатление на всех русских, которые увидели, чего им следует опасаться, если когда-нибудь сей принц будет царствовать над ними». Великая княгиня, со своей стороны утешала и ободряла британского агента Вильямса, вынужденного покинуть Петербург. Молодой двор все так же оставался на стороне пруссаков и англичан.

Впрочем, Людовик XV ничего и не делал для того, чтобы привлечь к себе Екатерину — именно в этот момент он добился у саксонского двора удаления Станислава Понятовского ^[33]. Подобные настроения великокняжеской четы становились для союзников тем более неприятными, что в сентябре у Елизаветы повторился серьезный приступ болезни. Но сама она твердо стояла на стороне коалиции. Говоря о своем племяннике, великом князе, она сказала: «Почему только нет у него брата!» Ей приписывали намерение оставить трон не ему, а его сыну, бывшему тогда еще ребенком. Что касается великого канцлера Бестужева, то он так и не сумел вернуть себе доверие союзных дворов. Посланники Франции и Австрии непрестанно обвиняли его перед Елизаветой, и она соглашалась с графом Эстергази, что это «злой и скверный слуга», но не знала, куда определить его после отставки. «Дайте ему стотысячный пенсion, — советовал ей австрийский посланник, — и вы получите на этом тысячу процентов». Союзные дворы не сомневались в том, что фельдмаршал выслуживается не только перед канцлером. Именно Бестужеву вменяли медлительность Апраксина, который, кроме того, заискивал еще и перед великой княгиней. В Вене и Париже не очень-то были довольны даже его победой 30 августа. Последующие события лишь усилили озабоченность союзников.

Глава пятая. Отступление Апраксина



Почему же победа 30 августа 1757 г., столь воодушевившая друзей России и повергнувшая в уныние ее врагов, не дала никакого результата? Почему она окончилась поспешным отступлением и почти полным уходом с завоеванной территории? Почему разбитый при Грос-Егерсдорфе Левальд смог в конце концов оказаться чуть ли не победителем?

После своего успеха Апраксин не преследовал неприятеля, хотя было всего десять часов утра, а корпус Сибильского так и не побывал в бою. Главнокомандующий мог объяснить это очень большим риском наступления по болотистой и лесной местности. Он отправил Левальду любезное письмо, в котором заверял, что все прусские пленники могут рассчитывать на хорошее обращение, и, кроме того, предлагал обменять их на захваченных русских. Левальд тем временем перешел Прегель и занял весьма сильную позицию у Вилькенсдорфа. Болотов удивлялся всему этому:

«...увеселяли мы уже себя предварительною надеждою, что скоро и весьма скоро увидим мы уже и славный их столичный город Кёнигсберг и вступим в места, наполненные изобилием во всем; и как все нетерпеливо желали, чтоб скорее сие совершилось, то не успел настать третий день после баталии, и мы в оный поутру слышали биемую зорю, а не генеральный марш, то все начинали уже гораздо поговаривать: „Для чего мы тут стоим и мешкаем так долго?“»^[74].

2 сентября Апраксин выслал большую разведку. Надо было или атаковать пруссаков, или обойти их с правого фланга. Однако он не решился на это, ограничившись только занятием позиции по Алле, от Алленбурга до сожженного Бюргерсдорфа. Не пытались захватить даже Велау, господствовавший над слиянием Алле и Прегеля, где находились магазины Левальда. На другой берег Алле был послан Краснощеков, а казаки Серебрякова доходили до Фридланда и блокировали Велау. Апраксин понимал, что нельзя идти на Кёнигсберг, не разбив пруссаков еще раз, но он считал это невозможным — 30 августа полки потеряли слишком много людей и оставалось рассчитывать лишь на быстрые подкрепления, столь необходимые для войск, обескровленных огнем, железом и болезнями.

8 октября Левальд отошел от Вилькенсдорфа к Велау и Тапиау, словно освобождая путь для отступления русской армии, а Апраксин принял решение начать отход к Тильзиту и линии Немана. На созванном по этому поводу военном совете рассматривались два плана: один, *рискованный*, заключался в том, чтобы атаковать Левальда; другой, *строго расчетливый*, предусматривал отступление. Совет почти единодушно высказался за последнее, полагая возможным в таком случае возобновить сообщение с Россией, переформировать армию, подготовиться к новому наступлению и, в частности, захватить порт Лабиау на Куриш-Гафе. В донесении от 14 сентября Апраксин так объясняет свое решение:

«Не я ретировался, но его (неприятеля), из крепкого места выжив, оное Вашему Величеству в подданство подвергнул; и так со всякою честью и славою к Тильзиту поворотил для того, чтобы утомленное толикими маршами войско в голодной земле какому-либо несчастью не подвергнуть. Я весьма удостоверен, что неприятель не может хвалиться, что он своими военными хитростями

победоносное оружие принудить мог свой поворот к Тильзиту <...> учинить. <...> Равным образом и высокие союзники нарекать не могут, когда колинскую над прусской армией победу вспомнят...»^[75]

Он напомнил, что ни Фридрих II после победы при Лобозице, ни австрийцы после Колинского сражения не преследовали неприятеля.

9 сентября, направив казаков Демолина, Краснощекова и Серебрякова демонстрациями сдерживать пруссаков на линии Алле, Апраксин отдал приказ выходить из Алленбурга на Инстербург. Первые три дня армия шла с запада на восток, огибая большой Астравишкенский лес, после чего повернула прямо на север.

Отступление оказалось очень тяжким: удушающая жара и густая пыль в воздухе от песчаной почвы внезапно сменялись изнурительными проливными дождями. Вдоль дороги валялось множество лошадиных трупов. Апраксин приказал сжечь большую часть повозок, чтобы было чем тащить артиллерию. Уже не хватало продовольствия и фуража. Среди людей начались болезни, в том числе и заразные: тиф, оспа, цинга, дизентерия.

Окруженный казачьей завесой, Левальд в течение нескольких дней ничего не знал про уход Апраксина из Алленбурга. Известившись об этом, он спешно развернулся во фланг неприятелю и стал тревожить его кавалерией. 19 сентября генерал Рюш и принц Голштинский атаковали русских, подбирая отставших и захватывая пленных. Апраксину пришлось спешно очистить Гумбиннен и сжечь там свои магазины. Одновременно малую войну против захватчиков возобновили и крестьяне. Но если русские и совершали тогда какие-то эксцессы, то это было оправдано как репрессии за нападения обывателей.

По мере приближения к Тильзиту дороги становились все хуже и хуже. Снова пришлось пожертвовать частью повозок, но их оставалось еще столько, что переправа через Инстер заняла целых четыре дня, с 16-го по 19-е. Авангард Левальда, преследовавший русских почти по пятам, вступил 19-го в Инстербург, и жители смогли наконец отречься от своей присяги царице.

Генерал Рюш напал на конвои и захватил много скота и муки. Теперь Апраксин уже не считал необходимым щадить чужую страну. Превращая ее в пустыню, он, по крайней мере, задерживал врага. Не прошло и двадцати дней после победы, а его армия превратилась в армию преследуемую. Малаховский, Рюш и герцог Голштинский вели на ее флангах такую же войну, как и казаки 1812 года против Великой Армии Наполеона. Апраксин хотел дать своим войскам хотя бы короткий отдых у Зесслакена, но в тот же день вынужден был уйти при приближении Левальда, который теперь уже не отрывался от него. Оба противника почти одновременно подошли к окрестностям Тильзита. 23 сентября Апраксин совершил торжественный въезд в город, встреченный всем магистратом при звоне колоколов и пушечных залпах. Надобно было внушить населению должное почтение.

Но Апраксина снедало внутреннее беспокойство. Ведь именно Тильзит он назначил крайней точкой своего «маневра», да и Конференции обещал задержаться лишь для приготовления к новому наступлению. А теперь, чтобы только закрепиться здесь, надо было давать новое сражение. На следующий день принц Голштинский и Левальд заняли самые близкие к Тильзиту деревни. В небольшом соседнем городке Рагнит жители вместе с гусарами Малаховского прогнали русский гарнизон.

Царская армия оказалась в тяжелом положении — число одних только больных достигало 9 тыс. Солдаты были деморализованы: развал интендантства породил повальное мародерство и грабежи. Вспомним, что в такой же стране и при таких же условиях Великая Армия 1812 года начала разлагаться еще до вступления в Россию. Мародерство ожесточало

обывателей, а их месть влекла за собой еще более жестокие репрессии.

Город Рагнит, отданный казакам и волжским варварам, был разграблен и сожжен. Из его жителей не менее двадцати поплатились своей жизнью. Таким образом, Тильзит надо было защищать среди враждебной местности, где уже начинался голод. Не представлялось возможным подвезти что-нибудь и по Неману. Столь же неблагоприятной оказалась тактическая обстановка: в случае сражения тыл опирался бы на реку, а фланги на враждебные города — Тильзит и Рагнит. Пылкий кавалерист генерал Демолин заявил, что вся местность перед Тильзитом вообще непригодна для действий конницы и артиллерии — топкая, болотистая и заросшая кустарником, где все преимущества будут на стороне местных обывателей. 24 сентября военный совет решил удерживать Тильзит как можно дольше до завершения переправы через Неман и, пользуясь передышкой, отправить всех ненужных лошадей в Курляндию, а две трети нерегулярных войск отослать обратно в Россию, оставив только 4 тыс. донцов. Остальные никуда не годились, поелику, лишь озлобляя обывателей, лишали не только их, но и саму армию всякого пропитания.

Переправить армию обратно через Неман также было делом нелегким. Никто не мог предвидеть заранее все те обстоятельства, из-за которых ее положение стало столь критическим: смелое наступление Левальда после поражения; дожди, задерживавшие и изматывавшие войска; моральное и санитарное их состояние; наконец, отпор со стороны населения. А пока на укреплениях Тильзита производились ремонтные работы и там устанавливали пушки. Одновременно строили два дополнительных моста через Неман. 24 сентября по свайному мосту прошла кавалерия, 25-го началась переправа пехоты, и еще через день были готовы оба новых моста. 27-го с утра до ночи армия еще продолжала переходить на другой берег, и наконец 28-го арьергард оставил Тильзит и Рагнит, предварительно уничтожив весь провиант и все воинские припасы, которые не удалось взять с собой. Для устрашения жителей на крыши домов были навалены груды соломы, но их все-таки не запалили, хотя мосты сожгли. Все операции поддерживались огнем артиллерии, на который пруссаки не замедлили ответить. 29-го Левальд занял Тильзит, а Малаховский уже выслал разведку вслед русской армии. Выстрелы с бастионов оказались последними за всю кампанию 1757 г.

Было очевидно, что дело не ограничится отступлением за Неман — придется уйти даже за границу Пруссии, отказаться от завоеванных территорий и потерять все плоды Грос-Егерсдорфской победы. Побежденные получили полный и безоговорочный реванш. После 9 октября положение армии еще более ухудшилось: надо было везти 15 тыс. больных и раненых; в обозе почти совсем не оставалось лошадей для перевозки клади; по пути приходилось бросать множество экипажей и повозок. Из арьергарда все время доносились выстрелы — прусская кавалерия тревожила отступавших, не ввязываясь в настоящий бой, но неотступно сопровождала неприятельскую армию. Апраксин с основными силами шел на Мемель, а еще одна колонна следовала восточнее, более коротким путем, чтобы скорее выйти из прусских владений. 16 октября Апраксин достиг Мемеля.

Он решил сохранить, по крайней мере, этот первый и последний трофей столь успешно начавшейся кампании, где пока еще развевались царские знамена. Фельдмаршал оставил там гарнизон в 10–12 тыс. чел. под началом Фермора, а с остальными силами прошел через Самогитию^[76] и остановился на зимних квартирах в Курляндии.

Но если в Петербурге ликовали после победы 30 августа, то теперь были поражены тем, что Апраксин вместо продолжения наступательных действий намеревался идти назад. Во весь голос возопили посланники Франции, Австрии и Саксонии. Граф Эстергази все еще радовался донесениям Сент-Андре, австрийского военного агента при русской армии, однако

и сама армия, и ее командующий получили весьма суровую оценку одного прикомандированного к ней австрийского офицера:

«Ежели принять во внимание, сколь мало порядка в сей армии, то и не следует удивляться всем несчастьям и бедам, в оной происходящим <...>.

Когда фельдмаршал Апраксин встретился с толикими препонами продвижению его армии, каковое сходствует с переселением некоего варварского народа, принужден он был, прежде чем вступить в Пруссию, отправить обратно избыток повозок и лошадей, как советовал ему генерал де Сент-Андре, а также избавиться от большей части своих татар, каковые пригодны лишь на то, чтобы опустошать занятую местность. Надо было что-то делать с множеством повозок, которыми сообща владели солдаты.

При известии о Кошеницкой баталии в Богемии^[77] имевший вполне определенные инструкции фельдмаршал Апраксин решился вступить в Пруссию и совершил сие, не приняв даже малейших мер предосторожности. Он счел вполне достаточным выслать вперед казаков и калмыков, которые подвергали все вокруг грабежу и разорению, так что для шедшей за ними армии уже ничего не оставалось. Сей генерал дал обитателям Пруссии накрепчайшие заверения в защите и восстановлении порядка и дисциплины, и жители сей Провинции поспешали со всех сторон для принятия присяги, безропотно доставляя все, что от них требовали. Но едва утвердились они в своей доверчивости, как воспоследовали всяческие обиды, поджоги домов, убийства, насилия, взламывание церквей и святотатства, вплоть до извлечения из земли мертвых тел. От сих неслыханных ужасов сия столь процветающая и изобильная страна, где любая другая армия могла бы безбедно существовать в течение долгого времени, превратилась в истинную пустыню. Все сии жестокости принудили несчастных обывателей бросить свои земли и бежать от русских варваров в надежде найти у прусской армии убежище и оружие для мщения. <...>

Все неудачи сей кампании объясняются: 1. неспособностью командующего, который позволил руководить собой злонамеренным людям; 2. его амбициями, алчностью и нежеланием действовать. <...>

Хотя согласно всеобщему мнению русский солдат хорошо переносит всяческие тяготы, однако опыт показывает, что эти с виду столь крепкие люди вследствие дурной пищи менее выносливы, нежели наши. Сие подтверждается еще и тем, что в течение трех лет Россия выставила более 150 тыс. рекрутов, но при этом ее пехота уменьшилась к концу кампании с 50 тыс. до 20. За одно лето число больных достигло 10 тыс., равно как столько же насчитывалось и умерших. Из всего сказанного следует, что нельзя рассчитывать на серьезную помощь со стороны сей державы, каковая, обладая великими природными богатствами, столь плохо исполняет свои обязательства и не в состоянии при нынешних порядках что-либо противопоставить хорошо дисциплинированным войскам.

При первом знакомстве с русской армией более всего поразил меня ее авангард, состоявший из двух полков кавалерии и пяти пехотных: едва тащившиеся малорослые лошади и люди самой дурной наружности. Пехота, насчитывающая едва 20 тыс. чел., находится в крайне жалком состоянии. Через два лье после авангарда я встретил колонны повозок, но ничто не указывало на то, что за ними идет армия. По дороге едва брели больные, и многие почти замертво падали по

обеим ее сторонам. Тут же замешалась и целая толпа мародеров вкупе с погонщиками, сопровождавшими по трое, а то и более, каждую корову и каждого быка. Саму армию я нашел лишь в двух лье, но не увидел не только двух линий, но даже и одной в должном порядке. Мне сказали, что у русских не принято становиться лагерем на две линии, а предпочитается угол, полумесяц или каре, так чтобы штаб и обоз всегда были в центре. <...>

Повседневная армейская служба такова же, как и все прочее. Фельдмаршал Апраксин никогда не дает себе труда разведывать неприятельские позиции, и его генералы неукоснительно следуют сему примеру. Вследствие сего получались одни только ложные известия о местонахождении и маршах пруссаков. Аванпосты и передовые разъезды дело здесь неслыханное. Все передоверено казакам и калмыкам, кои обычно ничем, кроме грабежа, не занимаются. Фельдмаршал никогда не прибегает к услугам шпионов, зато г-н Левальд держал при самом фельдмаршале гоф-фурьера^[78], который почти всякий день ходил в прусский лагерь, дабы сообщать, что происходит и о чем говорят не только в русских полках, но и у самого главнокомандующего. Сему несчастному, когда он был разоблачен, удалось спастись...»^[79]

Однако посланники Франции и Австрии, раздраженные подобными донесениями, были недовольны больше Бестужевым, нежели самим Апраксиным, и громко обвиняли великого канцлера в измене, а фельдмаршала подозревали в сговоре с ним и с молодым двором.

Именно тогда Бестужев тесно сблизился с Екатериной. Видя у царицы ухудшение болезни и понимая все ничтожество великого князя, он придумал такой план, который принес бы великой княгине императорскую корону или в качестве соправительницы мужа, или как регентше при сыне. В своих мемуарах Екатерина признается, что великий канцлер сообщил ей о своем замысле, но она не придавала никакого значения «подобному вздору» и сожгла это компрометирующее письмо. Но все-таки великая княгиня была готова к любому развитию событий и даже рискнула сказать в присутствии всех иностранных посланников и самого Лопиталья: «Никакая женщина не сравнится со мной по смелости; в этом я дохожу до безумия»^[80]. Однако, сколь бы ни осмелели Екатерина и Бестужев, какие бы рискованные планы они ни вынашивали, для них все-таки не было никакой пользы в том, чтобы кампания 1757 г. окончилась унижительной катастрофой. Если они рассчитывали на армию и если, как утверждал Вильямс, «Апраксин был всецело предан великой княгине», у них не могло быть ни малейшего интереса, чтобы эта армия была разбита, а ее главнокомандующий совершенно опозорился! Напротив, Бестужев не уставал побуждать Апраксина, дабы тот прекратил это обескураживающее отступление. Екатерина также писала к нему в том же смысле, и если эти письма вменялись ей потом как государственное преступление, то вовсе не потому, что она давала фельдмаршалу дурные советы, а из-за недопустимости для нее, всего лишь великой княгини, переписываться с командующим армией.

Таким образом, никакие политические соображения не повлияли на отступление Апраксина, оно объяснялось чисто военной необходимостью, и г-н Масловский, используя архивные документы, с очевидностью доказал это.

При первых известиях об отступлении Конференция, осаждаемая протестами посланников, даже не знала, что и отвечать.

24 сентября им было сказано, что все объясняется лишь нехваткой фуража, отчего армии и пришлось сделать несколько маршей в обратном направлении. Апраксину сразу же послали приказание возобновить наступление и хотя бы попытаться взять Лабиау. Но 25 сентября

Апраксин сообщал об отступлении в Курляндию, а 3 октября заявил, что не имеет возможностей к возобновлению военных действий. 5-го объявлен новый указ царицы: Коллегии иностранных дел предписывалось сообщить союзным дворам о состоянии дел, при котором «справедливо мог наш фельдмаршал рассудить, что не только для нас, но и для самих союзников наших несравненно полезнее сохранить к будущей кампании изрядную армию, нежели напрасно подвергать оную таким опасностям, которые ни храбростью, ни мужеством, ни человеческими силами отвращены быть не могут»^[81]. Приходилось обещать наступление в скором будущем, хотя армия на самом деле была неспособна на это, что и подтвердил военный совет 9 октября. Тем не менее в главную квартиру пришло письмо, подписанное самой царицей, где фельдмаршалу Апраксину повелевалось: 1. удерживать Мемель; 2. наступать на Лабиау; 3. угрожать Кёнигсбергу; 4. разгромить Левальда, если он перейдет через Неман. В ночь на 17 октября собрался военный совет, где было решено, что если и можно удерживать Мемель и даже побить Левальда, коль скоро он отважится на наступление, но снова занять Восточную Пруссию и угрожать Лабиау или Кёнигсбергу нет никакой возможности. Присутствовавшие на этом совете генералы были не только людьми военными, но еще и придворными. Они проявили глубокое чувство долга и даже в некотором смысле смелость, противясь приказу, подписанному Елизаветой. Решение оказалось единодушным, и Фермор, который вскоре сменил Апраксина, выразил то же мнение, что и он. Совет посчитал невозможным выполнить такой приказ «без подвержения к истреблению всех людей и лошадей голодом, а потому их совершенному и безоборонному от неприятеля всей армии разбитию; прежде получения точного высочайшего повеления о невзирании ни на какую видимую всей армии бесплодную погибель в то не вдаваться»^[82]. Однако царица не могла отдать такого официального приказания. Тем не менее нужно было хоть как-то удовлетворить посланников, а для этого требовался козел отпущения или искупительная жертва. Ею и оказался Апраксин. 28 октября он был отрешен от должности и предан суду. Его заменил Фермор. Назначенный судить Апраксина военный совет весьма затруднился признать фельдмаршала виновным, поскольку в этом случае пришлось бы считать его сообщниками всех генералов действующей армии. Опалу разделил с ним только начальник штаба Веймарн.

Отстранение Апраксина вызвало в армии горячие сожаления. Хоть она и жестоко пострадала под его командою, однако чтит в нем того, кто привел ее к первой победе над немцами. Секретарь фельдмаршала Веселицкий писал 25 ноября Бестужеву:

«Отбытие Его Превосходительства генерала-фельдмаршала и кавалера Степана Федоровича Апраксина в Санкт-Петербург между солдатами к разным гаданиям повод подало. Сожаление их потому весьма велико; они себе за крайнее несчастье поставляют, что такого главного командира, которого весьма любят и почитают, лишились; они друг к другу сими экспрессиями прямо отзываются: „В кои-то веки Бог нас было помиловал, одарив благочестивым фельдмаршалом, да за наши грехи опять его от нас взял. А от нечестивых немцев какого добра ждать? Ведь одноверцы: ворон ворону глаза не выклюет; где им так радеть и стоять, как наши природные! Ведь и в баталии наши же православные, кои с правдою и с верою всемилодивейшей нашей матушке Елизавете Петровне служат, убиты“, и прочая сим подобная. Одним словом, внутреннее их о том неудовольствие, что при армии первоначальные особы иноземцы, весьма легко приметить можно. Мне, яко наипоследнейшему рабу Ее Императорского Величества, такие общие их разговоры, в рассуждении нынешних конъюнктур, весьма важными показавшись и понимая, сколько вреда и опасности от недоверия к главным командирам родиться может, а

напротив того, от любви и доверенности какую пользу и благополучие ожидать надобно, по ревности и усердию моему в предостережение Ее Императорского Величества интересов, за необходимо нужное почел, как слух до меня дошел, Вашему Сиятельству всенижайше о том предоставить и поправление того глубокому Вашему проницанию предать»^[83].

Однако начатое против Апраксина следствие внезапно приняло совсем неожиданный оборот. В его бумагах были найдены письма Бестужева и даже три записки великой княгини.

Великому князю, ненавидевшему свою жену и затаившему обиду на канцлера, пришла в голову весьма странная идея пожаловаться графу Эстергази, который посоветовал ему довериться царице. Петр последовал этому совету и покаялся во всем, что говорил и делал прежде, оправдывая себя дурными советами Бестужева и Екатерины. Елизавета была тронута и простила племянника, а свой гнев перенесла на его советчика. Коалиция вице-канцлера Воронцова, секретаря Волкова и Шуваловых, интриговавшая против канцлера, восторжествовала. 25 февраля, прямо на заседании Конференции, Бестужев был арестован. Однако он успел уничтожить свои бумаги и предупредить великую княгиню, что для нее нет ничего опасного. Тем не менее с одной стороны ей угрожал гнев тетушки, с другой — вражда мужа. Понятовскому удалось передать Екатерине письмо, в котором он предупреждал, что ее хотят отправить обратно в Германию. Почти сразу же арестовали самых близких ее конфиденентов: Елагина, Ададунова и ювелира Бернарди. Был выслан голштинский посланник Штамбке. Специальная комиссия в составе Никиты Трубецкого, Бутурлина, Александра Шувалова и секретаря Волкова начала следствие по делу Бестужева. Ему был предложен ряд вопросов: для чего он искал милости у великой княгини и скрыл ее переписку с Апраксиным? какова была цель его встреч и разговоров со Штамбке и Понятовским? «Его Высочеству Великому Князю говорил ты, что ежели Его Высочество не перестанет таков быть, каков он есть, то ты другие меры против него возьмешь; имеешь явственно изъяснить, какие ты хотел в Великом Князе перемены и какие другие меры принять думал»^[84]. Затем велено было объяснить, «каким образом Апраксин вошел в такой кредит у Великой Княгини и кто его в оный ввел?»^[85] К счастью для обвиняемых, они успели заранее уничтожить все важные документы. Комиссия о многом догадывалась, но не могла ничего доказать. Кроме того, она не решалась слишком углублять следствие, опасаясь, что виновными окажутся слишком многие высокопоставленные особы.

Было признано, что Бестужев:

«1. Клеветал Ее Императорскому Величеству на Их Высочеств, а в то же время старался преогорчить и Их Высочеств против Ее Императорского Величества. 2. Для прихотей своих не только не исполнял именные Ее Императорского Величества указы, но еще потаенными происками противился исполнению оных. 3. Государственный преступник он потому, что знал и видел, что Апраксин не имеет охоты из Риги выступить и против неприятеля идти ... вместо должного о том донесения вздумал, что может то лучше исправить собственно собою и влечением в непозволенную переписку такой персоны, которой в делах никакого участия иметь не надлежало <...>. 4. Будучи в аресте, открыл письменно такие тайны, о которых ему и говорить под смертною казнию запрещено было»^[86].

Комиссия приговорила его к смерти, но предала дело монаршему милосердию. Бестужев содержался под арестом до апреля 1759 г., после чего был сослан в одну из своих деревень.

Что касается Апраксина, то он умер во время следствия.

Саму великую княгиню не вызывали в Комиссию и не отослали обратно в Германию, но подвергли своего рода домашнему аресту и опале, продлившейся до 1759 г. Лишенная своих высланных или арестованных друзей, Понятовского и голштинского посланника, чьими советами она пользовалась, находясь под строжайшим полицейским надзором, томясь в печалях и слезах, Екатерина искала все-таки какие-то средства, чтобы оправдаться. Она привлекала на свою сторону духовника Елизаветы и писала императрице самые смиренные письма^[87], унижаясь еще более, чем сама признает в своих мемуарах. Ей удалось добиться двух аудиенций и наполовину оправдаться. У нее вовсе не было той «неукротимой души», которая «ни перед чем не сгибается», как охарактеризовал ее один из новейших историков. После падения Бестужева и триумфа Воронцова, когда молодой двор оказался в опале и вышел из борьбы до весны 1759 г., союзным дворам уже представлялось, что партия выиграна, по крайней мере в Зимнем дворце. Кардинал де Берни писал 24 марта 1758 г.: «События в России могут спасти наше отечество», однако Лопиталь был не столь оптимистичен, хотя довольно быстро утешился после печального исхода кампании Апраксина: «Я не уверен, что следует полагать сии неудавшиеся действия неблагоприятными для мира, поелику русское правительство уже не может заявлять какие-либо затруднительные для сего претензии». Он также не считал, что опала Апраксина и замена его Фермором могут помочь русской армии: «У нее нет вождя, а ныне назначенный ничуть не лучше генерала Апраксина. По отсутствию дисциплины, трусости и грабительству сии войска не только не могут предпринять что-либо в нынешнем году, но будет невозможно сформировать новую армию и к будущему лету».

Лопиталь и австрийцы заблуждались. В недисциплинированности и грабеже можно было обвинять только нерегулярные войска, но даже и им никак нельзя приписывать трусость. Плохая осведомленность французского посланника подтверждается тем, что в кампанию 1758 г. русская армия явилась в еще большем числе и еще более грозная, чем прежде.

Подобная строгость по отношению к русским совершенно несправедлива. Кампания 1757 г. завершилась для австрийцев, сначала побежденных у Праги и победивших при Колине, разгромом в Лейтенском сражении^[34]. Легкие победы Ришельё в Ганновере, при Гастенбеке и Клостер-Зевене^[35], окончились росбахской катастрофой^[36]. Русские дебютировали блестящей победой и кончили трудным отступлением. Никто из союзников не имел права бросить камень друг в друга. По общему результату действий русская армия вполне выдержала сравнение со всеми своими союзниками.

Глава шестая. Завоевание восточной Пруссии



Когда возникла необходимость заменить Апраксина, Фермор был избран отнюдь не по старшинству чинов, поскольку ему предшествовали Бутурлин, оба Шуваловы, Юрий Ливен и Петр Салтыков. Среди них он занимал лишь седьмое место. Но, судя по всему, Шуваловы отказались сами, а Салтыков и Бутурлин находились слишком далеко: первый занимался формированием Обсервационного корпуса, второй комплектовал третьи батальоны для полков действующей армии. Зато Фермор был тут же, в главной квартире. Правда, он защищал Апраксина против обвинений в поспешном отступлении по политическим соображениям, и могло показаться странным, что именно его назначили преемником главнокомандующего. Однако не подлежало никакому сомнению, что никто лучше, чем он, не знал положения дел в армии. К тому же Фермор не только взял Мемель и Тильзит, но еще и отличился при Грос-Егерсдорфе.

Жаль, конечно, что это был немец и убежденный протестант, один из тех «безбожных бусурман», по поводу которых так сокрушался Веселицкий, вспоминая при этом русскую поговорку: «Ворон ворону глаза не выклюет». Однако никто другой, не считая Салтыкова, не имел в войне против Фридриха II столь блестящих успехов. При русском дворе не сомневались в его преданности; все признавали его способности; наконец, и это ничуть не мешало всему остальному, он считался не только хорошим генералом, но и выдающимся инженером. К тому же в окружении Елизаветы у него были влиятельные покровители. Он заранее предвидел падение Бестужева и вел переписку не с ним, а с фаворитом Иваном Шуваловым и вице-канцлером Воронцовым (многие из этих писем опубликованы в «Архиве князя Воронцова»). Фермора не могли заподозрить и в каких-либо предосудительных связях с молодым двором — он скорее принадлежал к партии Шуваловых и Воронцовых, то есть к партии самой императрицы. Поэтому посланники Франции, Австрии и Саксонии, не колеблясь, поддерживали его, хотя Лопиталь и не считал, что он будет лучше своего предшественника.

Историки нашего времени по-разному оценивают Фермора. Газенкамп не нахвалится его гуманностью и обходительностью, особенно в обращении с населением завоеванной Восточной Пруссии. Г-н Масловский, напротив, именно это строго осуждает. И если Фермор симпатизировал немцам и всему немецкому, он объясняет это чертами, «антипатичными русскому характеру», и упрекает его в непонимании русского солдата. Хотя в некоторых случаях и приводятся доказательства, но слишком часто подобные оценки похожи на предубеждение и чрезмерную пристрастность.

Поскольку генерал Веймарн был замешан в опале Апраксина, Фермор лишился превосходного начальника штаба, участвовавшего в предыдущей кампании. Весь труд, связанный с реорганизацией армии, лег почти полностью на него одного. Заметим также, что командир второго корпуса, Броун, постоянно хотел показать свою независимость от нового главнокомандующего, так же, как и Петр Салтыков, который вдали от главной армии формировал Обсервационный корпус. Другие, «православные» генералы лишь с трудом подчинялись Фермору. Наконец, Конференция держала его на еще более коротком поводке, чем Апраксина, и видела в нем скорее исполнителя своих решений, нежели самостоятельного главнокомандующего. И Конференция, и венский гофкригсрат продолжали самым губительным образом влиять на действия Фермора и Дауна. Между этими двумя

поднадзорными генералами прусский король, бывший сам себе и Конференцией, и гофкригсратом, сохранял монополию на принимаемые в нужный момент решения, быстроту передвижений и молниеносные удары.

Когда Фермор принял командование армией, она была рассредоточена на тех зимних квартирах, куда привел ее Апраксин, то есть в Семигалии и Курляндии. Всего оставалось не более 72 тыс. чел., и чтобы довести все полки до полного штата, надо было еще 8640 лошадей и 21 915 солдат. Что касается людей, то столь громадная недостача не может быть объяснена ни потерями при Грос-Егерсдорфе, ни дезертирством, которое составило 852 чел., это было вызвано прежде всего теми лишениями и болезнями, которые опустошили армию во время отступления. Кроме того, часть солдат находилась в госпиталях.

Теперь была значительно сокращена численность нерегулярных войск — и Апраксин, и Фермор видели, какое разорение и опасное ожесточение они производили в занятой местности и насколько их служба «о дву конь» усложняла фуражирование и загромождала колонны огромной массой лошадей. Обрато были отправлены слободские казаки и большая часть *разнонародных команд*. Остались только донцы, чугуевские казаки, 500 волжских калмыков и гусарские полки.

Фермор предложил Конференции предпринять некоторые реформы: ввести постоянное разделение на корпуса и бригады; укомплектовать два батальона и две гренадерские роты во всех пехотных полках до полного штата; ограничить откомандирование строевых офицеров от полков; улучшить распределение и назначение повозок, чтобы не отягощать каждый полк и почти каждую роту; сократить ношу на солдатских плечах; избавиться от излишних неудобств в форме обмундирования; установить, чтобы казаки были не «о дву конь», и ограничить число вьючных и заводных^[88] лошадей в нерегулярных войсках двумя на десяток.

Конференция одобрила эти реформы, но вследствие недостатка времени осуществить удалось лишь немногие. Уменьшили ношу солдата; отменили косы и пудрение волос; войска были снабжены теплой обувью и одеждой для зимней кампании. Тем не менее казаки продолжали служить «о дву конь», а чудовищные обозы все так же являли собой зрелище вопиющего хаоса.

Но самое неотложное заключалось в поставке рекрутов и заполнении офицерских вакансий. Было решено произвести набор 43 тыс. чел., однако собрать их раньше конца года не представлялось никакой возможности. Пришлось брать людей из линейных полков внутри империи и даже из гарнизонов, но, несмотря на все эти меры, так и не удалось укомплектовать полки находившейся в Пруссии армии до штата в 1552 чел. каждый. Что касается офицеров, то и здесь положение было не легче: главнокомандующему предоставили выпуск кадетского корпуса, дали офицерские чины гвардейским унтер-офицерам из дворян, призвали под знамена дворянских недорослей, но вместо потребных 500 чел. набрали едва половину. Военную Коллегию затрудняло также и то, что солдаты и офицеры нужны были еще и для Обсервационного корпуса Шувалова, и для формирования нового сорокатысячного корпуса Бутурлина, который собирались послать на помощь австрийцам в Силезию. Впрочем, этот корпус существовал лишь на бумаге, а Обсервационный корпус так и не избавился от своих первородных пороков плохого подбора людей и лошадей и полного отсутствия согласованности, отчего возникали постоянные задержки и неудачи при его взаимодействии с главной армией.

Армия Фермора, сохранявшая из всего завоеванного в 1757 г. только город и округ Мемель, была прикрыта со стороны Пруссии рекой Мемель и кавалерийским кордоном по берегу Немана.

Левальд после успеха своей осенней кампании не пошел вслед за русскими далее Немана. К тому же Фридрих II был совсем не тем человеком, который в разгар столь страшного для него кризиса оставил бы без дела хоть один корпус своей армии. 7 октября, сразу же после почти полного освобождения Восточной Пруссии, Левальд получил приказ идти в Прусскую Померанию и выгнать оттуда шведов. Хотя фельдмаршал и оставил своим подопечным некоторую надежду на скорое возвращение войск, но все его действия свидетельствовали о том, что он уже не вернется: из крепостей были выпущены государственные преступники, все общественные кассы, за исключением университета и некоторых благотворительных учреждений, были опорожнены. Левальд забрал с собой все части, даже гарнизонные полки, всего 30 тыс. чел., а также рекрутов по 60–70 на полк. Кроме нескольких непригодных, он увез крепостные пушки, а также все, что было в арсеналах и магазинах. Для защиты провинции было оставлено четыре роты гарнизонного полка (две в Пиллау и две в Кёнигсберге) и еще около Гумбиннена отряд из 60–70 гусар. Конечно, сюда можно еще причислить: гражданскую гвардию и ландмилицию; две пехотные роты в Руссе; несколько эскадронов ландгусар, набранных из лесников, егерей и браконьеров. Лесничий Экерт, командовавший этой импровизированной кавалерией, отличился тем, что с октября по январь вел на другом берегу Немана партизанскую войну с нерегулярными частями русских. Газенкамп уверяет, будто он наводил страх на донцов и калмыков.

Но все-таки Восточная Пруссия была брошена на произвол судьбы. Фридрих II считал, что даже армия Левальда не сможет остановить новое вторжение. Он еще мог надеяться, что его петербургским благожелателям, возможно, и удастся предотвратить это, однако в любом случае 30 тыс. чел. Левальда были слишком необходимы ему на главном театре военных действий, чтобы оставлять их на бесполезное уничтожение. Судьба и этой провинции, и всего королевства должна была решаться на полях сражений в Богемии, Саксонии или Силезии. Он спасет или окончательно потеряет ее, одержав победу или проиграв битву между Эльбой и Одером. И наконец, Фридрих уже достаточно много сделал для поддержания чести той страны, королевский титул которой он носил, ведь с первого раза он не отдал ее своим северным соседям без боя и даже сумел прогнать их обратно.

Однако обитатели самой провинции, вполне естественно, смотрели на все это совсем иначе. С беспокойством наблюдали они за уходом полков Левальда, почти целиком составленных из их же земляков, и ужасались при одной только мысли о нависшей над их головами восьмидесятитысячной армии русских, казаков и татар. Совсем еще недавняя оккупация и зверства нерегулярных отрядов, трагедия Рагнита и пепелища множества селений никак не могли вселить в них бодрость духа.

Тем временем отступление Левальда происходило при вполне благоприятных обстоятельствах. В Кёнигсберг пришло известие о том, что 5 ноября Фридрих II разгромил армию маршала Субиза при Росбахе. До сих пор он одерживал победы только над саксонцами и австрийцами. Победив армию, унаследованную Людовиком XV от великого короля^{37}, Фридрих добился громадного по своей важности успеха. Росбах имел совсем другое моральное значение, чем Мольвиц, Пирна или Лобозиц^{38}. Заслуженная во внутригерманских войнах слава прусского короля приобрела теперь всеевропейское звучание. Какая военная мощь могла отныне соперничать с его армией и кого теперь не сможет одолеть он после победы над французами? Именно с этого дня Фридрих II предстал перед всей Германией не как герой почти гражданских войн, а в роли защитника всей германской нации от иноземцев. Он явил себя новым Арминием^{39}, истинным богом войны. Воинская слава Фридриха создала из переплетения княжеств и феодальных владений, связанных

средневековыми узами или сетью бюрократической системы, прусскую нацию, которая послужила основой немецкого народа. 25 ноября в покинутой Восточной Пруссии была торжественно отпразднована полученная победная весть. Кёнигсбергское германское общество устроило специальное заседание: его президент Флотвелл произнес речь о «Славе, коей музы венчают героев на полях сражений»; почетный член Лидерт рассуждал о «любви к человечеству на войне». Это, конечно, были аллюзии, относившиеся к тому самому герою, любимцу не только Марса, но и Аполлона, который не терял остроумия даже под вражеской картечью и посреди кровавой схватки оставался королем-философом и королем-филантропом. Через восемь дней было получено известие о новой великой победе, одержанной 5 декабря 1757 г. над австрийцами при Лиссе (Лейтене). Она была отпразднована в Кёнигсберге при залпах артиллерийского салюта большим парадом гражданской гвардии, состоявшей из 7 батальонов и 35 рот.

Однако Росбах и Лейтен были далеко, а русские совсем рядом, и король-победитель ничем не мог помочь своему королевскому городу, чтобы защитить его от неминуемой опасности. Разве Росбах и Лейтен могли помешать вторжению победителей при Грос-Егерсдорфе? Жители разрывались между патриотической гордостью и естественным страхом. Берлинское правительство уверяло, что нет никаких оснований опасаться наступления Фермора. Но постоянно, при каждом появлении казаков в междуречье Мемеля и Немана поднималась тревога. Богатые жители Кёнигсберга бежали в Данциг, а обитатели окрестностей — в Кёнигсберг. Участились набеги русской кавалерии, уже похожие на разведку. В декабре Рязанов выступил из Мемеля, эскадроны Броуна покинули Тельпи, а кавалерия Штофе льна наступала из Ворн. В авангарде по всем направлениям передвигались донцы Краснощекова.

Тогда же Фермор получил из Петербурга самые настоятельные инструкции о начале зимней кампании. Ему предписывалось занять всю Восточную Пруссию, не в пример его предшественнику, который захватил лишь самую незащищенную ее часть. Фермор рапортовал, что все приготовления закончены и, как только замерзнет Неман, начнется наступление. 17 декабря он послал в Конференцию свой план военных действий и получил высочайшее одобрение. Армия должна была двигаться двумя колоннами: одна из Мемеля, другая через Тильзит, направляясь к Кёнигсбергу, который в случае сопротивления надлежало подвергнуть бомбардировке с последующим штурмом. Фермор, несмотря на свою нелюбовь к нерегулярным частям, предоставил казакам свободу действий, ограничившись лишь тем, что заменил их начальников строевыми офицерами и, судя по всему, выбрал для этого немцев. Из-за холодов армия останавливалась на ночлег в селениях или лесах, чтобы люди имели возможность обогреться.

31 декабря выступил Румянцев, и 5 января он был в Попелянах, а 9-го в Таурогене, прославившемся впоследствии патриотическим пронунсиаментом^[89] Йорка фон Вартенбурга^[40]. Здесь он соединился с тысячью донцов Серебрякова, которые уже столкнулись неподалеку от Тильзита с ландгусарами лесничего Экерта. Вперед был послан гусарский полковник Зорич для рекогносцировки льда на Немане между Тильзитом и Рагнитом. Он взял заложников из местных «лучших людей» для получения сведений и обеспечения безопасности со стороны населения. По тому, как действовали русские генералы, было видно, что они ожидали сопротивления. Одновременно повсюду распространялось обращение царицы к жителям Восточной Пруссии:

«... с крайним видели Мы неудовольствием, что в противность наших указов тогда сия земля оставлена, когда фельдмаршал Левальд, будучи с его армиею

побежден, жители сами добровольно предались в Нашу протекцию; а еще с большим слышали Мы прискорбием, что при испражнении войсками Наших помянутых земель некоторые места выжжены и опустошены. Теперь войска Наши паки ввести в королевство Прусское побуждают Нас те же причины, о которых свет Мы уведомили, да при том и то, чтоб оказуемым благоволением и милостию ко всем тем жителям, кои добровольно себя в Нашу протекцию отдадут и при своих жилищах, прилежа токмо своему званию, оставаться будут, — удостоверить и самих потерпевших, что сделанное в минувшую кампанию разорение было совсем против Нашего желанья»^[90].

Таким образом, Елизавета еще раз осуждала поспешное отступление Апраксина и признавала, что оно сопровождалось прискорбными эксцессами. Уход фельдмаршала изображался как бы не имевшим места. Из этого следовало, что принесенная царице в 1757 г. присяга возобновлялась во всей своей силе. Те из жителей, кто не принес ее, должны были сделать это теперь. Фермор на всем пути до Немана неукоснительно требовал принятия присяги.

Тем временем Румянцев быстро продвигался вперед. Военное положение провинции было хорошо известно, и не ожидалось никакого сопротивления. 13 января он без единого выстрела занял Тильзит. «Магистрат, духовенство и знатнейшие оного жители вышли навстречу, себя и город препоручили в протекцию Ее Величества». Румянцев оставался в Тильзите четыре дня.

Правая колонна русской армии должна была идти дальше, чтобы достичь Немана. Бригада Рязанова 13 января находилась еще в Прекуле, 14-го он занял Русс, и головы обеих колонн вышли на одну линию.

Как только началось русское вторжение, все остававшиеся в провинции прусские войска поспешили отступить форсированным маршем на Нижнюю Вислу и к Мариенвердеру, чтобы соединиться с Левальдом. При выходе из городов вывозились все пушки, за исключением совершенно непригодных, очищались магазины и уничтожались запасы пороха.

Что касается мирного населения, то часть его предпочла уехать, а часть осталась и изъявила свою покорность. Крестьяне доставляли на русские аванпосты сено и овес. Ландмилиция словно по мановению волшебной палочки исчезла.

16 января Рязанов достиг Раутенберга, и там к нему подошли Фермор и Румянцев. Отряды кавалерии направлялись к наиболее важным пунктам: блестящий командир авангарда Штофельн 17-го занял Тапиау, а 18-го Лабиау, где советники Куверт и Рахов уведомили его, что получили от кёнигсбергского правительства приказ не оказывать никакого сопротивления императорской армии и хорошо принимать ее.

Очевидно, что если из Кёнигсберга приходили такие указания даже в незначительные поселения, то сам столичный город тоже не готовился к обороне. Но и в случае каких-то слабых поползновений подобного рода все равно быстрое продвижение неприятеля помешало бы осуществить их. Первый русский отряд перешел границу 5 января, а 20-го кавалерия Штофельна вместе с Румянцевым и Рязановым уже заняла ближайшие окрестности Кёнигсберга. Наступавшим колоннам приходилось преодолевать большие трудности — все дороги были занесены снегом, однако быстрота русских породила то, что г-н Масловский назвал «панической покорностью края». 14-го, когда обе роты Путкаммера ушли из города, в Кёнигсберге заседал Правительственный Совет, который не нашел для себя ничего лучшего, чем заняться проектом капитуляции и избранием трех уполномоченных для переговоров с неприятелем. Написали к королю и Левальду, чтобы оправдать себя очевидной

безвыходностью положения. Однако среди присутствовавших сразу возникли разногласия: уходить ли всем с завоеванной территории для уклонения от присяги царице или же подвергнуться таковому унижению и пытаться защищать на местах интересы провинции? Большинство министров более всего боялись недовольства короля даже такой вынужденной присягой. Трое из них и еще многие чиновники поспешно бежали в вольный польский город Данциг. Из правителей остались только слепой старец Лесвинг и президент финансовой палаты Марвиц, прикованный к постели подагрой.

20 января Фермор прибыл в Кеймен, находящийся в одном переходе от Кёнигсберга, и на следующий день принял троих уполномоченных, которых сопровождали многие чиновники из соседних мест. Делегаты заранее выехали навстречу главнокомандующему, никак не ожидая, что встретятся с ним так скоро. Предложенные ими условия капитуляции подходили скорее для неприступной крепости, а не беззащитному перед лицом врага Кёнигсбергу. Они просили, чтобы город, государственные учреждения, университет, церкви, богадельни и сиротские дома, а также корпорации ремесленников были защищены в своих привилегиях, вольностях и преимуществах; чтобы удерживалась свободная и безопасная внутренняя и иностранная коммерция; чтобы находящиеся на излечении в госпитале прусские офицеры продолжали получать свое жалованье; чтобы беспрепятственно действовали все верховые и тележные почты; чтобы сохранялось свободное отправление публичных богослужений; чтобы легкие войска (читай: нерегулярные) без абсолютной необходимости не ставились на построй внутри города ^[41].

В заключение оговаривалось, что победитель может брать только те товары и имущество, которые принадлежат прусскому государству, хотя после ухода войск и чиновников, увозивших все, что только возможно, это представляло собой лишь незначительную добычу.

Фермор принял явившихся делегатов с безупречной вежливостью. Немец по культуре и протестант по вере, он не мог не симпатизировать побежденным, их университету, их религии, всем их порядкам и вольностям. С другой стороны, и особенно в связи с совершившимися в предыдущую кампанию жестокостями, было весьма важно успокоить население каким-нибудь эффективным знаком доброжелательства, переменить общественное мнение Германии и Европы в пользу России. И Фермор согласился на все пункты этой необычной капитуляции. Газенкамп восхищается его уступчивостью по отношению к тем, над кем он уже занес свой меч. Г-н Масловский, напротив, негодует на подобную слабость и чуть ли не измену.

Но когда при петербургском дворе поняли эту столь щадящую для завоеванной провинции систему, увидев, что оттуда нельзя получить ни рекрутов, ни контрибуции, ни налогов больше тех, которые собирались при прусской власти, то там сначала удивились, а потом пришли в раздражение. Казалось непостижимым, что под сенью двуглавого орла провинция получала лучшие условия, чем под одноглавым гогенцоллернским, что она совершенно свободна от тех разорительных расходов, которых война требовала от податных сословий самой империи. Удивляло и столь мягкое обращение сравнительно с действиями Фридриха в Саксонии, раздавленной контрибуциями и реквизициями, где население претерпевало грабежи, разбои и убийства. Такое сравнение обернулось впоследствии против Фермора и сыграло немалую роль в его опале. И тем не менее Восточная Пруссия оставалась под благоприятной для нее властью.

21 января 1758 г. была подписана капитуляция, и на следующий день рано утром Штофельн со всей кавалерией Румянцева вышел из Кеймена. К одиннадцати часам он уже занял пригороды Кёнигсберга, а в четыре часа пополудни и сам Фермор въехал в город во

главе 4-го Гренадерского и Троицкого полков. Древняя королевская столица имела праздничный вид: звонили колокола, на башнях били барабаны и трубили трубы. Фермор прежде всего подъехал к замку, где Лесвинг, один из пяти министров, обратился к нему с речью и вручил ключи от города. Через два часа артиллерийская бригада Нотгельфера и часть дивизии Рязанова заняли город. На площадях были поставлены пушки. В письме к вице-канцлеру Воронцову Фермор сообщал, что разместил в городе три полка гусар, девять драгунских эскадронов, 2,5 тыс. казаков и четыре полка пехоты с артиллерией. Однако большая часть армии встала лагерем за стенами города, среди снегов. Многие жители поспешили пригласить к себе русских офицеров^[91].

В день своего триумфа в священном городе Гогенцоллернов Фермор отправил поручика Преображенского полка графа Брюса с донесением к царице и ключами от города.

И наконец, в тот же день он выслал отряды для занятия Пиллау, Фришгаузена и Фридрихсбурга, где нашли немалое число пушек. Армия была поставлена на зимние квартиры с таким расчетом, чтобы занять всю провинцию. Броун, задержавшийся со своим корпусом в Семигалии, получил приказ ускорить движение.

Фермор объявил, что чиновникам и прочим прусским подданным, сбежавшим от принятия присяги, предложено возвратиться под страхом потери своих мест и конфискации имущества, что и было без промедления исполнено^[92].

23 января пасторам велено заменить во время публичных богослужений имена Фридриха II и кронпринца именами православных — императрицы Елизаветы, великого князя и великой княгини.

Все акты и приговоры судов надлежало теперь составлять от имени царицы. В официальных документах Кёнигсберг стал именоваться «российским императорским городом». Изменились и деньги: на дукатах, талерах и гульденах появилось изображение Елизаветы с надписью: Elisabetha I. D. G. Imp. Tot. Russ.^[93], а на реверсе — двуглавый орел.

Одна из последних забот Левальда заключалась в том, как поступить с теми жителями провинции, которые во время первого русского вторжения вынужденно принесли присягу царице Елизавете. В тогдашней Пруссии, и тем более для такого убежденного протестанта, как Левальд, принятие присяги было делом весьма серьезным. Сам фельдмаршал считал, что только пасторы могли разрешить от нее свою паству. Но ведь присягнули и многие из пасторов. Кроме того, гражданские власти провинции полагали, что в будущем это сможет навлечь на тех служителей Евангелия, которые содействовали клятвопреступлению, вражеские репрессии. Но у Фридриха II не было столь утонченных сомнений. Приказом кабинета из Магдебурга он объявил, что «присяга, данная российской императрице, исторгнута принуждением и поэтому не имеет никакой силы ... и король всею полнотою принадлежащей ему власти освобождает от нее своих подданных». Таким образом, пишет Газенкамп, «сие столь деликатное дело было решено не авторитетом Церкви, но чисто бюрократическим способом». Однако у многих прусских подданных, особенно среди пасторов, совесть оставалась далеко не спокойной. А теперь ей предстояло подвергнуться еще и новым испытаниям!

24 января, в тот самый день, когда прежде праздновали рождение Фридриха II, все жители Восточной Пруссии должны были принести присягу на верность и подданство российской императрице. В самом Кёнигсберге эта церемония прошла с большой помпой в церкви королевского замка, у подножия алтаря. Военная и Имущественная палаты, судебные коллегии, магистрат, уполномоченные бюргерства выслушали манифест, в котором Елизавета заверяла свой народ в «благожелательстве и протекции». Затем каждый произносил присягу, зачитанную пастором, и подтверждал ее своей подписью. В последующие дни наступила

очередь университета, Коммерц-Коллегии, Управления косвенных сборов и т. д. Чиновники, не смогишие явиться в церковь по болезни, давали присягу у себя дома. Такая же процедура соблюдалась по всей провинции. У нас нет никаких сведений о том, чтобы от нее отказался хоть один чиновник. Управляющий Гумбинненским округом Домхардт говорил впоследствии, что это были «самые тяжелые минуты в его жизни». Вот текст этой присяги:

«Я, нижеподписавшийся, клянусь всемогущим Богом и Его Святым Евангелием в верности и послушании наиславнейшей и наимогущественнейшей Императрице и Самодержице Всероссийской Елизавете Петровне ... и Его Императорскому Высочеству Великому Князю и наследнику Петру Феодоровичу и обязуюсь всеми своими силами споспешествовать августейшим интересам Ее Императорского Величества. И ежели станет мне ведомо о каких-либо противу Нее изменах, то незамедлительно по обнаружении оных обязуюсь не токмо донести о сем, но и всеми наличествующими способами и средствами противустоять оным изменам, дабы исполнить данную мною клятву, в коей ответственую перед самим Богом и его Страшным судом. Да сохранит Всемогущий Господь тело мое и душу!»^[94]

29 февраля, через семь дней после капитуляции, в «российском императорском городе» Кёнигсберге был устроен «праздник возобновления всеобщего спокойствия». Во всех церквях возносили благодарственные молитвы, на улицах звучали барабаны и трубы.

Отовсюду был снят герб Гогенцоллернов и заменен двуглавым орлом. Многие жители, стремясь защитить свое имущество именем императрицы, вывешивали этот символ над дверями или на своих гербах. В некоторых аристократических салонах появились портреты Елизаветы и великого князя.

Таким образом, царица завладела землями и крепостями не силой оружия, а совестью людей посредством присяги. Отныне она могла считать себя законной владычицей Восточной Пруссии и править в Кёнигсберге столь же самодержавно, как и в Москве. Посмотрим теперь, что представляла собой русская власть в течение всех пяти лет оккупации.

Фермора почти сразу назначили генерал-губернаторам Восточной Пруссии с тем же жалованьем и теми же привилегиями, что и у его прусского предшественника Левальда. В следующем году он был заменен другим немцем, бароном Корфом; затем эту должность занимали: генерал-лейтенант Суворов, отец героя, прославившегося в турецких, польских, итальянских и швейцарских кампаниях; генерал-лейтенант Панин и, наконец, имевший тот же чин Федор Волков.

Кроме высшего лица, в управлении провинцией как будто ничего не переменилось. Ее администрация была крайне усложнена, как это бывает в тех странах, где феодальные формы сосуществуют с более современными. Здесь насчитывалось не менее тридцати двух коллегий, судов и палат. Самыми главными были кёнигсбергская и гумбинненская палаты, управлявшие соответственно немецкими и литовскими частями провинции; над ними стояла Правительственная палата. Компетенции этих многочисленных инстанций запутанно переплетались. Русские долго не могли разобраться в этом и установить за ними хоть какой-то надзор. Президент гумбинненской палаты Домхардт сумел до самого конца оккупации безнаказанно, во главе объединенной им части чиновников, оказывать пассивное сопротивление русской власти, создав целую сеть патриотических кружков, некое подобие Тугендбунда^[42], которые поддерживали прусский дух, скрывали часть налогов и посылали крупные суммы денег Фридриху II. Почти сразу во главе кёнигсбергской и гумбинненской

палат были поставлены русские генералы, а для каждой административной коллегии назначили в качестве наблюдателей русских офицеров. Однако немецким служащим удавалось утаивать некоторые дела, отвлекая этих наблюдателей малозначащими подробностями, вследствие чего они превращались не более чем в обыкновенных делопроизводителей. Болотов, долгими часами пытавшийся проникнуть в стиль прусской канцелярии и делать переводы документов, так и не смог разобраться во всем этом. Он занимался только переводами, снятием копий и не более того^[95].

Если не считать Домхардта и некоторых чиновников истиннопруссского духа, вся остальная провинция не оказывала никакого противодействия чужеземной власти. Мало-помалу все шло к тому, чтобы Восточная Пруссия стала со временем такой же частью России, как Эстония и Ливония, где дворянство и бюргерство также были немецкими, что не помешало Петру Великому присоединить их к Российской империи. Если бы русские не стали притеснять протестантов и не нарушали привилегий дворян, бюргеров, университета и корпораций, не было бы ничего невероятного в том, что Восточная Пруссия последовала бы примеру других балтийских провинций.

До сих пор судебные апелляции направлялись в Берлин, теперь же функции высшего суда были возложены на юридический факультет Кёнигсбергского университета.

30 января комендант Кёнигсберга генерал Рязанов предписал гражданской гвардии и местному ополчению сдать оружие в ближайшие арсеналы. В марте это приказание пришлось повторить, распространив его на частных лиц и оружейных мастеров. Изъятию подлежали даже охотничьи ружья, аркебузы^[96] и коллекционное оружие. Сельские дворяне, крестьяне и лесники стали жаловаться на то, что не могут теперь защищаться от волков и мародеров, приходящих из Польши и Литвы. Почтальоны боялись нападений на дорогах. Служащие лесного ведомства не могли бороться с браконьерами. Поэтому русским властям пришлось сделать некоторые исключения. С другой стороны, производились обыски в домах уклоняющихся и строго каралась контрабанда оружия, доставлявшегося по морю.

Но это было не единственной мерой предосторожности в отношении населения: время от времени по приказу военных властей запирались городские ворота Кёнигсберга; полиция запрещала жителям ходить ночью без фонарей; доступ на колокольни строго охранялся; даже при пожаре тревога поднималась не набатом, а барабанами и трубами. Принимали меры и против сторонников Тугендбунда, организованного Домхардтом, о которых, как и о его роли, в точности ничего не знали, но подозревали о их существовании. 13 февраля 1758 г. был арестован и отправлен в Россию судья Грабовский. Так же поступили и с почтмейстером Козловским. Следили и за корреспонденцией: письма надлежало подавать на почту в открытом виде.

Газеты, сколь бы малое значение они ни имели в то время, также требовали надзора. До сих пор цензура для «Koenigsberger Zeitung» осуществлялась университетом. Теперь эту функцию взяли на себя военные власти. У Фермора были, несомненно, основательные причины для таких действий. В одном из писем к Воронцову он жалуется на «бесстыдную берлинскую ложь, повторяющуюся в газетах Кёнигсберга»; например, сообщалось о падении русских пушек в воду при переходе через Вислу. Фермор преобразовал в государственный орган некую «Государственную газету мира и войны», существовавшую еще при Левальде. Сей официоз завоевателей должен был выражать симпатии жителей к русскому гарнизону, «каковому всяк и каждый отдает несомнительное предпочтение противу прежнего прусского гарнизона», и расхваливать «изысканный вкус богатых и дорогих мундиров на российских офицерах». Ошеломленные кёнигсбергские читатели узнавали из своих газет о зверствах Фридриха II в Саксонии и о человеколюбии царицы, которая даже не помышляла

производить репрессии в завоеванных ею провинциях. Победы прусского короля ставились под сомнение, успехи коалиции непомерно преувеличивались. Газенкамп находит это смешным и отвратительным, но тогда у него не было возможности сравнения с лотарингскими, версальскими и другими газетами, в которых завоеватели 1870 г.^[43] оскорбляли французское население. Отметим еще и появление в 1758 г. еженедельной кёнигсбергской газеты на французском языке.

Новые власти Восточной Пруссии требовали от пасторов возносить молитвы не только во здравие Елизаветы и великокняжеской четы. Богослужения должны были происходить и по всем российским официальным празднествам: в дни рождения и коронации императрицы и рождения детей наследника. Эти торжества стоили Кёнигсбергу 5 тыс. талеров. На каждом кому-то из членов университета полагалось произносить *Festrede*^[97]. Обычно по таким дням профессор Вернер говорил прозой, а профессора Бок и Ватсон декламировали стихи. Вернер, по всей видимости, чувствовал себя униженным и однажды сказался больным, за что должен был заплатить 8 талеров заместившему его коллеге Гану. Бок же, напротив, даже и в своих мемуарах исполнен тщеславия и гордости поэта успехом своих стихов у чужеземного губернатора.

Конечно, русские власти могли бы избавить новых своих подданных от празднования побед над их королем и той армией, в которой сражалось и погибало столько их земляков. Но здесь рука завоевателей оказалась излишне тяжелой. Цорндорфская битва 1758 г. и поражение Фридриха при Кунерсдорфе были торжественно отмечены в Кёнигсберге залпами с цитадели, благодарственными молебствиями в церквях, официальным обедом и иллюминацией на улицах. По случаю кунерсдорфской победы пастору и профессору Арнольдту, придворному проповеднику при прусской власти, было велено произнести проповедь в церкви королевского замка. И он с честью для себя исполнил эту тяжкую повинность. Указав, что есть «долг победителей и долг побежденных», пастор предостерег первых от гордыни, а последних от уныния. Его проповедь наделала много шума: самого Арнольдта подвергли строгому домашнему аресту за военным караулом, и уже шла речь о высылке его в Россию. Однако опасная болезнь, хлопоты консистории и духовенства избавили Арнольдта от этого несчастья. Через несколько месяцев он получил свободу, но губернатор Корф запретил ему говорить проповеди в течение целого года.

Принятие присяги, кёнигсбергские празднования и особенно торжества по случаю русских побед уязвили Фридриха II в самое сердце. Он не хотел знать ни о каких смягчающих обстоятельствах, возникших под действием непреодолимой силы, и не соблаговолил признать разницу между теми, кто добровольно уступил, и сделавшими это лишь по принуждению. Король затаил на всю провинцию глубокую обиду, и уже до конца жизни никакие уговоры не могли побудить его приехать в Восточную Пруссию.

Если не считать давления на политические убеждения и религиозные верования, провинция никак не могла жаловаться на русское правление. Конечно, она подвергалась реквизициям натуральных продуктов и гужевой повинности, но ведь такой же была участь и русских крестьян. И разве можно сравнить эти неудобства и убытки с тем, что происходило в Саксонии под игом Фридриха II? Налоги, судя по всему, не увеличились; правда, после того как было решено не брать в Восточной Пруссии рекрутов для императорской армии, с обязанных к службе стали взимать воинскую подать, что было для них немалой удачей. Провинция могла считать себя просто счастливой по сравнению со всеми другими, входившими в прусскую монархию. Экссессы, характерные для кампании Апраксина 1757 г., за годы оккупации уже не повторялись. Газенкамп собрал в архивах факты жестокости и

мародерства регулярных и нерегулярных войск российской армии. Он нашел сорок таких дел, но все это мелочи — армии XVIII века вели себя много хуже даже в союзных странах. Этот историк Восточной Пруссии открывает свой счет с лесных провинностей — порубки деревьев. Но ведь надо принять в соображение и ту выгоду, которую провинция получила от русской оккупации для своего сельского хозяйства и торговли уже одним только тем, что в течение пяти лет она не была театром военных действий. Порты оставались свободными, а некоторые даже неплохо нажились на поставках для императорской армии. В университете продолжались лекции, и Иммануил Кант смог дебютировать на кафедре в качестве доцента математики.

Чтобы больше не возвращаться к этому, завершим, забегаая несколько вперед, наше рассуждение о судьбе Восточной Пруссии под русским владычеством.

Судя по всему, жители провинции не питали к завоевателям особой ненависти. Лучшее кёнигсбергское общество принимало в своих гостиных русских офицеров, а на званых вечерах у генерал-губернатора собирался весь цвет местной аристократии. Невероятно, но Газенкамп простодушно признается, что именно русские принесли с собой цивилизацию на землю Восточной Пруссии. Многие офицеры принадлежали к семействам, несравненно более богатым и культурным, нежели самые лучшие в местном обществе. Они свободнее изъяснялись по-французски, что было тогда во всей Европе главным признаком хорошего образования. Их отличали также красиво сшитая одежда, изысканный стол и вина, элегантная и роскошная сервировка. Обитатели же Пруссии были, напротив, самыми отсталыми из немцев; парижские моды приходили к ним лишь после того, как устаревали в Западной Германии; их пища оставалась простой и грубой. Именно русские завоеватели распространили употребление дотоле почти неизвестного чая, редкостного в этих краях кофе и пунша, поразившего и очаровавшего всех. Они же «научили пруссаков пользоваться театрами для больших и многочисленных собраний и, делая над всеми партерами вносные и разборные помосты, превращать оные в соединении с театром в превеличайшую залу» для балов и маскарадов и «в сих старались тогда все, бравшие в увеселениях сих соучастие, друг друга превзойтить и, можно сказать, что в выдумках и затеях сих не уступали нимало нам и пруссаки, а нередко нас еще в том и превосходили»^[98]. Как видим, в Кёнигсберге тогда не скучали ни побежденные, ни победители, хотя во всей остальной Европе свирепствовали ужасы войны.

Русские сделали даже большее. Общество в Восточной Пруссии сохраняло еще средневековые формы и нравы. Целая пропасть разделяла ничтожнейшего из дворян и самого образованного и самого богатого простолюдина. Они никогда не встречались в одних и тех же гостиных; каждое сословие держало себя по отношению к другим с чопорной важностью; высокомерию дворян соответствовало чванство чиновников и членов университета. У русских же было больше духа равенства: в России дворянство не было замкнутым сословием, оно все время пополнялось выходцами из богатых или образованных слоев или теми, кого благосклонность императриц возносила из низов на самый верх общества. Немецкие бюргеры и дворяне впервые встретились в гостиных русского губернатора. Именно там они научились меньше презирать друг друга.

Более того, русское завоевание эмансипировало прусскую женщину. Прежде она жила затворницей или в поместье, или в родовом доме, воспитанная в строгих правилах протестантизма, пропитанная дворянской или бюргерской спесью, пышно разряженная в пожитки своей бабки, лишь изредка показывалась на балах и никогда не бывала в театре. Из дома она выходила только в церковь к проповеди и непременно вместе с дуэньей. Для женщины считалось, например, неприличным стоять, облокотившись у окна. Русский

генерал-губернатор приглашал кёнигсбергских дам к участию в «публичных актах» университета. Это стало модным так же, как у нас посещать Французскую академию. Именно на губернаторских вечерах бюргерши встретились с баронессами. Его офицеры очаровывали их приятной беседой, ловкостью в танцах и всеми мягкими чертами славянского характера. Не один роман завязывался между такими наставниками и неопитками светской жизни. Газенкамп жалуется на упадок семейных нравов; заметим здесь только то, что сами женщины не выказывали недовольства по этому поводу.

Что касается его упреков русским солдатам в развращении добрых пруссаков пороком пьянства, а чиновникам царицы в обучении своих немецких коллег лихоимству, то стоит задаться вопросом: столь ли уж трезвы были при дворе самого короля-капрала и разве русское слово «взятка» не имело своего двойника в немецком лексиконе?

Последний год Семилетней войны оказался для жителей Восточной Пруссии самым беспокойным — за несколько месяцев они побывали под властью четырех разных монархов: Елизаветы, Петра III, Фридриха II, Екатерины II и, наконец, опять Фридриха.

При первом же известии о смерти Елизаветы патриотическая партия подняла голову и осмелела. Собравший 300 тыс. дукатов Домхардт самолично отвез их в лагерь Фридриха и еще до опубликования российско-прусского мира приготовил для него целый обоз зерна. Почти не скрываясь, он поддерживал оживленную переписку с королем.

Генерал Панин, которого немцы считали недоброжелательным и коварным, был заменен более гуманным и открытым генерал-лейтенантом Федором Воейковым. 5 июля 1762 г. последовало объявление о мире. Теперь уход русских задерживался всего на несколько дней только из-за недостатка перевозочных средств. Они уже передавали прусским гражданским властям управление провинцией. Военные чиновники, такие, как Болотов, получили приказ возвратиться к своим полкам. Просидев несколько лет за бумагомаранием в кёнигсбергской канцелярии, они даже огорчались от происшедшей перемены, да и сами немцы уже настолько привыкли к ним, что происходили трогательные сцены прощания. Старики хозяева Болотова вообще не хотели брать с него плату за еду, стирку и жилье; правда, он замечает, что они были швейцарцы, а не пруссаки. Но и пруссаки показали себя не менее чувствительными: учитель немецкого языка у того же Болотова отказался от денег за уроки и проливал слезы, обнимая своего ученика.

25 июня король Пруссии направил повеления чиновникам и населению провинции, где указывалось, что, пока российские войска еще остаются в ее пределах, надлежит содержать их и предоставлять им необходимые средства передвижения.

Снова почувствовав себя хозяином, Фридрих уже производил перемены в администрации: он принял отставку графа Финкенштейна, признанного неспособным и оказавшегося слишком податливым перед русскими. Во главе власти был поставлен верный и энергичный Домхардт.

Объявление о мире вызвало всеобщую радость. В этот день, 5 июля, «Кёнигсбергская газета» снова вышла с одноглавым прусским орлом вместо узурпатора — двуглавого. Полковник Гейден вернулся на свое прежнее место как комендант Кёнигсберга. Русские караулы были заменены реорганизованной гражданской гвардией. Два герольда в сопровождении конных и пеших отрядов из бюргеров провозглашали при звуках труб *Notificarium*^[99] о мире. На всех общественных зданиях вновь с колокольным звоном и музыкой были восстановлены прусские гербы, праздничный народ кричал *Vivat!*^[100] и российскому императору, и прусскому королю. Весь Кёнигсберг украсился коврами и цветами, а на кораблях в порту были подняты флаги расцветивания. 8 июля Воейков опубликовал постановление о снятии с прусских подданных присяги, которую они приносили всего лишь

несколькими неделями раньше, еще до восшествия на престол нового царя. На другой день в город вернулись члены правительства, покинувшие его еще в 1758 г., а 10 июля было устроено последнее русское празднество в честь Петра III: богослужение, военный парад и иллюминация. 11-го произошла официальная передача власти пруссакам, чему некоторую торжественность придал академический акт с речами и стихами на латинском языке. Последовали и другие праздники: 14 июля после замирения Пруссии со Швецией в соборной церкви читалась проповедь на текст из Исаяи о Вавилонском пленении и были оглашены мирные трактаты. Вечером состоялся банкет, данный ратушей в Юнкерхофе для офицеров обеих армий; солдаты же получили от щедрот магистрата денежную награду, выданную также больным, раненым и семьям инвалидов.

Но вдруг, в разгар всех этих празднеств, благодарственных молебнов, академических актов, торжественных проповедей, иллюминаций и букетов, словно гром среди ясного неба пришло известие о низложении Петра III. 16 июля 1762 г. генерал-губернатор Воейков объявил жителям Кёнигсберга, что на российский престол взошла Екатерина II. Мирный договор потерял свою силу — новая царица возвращала себе Восточную Пруссию.

Сначала у Екатерины были некоторые колебания по отношению к Фридриху II. Более того, понимая, что судьба ее силезской армии находится в руках короля, она видела в Восточной Пруссии как бы заложницу для обеспечения окончательной договоренности — захваченная провинция гарантировала безопасность ее армии. Воейков снова вступил в свою прежнюю должность генерал-губернатора; снова русские солдаты заняли цитадель и караульные посты в городе; императорский орел опять появился на зданиях и в «Koenigsberger Zeitung». Прусские офицеры, явившиеся для набора рекрутов, были взяты под стражу, а их жертвы отпущены по домам.

Затем, когда смерть Петра III и возвращение армии из Силезии позволили царице уже не бояться каких-то опасных осложнений, в Восточную Пруссию были посланы новые повеления. 6 августа Воейков объявил, что провинция окончательно передается прусскому королю. Снова на дома и в титул городской газеты возвратился орел Гогенцоллернов, а на караулы опять встали прусские солдаты. В тот же день в Кёнигсберг въехал фельдмаршал Левальд в своем прежнем качестве губернатора провинции. С еще большим воодушевлением возобновились академические акты, торжественные проповеди, публичные речи. В течение шести лет Восточная Пруссия трижды провозглашалась российской, и теперь третий раз она возвращалась в королевские владения. Перемены, связанные с воцарением Екатерины, заняли всего двадцать дней. Российская империя окончательно отдавала свою добычу. Восточная Пруссия счастливо выскользнула из ее рук.

Глава седьмая. Первое вторжение русских в Бранденбург. Бомбардировка Кюстрина (август 1758 г.)



Оккупация Восточной Пруссии должна была оказать огромное влияние как на дипломатию антипрусской коалиции, так и на ход военных действий. Елизавета могла или оставить эту провинцию себе, или же уступить ее Польше в обмен на Курляндию и спрямление украинской границы. Возможно, Австрия вначале и согласилась бы на это, но, с одной стороны, она боялась любой экспансии России в Европе, а с другой — опасалась того, что русские завоевания сделают невозможным в будущем всеобщий мир и возвращение ей Силезии. В Вене столь явно не хотели поддерживать своего союзника, что обе державы обменялись довольно резкими нотами. В какой-то момент царица даже пригрозила сепаратным миром с Фридрихом, который, не колеблясь, отдал бы ей уже потерянный Кёнигсберг ради того, чтобы всеми своими силами обрушиться на других участников коалиции.

Неприязнь и отвращение Австрии в немалой степени разделял и Людовик XV. Он тоже опасался движения России на Запад, а обмен Восточной Пруссии на польские земли был для него еще хуже, чем русская аннексия. Превыше всего, даже больше побед над Фридрихом, он держался за целостность Польши, за то, что он называл ее «свободами». Беспокойство вызывала и близость русских к Торну, а особенно к Данцигу. Французские дипломатические агенты в Варшаве, Вене и Петербурге только и занимались протестами против приписывавшихся России проектов, против постоянного прохода ее войск через польскую территорию и связанных с этим неизбежных злоупотреблений и эксцессов. И когда герцог Шуазель упрекал русских за слишком мягкое отношение к Восточной Пруссии, то менее всего имел в виду те выгоды, которые могла бы извлечь из нее царица, и не из враждебности к пруссакам. Прежде всего его уязвляло то, что Елизавета распоряжается в этой провинции так, словно это ее наследственное владение.

С чисто военной точки зрения занятие Восточной Пруссии предопределяло некоторым образом все передвижения российских войск. Она становилась и операционной базой, и центром снабжения; армия не могла ни переместиться из нее ни в район Познани, ни в Силезию, ни удалиться хоть на сколько-нибудь из опасения поставить ее под удар у себя в тылу. Таким образом, русские оказались как бы на привязи у своего завоевания. И когда Австрия претендовала на то, чтобы пополнить для себя российские войска в качестве вспомогательного флангового корпуса на главном театре военных действий, петербургский кабинет отговаривался невозможностью оставить без защиты Восточную Пруссию. Об это разбивались все попытки канцлера Кауница осуществить соединение обеих армий где-нибудь в Силезии, несмотря на всю иногда даже раболепную услужливость, с которой относился к нему граф Воронцов.

Восточная Пруссия, привязывая к себе русскую армию, в то же время отдаляла ее от Австрии. Благодаря этому петербургский двор ощущал себя независимым по отношению к своей союзнице и проникался стремлением изменить свою вспомогательную роль на роль державы, ведущей войну в собственных интересах, для которой предпочтительнее более тесный и непосредственный союз с Францией.

Но поскольку это не встретило понимания Людовика XV, пришлось все-таки сблизиться с Веней и балансировать между двумя противоположными требованиями: удержания

Восточной Пруссии и обязательствами помогать Австрии.

Поиски подобного компромисса порождали множество проектов, наполнявших политическую и военную корреспонденцию этих пяти лет: то предлагали сформировать так и оставшуюся на бумаге сорокатысячную армию и послать ее в распоряжение австрийцев, то говорилось о разделе главной армии и выделении из нее двадцати тысяч для фельдмаршала Дауна. Однако эти намерения вызывали сопротивление со стороны всех без исключения русских главнокомандующих: и Фермора, и Салтыкова, и Бутурлина. Они понимали, что в таком случае армия потеряет боеспособность и силы настолько расплытятся, что императорское знамя как бы вообще исчезнет с театра военных действий. Только злостный недоброжелатель мог давать подобные советы, вредоносные для интересов и славы российской армии. Третий вариант заключался в том, чтобы приблизить русскую операционную линию к линии Дауна, избегая, однако, их параллельности или схождения.

Опираясь на Восточную Пруссию, русские могли выбирать между двумя основными направлениями: 1. идти вдоль Балтийского побережья, занять Данциг и Прусскую Померанию и соединиться с малочисленной шведской армией, полностью отрезав таким образом Фридриха II от моря; 2. наступать через Кюстрин или Франкфурт-на-Одере и захватить Берлин и всю главную провинцию Прусского Королевства; 3. двигаться через Позен и помочь австрийцам отвоевывать Силезию или Саксонию. Независимо от избранного варианта при условии последовательности действий можно было надеяться на большой успех — завоевание одной из прусских провинций. Но беда заключалась в том, что никак не могли твердо решиться на какую-то одну из этих трех систем. Уже в кампанию 1758 г. русские могли бы принудить Данциг к капитуляции, занять Западную Пруссию и Померанию и разгромить армию Левальда. После этого на следующий год надо было вторгнуться в Бранденбург и наконец во время третьей кампании раздавить Фридриха II, прижав его к австрийцам.

Однако ничего этого не произошло. До самого конца войны русская армия даже в период решительного наступления на Кюстрин и Франкфурт постоянно разрывалась двумя противоположными влияниями. То ее поворачивали на север, потому что правому флангу и даже самому Кёнигсбергу угрожала прусская армия из Померании; то надо было двигаться на юг, поскольку канцлер Кауниц не давал покоя своими представлениями графу Воронцову, а Даун жаловался, что русские ничем не хотят помочь ему в Силезии и Саксонии. Русская армия была похожа на планету, которая под воздействием двух противоположных притяжений движется беспорядочными зигзагами. Отсюда столько приказов и столько контрприказов, столько маршей и контрмаршей, изматывавших людей и оставлявших на дорогах конские трупы и брошенные повозки. Солдаты голодали, потому что интендантство не успевало вслед за переменами политики менять пути подвоза и расположение магазинов. Русская армия скорее плутала и бродяжничала по всей Польше и Германии, чем следовала заранее выработанному плану.

Дипломатия влияла на военное командование самым катастрофическим образом. Только для того, чтобы угодить Франции, Конференция не позволила Фермору занять Данциг, магистрат которого был пропитан прусским духом и благодаря своему господству над выходом из Вислы в море мешал как мог снабжению войск, задерживая не только целые караваны судов, но даже обозы на мостах, что подвергало русское терпение жесточайшим испытаниям. А для угождения Австрии Конференция без конца меняла планы своих генералов, отказываясь от самых выгодных направлений, как, например, на Померанию или на Берлин, вынуждала их идти на соединение с имперцами, хотя и не хотела полностью подчинять им русские войска. Однако на самом деле получалось именно так, и подчас они оказывались просто жертвою политических интриг. При медлительности ученого педанта

Дауна, возродившего из небытия тактику Монтекукколи^[44], и мелочной опеке гофкригсрата было невозможно договориться о месте соединения, не рискуя встретить там вместо Дауна самого Фридриха II. У австрийского командующего было невозможно ничего узнать о планах кампании, даже если он уже и получил их из Вены. То, что говорил Даун, никак не совпадало с заверениями Кауница. Может быть, русские генералы клеветали, будто он хотел лишь одного: подставить их армию под огонь прусских батарей, как клячу пикадора перед разъяренным быком, чтобы заранее истощить силы неприятеля еще до столкновения с его собственными полками? Конечно, у австрийцев не было столь подлого умысла, но ведь и сорок лет спустя Суворову оказалось очень трудно договориться с ними в решительный момент. Самой бесплодной за всю Семилетнюю войну оказалась именно кампания 1761 г., когда петербургский кабинет наиболее благоприятствовал Вене и когда русский главнокомандующий из всех сил старался угодить своему австрийскому коллеге.

Фермор был приятно удивлен той легкостью, с которой его приняли жители Восточной Пруссии, и тем более польщен своей новой должностью генерал-губернатора этой провинции. Он охотно продлил бы свое пребывание среди кёнигсбергских развлечений и удовольствий, но Конференция торопила его с началом весенней кампании. Русские войска были сильно разбросаны по занятой территории, и у Фермора под рукой оставались только корпуса Салтыкова и Голицына. Что касается Обсервационного корпуса Шувалова, формировавшегося в Пскове, Смоленске, Торжке, Великих Луках, Вольмаре и Дерпте, то он находился очень далеко, почти за тысячу километров от главных сил.

В феврале вся армия двинулась к Нижней Висле. 10-го Штофельн с чугуевскими казаками, 300 гусарами и кирасирами подошел к Мариенвердеру. Магистрат поднес ему ключи от города и просил о приведении жителей к присяге. В крепости оказалось большое количество припасов и 38 понтонов, крайне необходимых для наведения моста через Вислу. 17-го Штофельн занял Торн. В отличие от Данцига у русских с его жителями всегда были самые дружеские отношения. Затем Штофельн направился к Данцигвердеру, встречая везде хороший прием и приводя к присяге власти и лучших жителей, хотя он и находился на польской территории. Ему доставляли военные сведения и предлагали снабжать продовольственными припасами. Но Эльбинг оказал все же некоторое сопротивление. Магистрат хотел избежать прохода русских войск, и даже началось сооружение моста, по которому они смогли бы обойти город. Однако властям было заявлено, что все эти ухищрения напрасны и нужно открыть ворота. 3 марта в них вошел Рязанов, который сразу же заменил польский гарнизон и отпустил его. Он согласился на гражданскую капитуляцию, но уже на более жестких условиях, чем в Кёнигсберге. Сам Фермор вступил в Эльбинг через день с почестями, соответствующими его рангу.

Фридрих II был страшно раздражен сдачей этого города и велел секретарю своего посольства в Варшаве Бенуа представить самый резкий протест. Он заявил, что отныне считает себя совершенно свободным занять любой польский город. Тогда Август III послал русскому главнокомандующему письмо с требованием очистить Эльбинг. Фермор отвечал отказом в самых изысканных выражениях и одновременно уведомил Конференцию о стратегической важности этой крепости для сообщения с Восточной Пруссией. Тем временем русские войска заняли все значительные города по течению Вислы. В Торне разместился гарнизон из 400 гренадеров и началось восстановление оборонительных сооружений. Фермор хотел захватить и Данциг или, по крайней мере, Вайхсельмюнде, форт в устье Вислы, который преграждал вход в реку приходящим с моря судам. Он даже направил в Конференцию план блокады города, но там не решились на это, опасаясь протестов не только Бенуа, но, весьма вероятно, и французских агентов.

По всем занятым местам Фермор мог протянуть целую осведомительную сеть. Сообщения о происходящем поступали к нему не только от казаков, гусар и разъездов кавалерии Штофельна, но также от католического духовенства и мелкопоместных польских дворян. Стало известно, что преемник Левальда, граф Дона, блокировал шведов в Штральзунде, а сам Фридрих II внимательно следит за Дауном. Но в общем дороги были свободны и открывался путь или в Померанию, или в Бранденбург. Непонятно, почему при этих условиях Фермор бездействовал весь апрель и май. Мы знаем только, что он якобы ждал рекрутов и затребованных им офицеров.

Только 6 июня Фермор решился начать действия в Померании. Армия разделилась на три колонны в соответствии с избранными направлениями: на Прёйсиш-Старгард (Панин); на Тухель (Салтыков и Румянцев) и на Кониц (казаки Краснощекова и Штофельна); заняв эти последние, войска повернули на юг и, пройдя за двенадцать дней 228 верст, к 1–3 июля сконцентрировались у Позена.

Очевидно, Фермор вернулся к своему первоначальному плану захватить одну из важнейших крепостей на Одере-Кюстрин или Франкфурт, где хранилось большое количество воинских и продовольственных припасов. Кроме того, сам Фридрих считал их надежными местами для отступления на случай тяжелого поражения. Для взятия Кюстрина важнейшее значение имел Дризен на Нице, ибо давал возможность двигаться по обоим берегам Варты. Там находился тысячный гарнизон полковника Гордта. Когда к Дризену подошла кавалерия Демику с двумя гаубицами, комендант отвечал на предложение о сдаче ружейным огнем. Демику был поддержан Еропкиным, принявшим на себя общее командование. При таком усилении осаждающих Горд ту не оставалось ничего иного, как отступить, и Еропкин преследовал его. 15 июля эта тысяча пруссаков пыталась закрепиться на позиции у Фридберга, но была сбита гусарами и казаками, и все они или погибли замертво, или оказались в плену.

Русские глубоко вклинились в Бранденбург. Фридрих II срочно отозвал из Померании графа Дону, который к тому времени на всех пунктах уже отбил шведов. 24 июля он занял позицию у Лебуса на Одере в равном удалении от Кюстрина и Франкфурта, готовый при первой угрозе прийти на помощь любому из этих городов.

Фермор не только хотел напасть на него, но и мог бы всего за несколько маршей пройти от Позена к Одере. Однако именно в то время Броун был слишком далеко, а Обсервационный корпус еще дальше и шел с ужасающей медлительностью, проделав за пять месяцев всего 850 верст, то есть едва по 170 верст в месяц. Сообщалось об убыли в нем лошадей и даже людей. Его создатель, Петр Шувалов, писал, что «корпус должен биться и победу свою достать действием артиллерии, а полки в такой позиции построены были, чтобы *единственно* для прикрытия артиллерии служили»^[101]. Именно артиллерия и отягощала сверх меры этот корпус. Кроме полковых пушек надо было тащить еще 110 пушек большого калибра, огромное количество зарядных ящиков, понтонный парк и инженерное имущество, вплоть до мешков с песком. По прибытии в Торн пришлось оставить там 50 крупнокалиберных пушек и большую часть всех прочих *impedimenta*. Тем не менее в корпусе находилось еще слишком много орудий для его наличного штата в 8-10 тыс. чел. К тому же вся эта масса людей была почти совсем неорганизованной: полки далеко не полного состава не сведены в бригады, недоставало офицеров, особенно высших чинов. Еще до своего появления на театре военных действий в корпусе четырежды менялся командующий: после Шувалова — Салтыков; после Салтыкова — Броун; после Броуна — Захар Чернышев. Солдаты, унтер-офицеры, офицеры и генералы едва знали друг друга. Если бы, к несчастью, в какой-то момент огонь артиллерии перестал прикрывать эту разномастную пехоту и эту измотанную

кавалерию, нет никакого сомнения, что Обсервационный корпус был бы стерт в пыль. Наконец, после еще одной серии маршей, он присоединился к главной армии. 26 июля, через день после того, как граф Дона занял Лебус, почти все силы Фермора собрались у Бетше (Pszcewo), неподалеку от Обры, притока Варты.

Именно в этот момент снова вмешалась Конференция. Уступая давлению австрийцев, она решила направить Обсервационный корпус и еще 8 тыс. чел. из армии Фермора под началом Броуна на помощь фельдмаршалу Дауну в Силезию. Фермор энергично протестовал против этого.

В тот же день, когда произошло соединение в Бетше, он послал по всем направлениям кавалерийскую разведку, которая так же, как и частные «конфиденты», донесла о страшной панике в Берлине из-за контрнаступления шведов на Пене и о приготовлениях столичных властей бежать в Магдебург. Также сообщалось, что граф Дона находится между Кюстриным и Франкфуртом, что Фридрих II и принц Генрих посылают ему подкрепления, а сам король с частью своей армии покинул позицию у Ольмюца и ушел в неизвестном направлении.

Фермор собрал военный совет, на котором обсуждались намерения неприятеля защищать переправы через Одер и угрожать русским флангам, чтобы отрезать сообщение с Восточной Пруссией. Кроме того, был выражен энергичный протест против посылки войск в Силезию. Совет решил наступать главными силами на Франкфурт, а после переправы через Одер совершить, быть может, диверсию против Берлина.

Тогда же от генерала Шпрингера, русского военного агента при главной квартире Дауна, пришли известия об австрийской армии. Шпрингер сообщал, что в разговоре с ним фельдмаршал сказал, что он не получал никаких приказаний и никакого плана действий и ему ничего не известно о русской армии. Однако в письме Кауница к Фермору говорилось, что Дауну посланы самые определенные указания; что он ни в коем случае не пойдет в Силезию по причине находящихся там многих крепостей; что он должен идти на запад, в Лузацию^[102], чтобы зажать Фридриха между двух императорских армий. При столь вопиющей разнице мнений Дауна, Кауница и посланника графа Эстергази, который выдавливал из Конференции решение о посылке 20 тыс. русских в Силезию, Фермору оставалось только задаться вопросом: кого же здесь все-таки обманывают? Если, по мнению австрийцев, в Силезии все равно нельзя действовать из-за обилия крепостей, зачем им тогда понадобился Броун? И как объяснить это отступление Дауна на запад, в Лузацию, в то время как Фермор старался как можно ближе подойти к нему?

Весь конец июля прошел у русской армии в заседаниях военного совета, маршах, длительных остановках и разведках, посылавшихся по всем направлениям. Даже сама цель операций и та ежеминутно менялась: то Франкфурт, то Кюстрин, а после известия об отступлении Дауна — уже Старгард, где надеялись соединиться со шведами. Но в конце концов остановились все-таки на Кюстрине. Однако топтаться на одном месте Фермора вынуждали не только противоречивые известия об австрийской армии и путаные указания Конференции. В своих донесениях он жалуется на «велики жары», скудость фуража и дурное состояние Обсервационного корпуса, который был признан неспособным к передвижению: лошади едва держались на ногах, а 8 тыс. солдат подкрепления (к имевшимся 12 тыс.) только теряли свой боевой дух. Новый командующий корпусом, Броун, заболел и был заменен Захаром Чернышевым, но, несмотря на энергичные действия последнего, корпус мог только тащиться в арьергарде со своей чудовищной артиллерией, всегда отставая на один или даже на два перехода и заставляя Фермора все время опасаться, как бы он не оказался жертвой неприятеля.

В начале августа русская армия все-таки перешла у Ландсберга на другой берег Варты,

но, несмотря на усиленные передвижения, сделано так ничего и не было: не решались ни наступать на Кюстрин или Франкфурт, ни совершить диверсию в Силезию, ни соединиться со шведами у Старгарда. С занимаемой позиции на севере от Варты можно было предпринять только генеральное наступление на Кюстрин. Наконец Фермор решился на это, да и то не всеми силами, отказавшись от помощи Румянцева, которого послал значительно севернее, словно еще предполагал действовать и в Померании. Таким образом, было потеряно драгоценное время, и вдруг, словно удар грома, явился тот самый человек, который никогда не медлил и с которым «нельзя было шутки шутить». Бедственный вопль его угрожаемых крепостей и ограбленных до последней нитки контрибуциями и лихими набегами казаков крестьян — все это словно помогало ему лететь вперед, как на крыльях.

13 августа Фермор выслал к Кюстрину сильный разведывательный отряд, которому пришлось выдержать настоящий бой у Курц-Форштадта (Малого Пригорода). Прусских гусар гнали через все предместье до моста через тот рукав Одера, за которым начинается сам город. Кюстрин расположен на своего рода острове при слиянии Одера и Варты. Почва, орошаемая реками, представляет собой как бы болотистый пояс вокруг крепости. Благодаря этому Кюстрин можно было считать неприступным или почти неприступным. Однако в 1806 г. он капитулировал всего перед одной французской дивизией. Впрочем, это произошло лишь из-за трусости тогдашнего коменданта. Но в 1758 г. комендант крепости был не столь малодушен. Атакованный русскими с восточной стороны, он свободно общался на западе с Бранденбургом и знал, что граф Дона уже близок, а Фридрих II спешит ему на помощь. У него было 2 тыс. чел., много пушек на старых бастионах и изобилие снарядов, которых так недоставало осаждающим.

14 августа Фермор собрал военный совет, который решил на следующее же утро начать штурм Кюстрина. Но не было ли воистину безрассудством, имея поблизости 14 тыс. пруссаков Доны и ожидавшегося в скором времени самого Фридриха, принимать такое решение, да еще и ослаблять армию, направляя корпус Румянцева в Померанию? Тем не менее совет подтвердил этот приказ: Румянцеву соединиться с Рязановым и идти к Кольбергу (порт на Балтийском море), осадить и взять его, после чего произвести демонстрацию против Штеттина. Эту ошибку впоследствии пришлось жестоко искупать.

15 августа Фермор выехал из Грос-Каммина, чтобы лично командовать осадой Кюстрина. Только для того, чтобы овладеть предместьем нужно было сбить сильную батарею, стоявшую на холме и двух кладбищах. За интенсивной канонадой последовала стремительная атака. Казаки, опрокинув прусских гусар и сметая все на своем пути, ворвались на улицы предместья и пытались с помощью гренадер продолжить атаку уже на сам город, однако болотистая местность и обстрел с бастионов остановили их. Отдав предместье, пруссаки укрылись в крепости и сожгли за собой мосты. Для того чтобы подойти к стенам, русским надо было преодолеть открытое пространство, простреливаемое ружейным огнем и пушками, и форсировать рукав Одера. Штофельн послал парламентаря с требованием о сдаче, но его не впустили в город. В захваченном предместье опытные русские инженеры под руководством такого превосходного знатока, каким был сам Фермор, приступили к сооружению трех батарей, соединенных между собой траншеями. Утром 16-го на позиции стояли уже 22 орудия, к которым Фермор добавил еще несколько мортир. Начался обстрел снарядами, бомбами и калеными ядрами. К пяти часам вечера Кюстрин уже пылал со всех концов. Пожар был столь силен, что в арсенале плавилась бронзовые пушки и сгорели опоры разрушенных мостов. В пепел обратились и 1 200 тыс. гектолитров запасенного Фридрихом зерна. Прусские артиллеристы из-за нестерпимой жары покинули свои места у пушек. Однако вследствие недостатка зарядов осаждающие сделали всего 85 выстрелов, и хотя крепость

отвечала 517-тью, это не нанесло неприятелю большого урона.

В тот же день Фермор с восторгом доносил императрице:

«Довольно того, что находящиеся при армии знатные волонтеры отзывались, в историях таких примеров не найдется, чтобы днем, пришед к такому сильному городу, прямо без заступа под городские пушки идти, неприятеля прогнать, бомбардировать и форштадтом овладеть... с потерей всего 11 убитыми и 29 ранеными»^[103].

Однако пожар в городе не повредил укреплений, а рукав реки так и продолжал свое течение, преграждая путь для осаждающих. К тому же приближался и сам Фридрих II! Фермор должен был горько пожалеть о потерянных у Обры и Ницы днях. В ночь с 16-го на 17-е русские продолжали укреплять предместье, не прекращая бомбардировку, которая, впрочем, в два последующих дня несколько ослабела ради экономии снарядов. Солдаты, добывавшие вражеские ядра, получали за них особую награду. Постоянно пополнявшийся людьми и припасами кюстринский гарнизон начал уже выигрывать продолжавшуюся и 19, и 20 августа артиллерийскую дуэль и направлял уничтожающий огонь на захваченное предместье, сделав при этом 1353 выстрела. Казаки и гренадеры не смогли выдержать столь сокрушительной бомбардировки.

Фермор понял, что не удастся ни пробить брешь в стенах, ни форсировать Одер, не говоря уже о напрасной отсылке Румянцева. Однако 18 августа майор Штрик захватил мост у Шведта, в 60 верстах ниже по течению, и отбросил пруссаков. Таким образом, у русских оказалась стратегическая переправа колоссальной важности. Фермор представил этот воинский подвиг в столь выгодном свете, что Штрик получил именную монаршую благодарность и в награду годовой оклад жалованья. Румянцеву, который двигался на Старгард для соединения со шведами, было велено быть готовым поддержать Штрика в случае контратаки пруссаков или вылазки штеттинского гарнизона. Но Румянцев и сам уже находил свое положение слишком рискованным и был рад приказу идти на Шведт. Фермор поступил бы еще благоразумнее, если бы отвел его к самому Кюстрину. Но в тот момент русский главнокомандующий не сомневался, что Фридрих попытается перейти Одер и ударить в правый фланг осаждающих. И он любой ценой хотел помешать этому, посылая одного курьера за другим к Румянцеву с требованием удерживать Шведт до последнего солдата. На помощь Штрику была послана также конница Стоянова и чугуевские казаки. Между Шведтом и Кюстрином Фермор эшелонировал донцов и драгун Хомутова. Все эти войска оченьгодились бы ему в день решительного испытания, так же как и краснощековские донцы, которые все смелее и смелее переплывали Одер и опустошали весь Бранденбург, забирая скот и взимая контрибуцию. Они бесстрашно ставили свои лагеря ниже Кюстрина, как раз на том пути, по которому должен был идти Фридрих II.

Глава восьмая. Битва при Цорндорфе (25 августа 1758 г.)



Фермор знал, что прусский король уже на марше, но никому в точности не было известно, сколь велика его армия. По разным донесениям, от 15 до 40 тыс. чел. И каким именно путем он идет? Один из конфиденентов Фермора, князь Сулковский, уверял, будто Фридрих движется на Позен, намереваясь ударить в тыл русской армии. Единственная достоверность заключалась в том, что нельзя было рассчитывать на помощь ни шведов, ни австрийцев. Первые не сделали ничего для соединения с Румянцевым; вторые неспешно двигались к Лузании, хотя Даун прекрасно знал, что общий враг уже покинул лагерь в Ландсгуте и спешит в Бранденбург навстречу русским. Фельдмаршал обещал не спускать с короля глаз и при любых перемещениях следовать по его пятам. Но когда уже обнаружилось северное направление Фридриха, Даун отнюдь не изменил своего движения на запад. Он и не собирался опережать русских, а лишь с присущими ему ловкостью и коварством осуществлял свои *марш-маневры*. И неприятель не замедлил воспользоваться этим.

Несмотря на поражение Левальда при Грос-Егерсдорфе, где прусский фельдмаршал пунктуально следовал стратегическим советам Фридриха, сам король упорствовал в своем легкомысленном презрении к русской армии. Он упорно игнорировал произведенные в ней реформы и все так же считал ее ничуть не изменившейся со времен Миниха^[104]. Ему казалось, что при сближении с неприятелем русские выстраиваются в огромные вытянутые каре, отягощенные неимоверным обозом, и не способны не только маневрировать, но даже перемещаться, подставляя себя таким образом под мушкетный и картечный огонь. Для победы достаточно сначала поколебать эту живую крепость интенсивным огнем артиллерии, затем расколоть ее яростным натиском конницы и довершить все залпами и штыками пехоты. Поспешая из Силезии навстречу неприятелю, король снова расспрашивал старого фельдмаршала Кейта, который командовал русскими войсками еще при Анне Ивановне.

«А что такое русская армия? — Государь, это храбрые солдаты, умеющие превосходно защищаться, но у них плохие командиры. — Прекрасно! Вот увидите, с первой же атаки я разгоню этих негодяев. — Должен по всей правде сказать Вашему Величеству, что эти негодяи не так-то легко обращаются в бегство. — Ладно, сами убедитесь, теперь это совсем не те русские, как в ваше время»^[105].

И действительно, они были уже не те — военные реформы 1755–1757 гг.^[45] сделали их намного сильнее, чем при Кейте и Минихе. Королю еще предстояло узнать это, но после Цорндорфа было замечено «его молчание в разговорах с фельдмаршалом касательно всего, что относилось к русским».

10 августа Фридрих писал к своему брату Генриху из лагеря у Грюссау:

«Прошу вас сохранить в абсолютной тайне все в сем письме содержащееся и назначенное лишь для собственного вашего осведомления. Завтра я выступаю противу русских. Поелику случайности войны порождают всякого рода происшествия, и меня легко могут убить, долгом своим поставляю уведомить вас о принятых мною решениях, особливо касательно вашей должности как

полновластного попечителя нашего племянника. 1. Если я буду убит, надобно без промедления привести все войска к присяге моему племяннику^[46]. 2. Необходимо ни в коей мере не ослаблять наших действий, дабы противник не мог догадаться о перемене командования. 3. Вот теперешний мой план: по возможности наголову разгромить неприятеля и сразу же отправить графа Дону на шведов, а самому оборотиться противу австрийцев»^[106].

По всей очевидности, Фридрих надеялся при первой же встрече с русскими повторить ситуацию известного афоризма: *Veni, vidi, vici*^[107].

Из 55 тыс. чел., которыми король командовал в Силезии, 40 тыс. он оставил для защиты позиций и наблюдения за австрийцами, а сам взял всего 15 тыс.: 14 батальонов пехоты и 38 эскадронов, в том числе и самых лучших из его кавалерии. Фридрих шел с наивозможной быстротой, «подобно баску», как он сам говорил. Это не мешало ему ночами напролет читать Цицероновское «*De natura Deorum*»^[108] и «*Tusculanae*»^[109], беседовать с Каттом о философии и метафизике и сочинять *vers de roi*^[110].

12 августа он был в Лигнице, 13-го в Гайнцендорфе, 15-го в Далькау, 16-го в Вартенберге, 17-го в Плотове, 18-го в Кроссене, 19-го в Зибингене. 20 августа Фридрих соединился во Франкфурте с графом Доной, который привел ему еще 18 тыс. чел., и, таким образом, у него насчитывалось уже 33 тыс. при 117 пушках, не считая полковых орудий. Король произвел смотр всей армии и был поражен разницей между войсками, пришедшими из Восточной Пруссии и Померании, хорошо обмундированными, отдохнувшими и накормленными, и своими собственными, изнуренными, чуть ли не в лохмотьях, с лицами, почерневшими на зимнем солнце. Он не скрывал, что больше доверяет своим «силезским чертям», чем прусским «медвежьим шапкам»^[47]. Егерсдорфское поражение тяжелым бременем все еще лежало у него на сердце.

Как только Фридрих вошел в те места, где уже похозяйничали казаки, ему пришлось утешать несчастных и помогать погорельцам. Крестьяне повсюду встречали его криками восторга как своего отца и избавителя.

В Вартенберге он узнал о нападении русских на Кюстрин и сразу написал генералу Доне: «Кюстрин должен держаться любой ценой под страхом смерти и пружестоких кар для всякого, кто осмелится хотя бы заговорить о капитуляции»^[111]. Уже во Франкфурте Фридрих мог слышать гром пушек, обстреливавших его город. Болотов пишет (несомненно по каким-то немецким рассказам), что короля видели на крыльце того дома, где он остановился, смотрящим с искаженным лицом в сторону Кюстрина. При каждом залпе он набирал в нос понюшку табака. Но все оказалось намного хуже, когда на следующий день он въехал в сожженный дотла Кюстрин и смог понять все размеры бедствия. Встретившиеся ему прусские кавалеристы кричали: «Отец! Не беспокойся, мы порубим всех этих негодяев! Никому не будет пощады! Никому!»

Письма, где Фридрих описывает эксцессы русских в деревнях: сожженные дома, убийства людей, насилия над женщинами, заставляют вспомнить о бюллетенях Наполеона, где он оповещал всю Европу о зверствах «этих варваров», которых безжалостная политика Австрии обрушила на Германию. Но не примешивались ли к подобным протестам Фридриха и Наполеона и политические виды? И разве вспомнил возмущенный страданиями своих подданных прусский король, как он обошелся с жителями Саксонии? Сколь бы искренней ни казалась его печаль при виде бедствий войны, постигших и его отечество, не были ли жалобы Фридриха порождены желанием оправдаться самому или же повлиять на

общественное мнение того «чувствительного» XVIII века? «Московиты, — писал он, — ведут в землях Королевства войну варваров; всякий день они жгут деревни и предаются бесчеловечным грабежам; они убивают женщин, детей и старцев; злодеяния их заставляют содрогнуться самую натуру человеческую». «Таковые ужасы наводят на чувствительное сердце прежесточайшую горесть», — писал он впоследствии брату Генриху и повторил то же самое своему министру графу Финкенштейну, посылая ему «перечень поборов, зверств и жестокостей, совершенных русскими», и присовокупил к этому: «Полагаю, что наилучшее для нас из сего употребление состоит в том, дабы публиковать о всех подобных случаях для сведения публики во французских и немецких газетах»^[112].

Впрочем, случалось, что и пруссаки бывали не менее «зверскими», чем казаки. Генрих Катт сохранил для нас следующую поучительную сценку:

«В главную квартиру Его Величества привели пленного калмыка. К нему подошел один из генералов и стал осыпать несчастного бранью, каковую тот совершенно не разумел. Увидев на шее калмыка какое-то украшение, генерал хотел прикоснуться к нему своей тростью. Пленник, думая, будто хотят отнять его бога, закрыл оно обеими руками. Тогда разгневанный генерал стал бить тростью по рукам калмыка с такой силой, что они сделались черными. Но тот крепко держался за своего бога и только жалобно смотрел на пруссака, который продолжал бить его уже по лицу. При виде сего зрелища кровь бросилась мне в голову, и я сказал ему, что хотя казаков и калмыков обвиняют в варварстве, но некоторые люди еще худшие варвары»^[113].

Между обоими немцами последовала жаркая перепалка, но когда Катт пригрозил, что об этом случае может узнать король и посчитать себя оскорбленным в своих принципах человеколюбия, генерал смягчился и просил не вспоминать более о случившемся.

Чтобы встретиться с неприятелем, Фридрих не пожелал идти ни к слишком удаленному Шведту, ни к Кюстрину, где он оказался бы перед самыми русскими позициями, а направился туда, где Фермор мог менее всего ждать его. Таким местом было избрано Густебизе на Одере. Это позволяло также отрезать от главной армии Румянцева, которому неоднократно подтверждался приказ прочно закрепиться в Шведте. Король сохранял свои приготовления в величайшей тайне и сумел обмануть обоих своих противников ложными демонстрациями на Одере. В ночь на 23 августа по спешно наведенным мостам был переправлен авангард генерала Мантейфеля, вслед за которым последовал и сам Фридрих с 1-м гусарским полком. К 3 часам ночи вся армия уже перешла на другой берег Одера. Солдаты были возбуждены этим первым успехом. «Отец! — восклицали они. — Скорее веди нас на врага. Мы победим или умрем за тебя!»

Начиная с 21 августа разъезды донцов сообщали Фермору о массовом передвижении прусских войск в северном направлении по левому берегу Одера. Однако командующий не придавал этому особого значения и еще раз подтвердил свой приказ Румянцеву надежно удерживать Шведт, а сам, разрушив Шаумбургский мост, сосредоточился на укрепленных позициях под стенами Кюстрина. Однако 22-го Хомутов, один из кавалерийских командиров, сообщил, что пруссаки подходят к Густебизе. Тогда главнокомандующий снял самые близкие к Кюстрину осадные батареи, усилил аванпосты, чтобы скрыть свое отступление, и последовал на северо-восток, что едва не привело почти к лобовому столкновению с прусским королем. Теперь уже никак нельзя было избежать генеральной баталии.

Местность, где должны были встретиться обе армии, представляла собой замкнутое

пространство протяженностью 10 км с севера на юг и 12–15 км с запада на восток. На западе она ограничивалась лесом и Одером, с юга — заболоченным берегом Варты, а с севера Митцелем — другим притоком Одера. Восточная же сторона прикрывалась обширным Цихерским лесом. Внутри юго-западного угла расположен Кюстрин, внутри северо-западного — деревня Куцдорф, а в центре самого поля — деревня Цорндорф.

Русская армия попала в весьма опасное положение. Правда, с севера ее отделяла от Фридриха II река Митцель, но это было весьма слабое препятствие, проходимое в любом месте. Если бы войска подались назад, они увязли бы на заболоченных берегах Варты или их прижали бы к Кюстрину. Отступление? Но отступить можно было лишь по дороге из Кюстрина в Бромберг, имея справа болота Варты и открытый для нападения левый фланг. Но главную опасность представлял собой сам Кюстрин, стоящий на вершине образованного Вартой и Одером угла. Да и северо-западный угол у Куцдорфа был еще одним тупиком, второй «лузой» на этом бильярдном поле. Игра с таким сильным партнером немало беспокоила Фермора, тем более что для защиты у него оставался, да и то всего на несколько часов, лишь ручей Митцель. Отступление же было еще опаснее, чем оборона у Цорндорфа.

К счастью для Фермора, севернее этой болотистой и заросшей кустами местности, откуда его могли загнать в южные болота и уничтожить там, обозначались приземистые холмы Кварчен, которые были обращены крутизной к Митцелю, а пологостями к Цорндорфу. Именно на этих высотах в 10–11 км от Кюстрина и закрепился Фермор, построив свою армию в две параллельные линии фронтом к Митцелю. Прямо на юг, у деревни Грос-Каммин, на единственно возможном пути к отступлению, под охраной нескольких полков был поставлен в виде вагенбурга «тяжелый обоз», окруженный рвами и палисадами^[114].

Русская армия состояла из 30 тыс. пехотинцев, 3282 всадников регулярной кавалерии и 3 тыс. нерегулярной. Она имела 190 пушек полковой артиллерии и 50 батарейной.

Когда Фридрих узнал о занятой русскими позиции, он решил не атаковать их по фронту. Что касается атаки на западный фланг^[115], то в случае успеха это облегчило бы неприятелю отступление, а при неудаче можно было и самому оказаться зажатым в опасном северо-западном углу. Зато при атаке на восточный фланг он подвергался лишь риску быть отброшенным к Цихерскому лесу, и в то же время появлялась возможность опрокинуть неприятеля в Одер или Варту, а может быть, даже подогнать его под пушки Кюстрина. Но Фридрих II придумал еще лучше — занять позицию в тылу у неприятеля, отрезать его от вагенбурга в Грос-Каммине, захватить деревню Цорндорф, где сначала была главная квартира Фермора, и, наконец, атаковать, пользуясь пологими спусками Кварчена.

Этот смелый план давал еще одну возможность — нанести сильнейший удар по моральному состоянию неприятеля, появляясь последовательно то с фронта, то с его правого фланга и тыла; породить замешательство в этой еще необстрелянной армии; вселить в нее ужас перед тем, что она окружена и отрезана.

Все утро 24 августа прусские войска отдыхали на другом берегу Митцеля. В час пополудни король послал авангард Мантейфеля к мельнице Нейдам, чтобы занять там круговую позицию в две линии. Еще через час к реке подошла и вся остальная армия. Только около пяти часов русские узнали об этих передвижениях, но не меняли своей диспозиции.

Так прошла ночь. Опасаясь какой-либо неожиданности, например, внезапного перехода неприятеля через реку, русская армия оставалась в полной боевой готовности. 25-го в три часа утра Фермор слегка изменил расположение войск, отведя обе линии на несколько десятков шагов к тылу.

Вечер 24 августа Фридрих провел за разговорами с Каттом об искусстве оды, Малербе и

Расине. Он развлекался перефразированием нескольких строф «Аталии» и стихов Жана Батиста Руссо, и Катт не упустил случая сказать ему комплимент: «Полагаю, ни один из ваших генералов никогда не развлекался поэзией накануне битвы». Затем король отдал своим помощникам последние приказания и предложил Катту винограда, сказав: «Кто знает, доведется ли еще отведать сего фрукта?» После этого он пошел отдыхать и спал так глубоко, что камердинер лишь с большим трудом разбудил его.

Фридрих был на ногах уже до рассвета, в три часа утра, и переправил свою пехоту по мосту, сооруженному у мельницы Нейдам. Кавалерия прошла кружным путем и углубилась в Цихерский лес. Через несколько часов пораженные русские увидели, что неприятельская пехота обходит их позиции, а кавалерия дебуширует из леса около Бацлова. Намерение короля застать Фермора врасплох полностью удалось. Русские были совершенно отрезаны и от своего вагенбурга, и от линии отступления.

Однако Фермор не потерял голову, и можно только удивляться тому, как быстро он переменял свою диспозицию. Вся пехота была повернута в обратную сторону, вторая линия стала первой, а правый фланг — левым. Пушки, первоначально направленные на реку, он приказал протащить между батальонами и оборотить в сторону Цорндорфа. «Легкий обоз» был отведен к Кварчену вместе с армейской казной, штабом, канцелярией и лазаретами. Все эти перестроения закончились к 9 часам утра.

Тем не менее в положении русской армии не было ничего хорошего. Теперь в тылу у нее оказался глубокий овраг, а на правом фланге — река Одер, и с этой стороны не оставалось никаких путей для отступления. По фронту находились пологие склоны, а над занимаемыми ею холмами господствовали высоты Цорндорфа. В центре овраг Гальгенгрунд разделял армию как бы на два отдельных корпуса: Фермора и Броуна, оба они едва могли сообщаться друг с другом. И наконец, тот и другой не имели достаточно пространства для маневрирования, и войска стояли, тесно скучившись. Рассмотрев их позиции, Фридрих воскликнул: «Здесь не пропадет даром ни одного ядра!»

Король занял позицию позади деревни Цорндорф, но, поскольку легкая кавалерия русских уже успела зажечь ее, пожар сильно мешал пруссакам. Дым ухудшал видимость на поле сражения, а через горящую деревню нельзя было провезти зарядные ящики.

Фридрих построил свою пехоту к югу от Цорндорфа в две линии (20 и 10 батальонов), расположив впереди нее 8 батальонов авангарда. В то время на вторую линию предпочитали ставить худшие войска. Справа от всей армии находились 12 гусарских эскадронов Шорлемера, а слева стоял Зейдлиц — один из «величайших кавалерийских генералов всех времен и народов». У него было 56 эскадронов, к которым он мог присоединить еще 15 запасных.

В 9 часов утра две прусские батареи (20 и 40 пушек) открыли жесточайший огонь по правому флангу русских, но они с живостью отвечали на него. В этой артиллерийской дуэли преимущество оставалось за пруссаками, поскольку они занимали господствующую позицию, а их противники находились на совершенно открытом месте. К тому же знаменитые шуваловские гаубицы, на которые столь надеялся Фермор, стояли слева, у Броуна. В сплошной массе русской пехоты прусские ядра производили ужасающие опустошения: например, одно из них поразило сразу 48 человек. Пушки срывало с лафетов, зарядные ящики взрывались. Как сказал один прусский офицер, свидетель сражения, на памяти человеческой не бывало еще столь оглушающего грома.

Русская пехота в течение двух часов стоически выдерживала этот адский огонь «с неустрашимой и неслыханной доселе твердостью», как сказано в донесении Фермора, что было также подтверждено и иностранными волонтерами. Однако не все были способны на

героизм русского пехотинца, некоторые бежали, и среди них особенно поспешно принц Карл Саксонский. Еще совсем недавно его принимали с королевскими почестями в русском лагере и салютовали 21 пушечным залпом^[116].

Как раз в эти решительные часы, быть может, после первой атаки Зейдлица, сам Фермор тоже куда-то подевался. Впоследствии так и осталось неизвестным, где он мог тогда находиться. Принц Карл обвинял его в том, что он сказал графу Сент-Андре: «Если понадобится, я дойду и до Шведта». Впрочем, несомненно одно: Фермор больше не отдавал никаких приказов, предоставив командирам бригад и полковникам действовать по собственному усмотрению. Потом говорили, будто его ранило. Если и так, то, несомненно, очень легко. Возможно, это была всего лишь легкая контузия.

Около 11 часов на уже столь жестоко пострадавший правый фланг русских Фридрих бросил 8 батальонов Мантейфеля^[117], которые должны были обойти Цорндорф слева и справа. Русские тем временем выдвинули свои батареи, поддержанные ружейным огнем. На помощь Мантейфелю король двинул пехоту Каница, однако тот уклонился значительно правее и, вместо того чтобы атаковать Фермора, обрушился на Броуна. Баталия происходила теперь одновременно в двух местах.

Корпус Фермора сразу же воспользовался этой оплошностью. Около полудня, перейдя своим правым флангом в атаку, он отбросил наступавшего неприятеля и захватил 26 пушек. Затем русские оборотились на Каница и рассеяли семь из его батальонов. Сам Каниц был тяжело ранен. Однако и русские действовали слишком рискованно, тем более что закрепившийся на высотах Броун не двигался с места.

Зато совсем близко был Зейдлиц со своими 56 эскадронами, в придачу к которым он вызвал на помощь еще 15. Фридрих посылал к нему приказ за приказом атаковать и в конце концов передал, что после баталии он ответит головой за непослушание. Старый воин отвечал на это: «После баталии моя голова принадлежит королю». Наконец выждав благоприятный момент, Зейдлиц обрушил все свои силы на русских (которые имели здесь всего 9 эскадронов и 25–26 батальонов пехоты). Под таким небывалым до сих пор натиском, подобный которому повторился только в эпоху Эйлау, Фридланда и Москвы^[49], неприятель попятился и разорвал свои ряды. Но ураган разбился о 1-й и 3-й Гренадерские полки, выказавшие среди этой катастрофы невероятную стойкость и самообладание: рассеченные прусской конницей солдаты тут и там собирались маленькими группами и ощетиивались против сабель своими штыками.

«... И как сим образом была она (пехота. — Д. С.) и спереди, и сзади, и с боков атакована и поражается немилосердным образом, то и неудивительно, что не помогла ей вся ее храбрость, но все наше правое крыло приведено тем в расстройку и в такой беспорядок, что не было тогда уже ни фрунта, ни линий, но солдаты, раздробившись врозь, уже кучками перестреливались с пруссаками и не столько уже дрались, как оборонялись и жизнь свою продавали неприятелям своим очень дорого. Сами пруссаки говорят, что им представилось тогда такое зрелище, какого они никогда еще не видывали. Они видели везде рассеянных малыми и большими кучками и толпами стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных, и обороняющихся до последней капли крови, и что им легче было их убивать, нежели обращать в бегство. Многие, будучи прострелены насквозь, не переставали держаться на ногах и до тех пор драться, пока могли их держать на себе ноги; иные, потеряв руку и ногу, лежали уже на земле, а не переставали еще другою и здоровою еще рукою обороняться и вредить своим неприятелям, и никто из всех не просил

себе почти пощады»^[118].

Конфидент короля де Катт почти в тех же выражениях описывает это отчаянное сопротивление: «Русские валились целыми рядами, их рубили саблями, но они лежали на своих пушках и не бежали <...> Раненые и уже свалившиеся, они все еще стреляли. Им не давали никакой пощады»^[119].

У цитированного уже прусского офицера вырвался невольный крик восторга: «Что касается русских гренадер, то можно утверждать — никакие другие солдаты не сравнятся с ними».

Отчаянное сопротивление 1-го и 3-го Гренадерских полков позволило выиграть время для перестроения бригад Любомирского, Уварова и Леонтьева и спасло правый фланг от полного разгрома. Однако все три бригадных генерала получили ранения, было потеряно много пушек, все корпуса смешались. Сам главнокомандующий не оказывал никаких признаков жизни. Именно по этой причине вторая линия Фермора оставалась недвижимой, когда уничтожали первую. Но ее твердая выдержка остановила прусскую атаку на этом направлении. Солдаты Зейдлица находились в седле с трех часов утра, и он отвел свою кавалерию за Цорндорф, чтобы она могла хотя бы перевести дух.

Фридриху пришлось отказаться от намерения покончить с правым флангом русских; он был очень недоволен этим полууспехом, и у него вырвались слова: «Dass sich Gott im Himmel erbarme!»^[120] Но, как передает присутствовавший при сем де Катт, «принц Ангальт-Дессаусский, видя, что дело принимает дурной оборот, и не очень-то одобряя восклицание короля, подкинул свою шляпу в воздух и зычным голосом прокричал: „Да здравствует король! Победа!“» Затем принц Мориц и генерал Бюлов, видя в рядах пехоты растерянность, обратились к солдатам: «Друзья, идущие перед вами люди — русские пленные. Да здравствует король! Вперед!»^[121]

Не сумев покончить с правым флангом неприятеля, Фридрих решил перенести основной удар на его левый фланг, который не смогла сломить атака Каница.

Теперь прусская армия располагалась почти перпендикулярно той линии, где она была в самом начале. Против 27 батальонов Броуна король мог выставить только 13 или 14 графа Доны, а также взятых из его собственной второй линии. Мало надеясь на эту пехоту, которая состояла по большей части из прусских «медвежьих шапок», и для того, чтобы дать хоть небольшой отдых кавалерии, он выдвинул вперед пушки, поставил у Цихера большую батарею и хотел возобновить тот убийственный огонь, который с утра вел по левому флангу русских.

Тем временем Броун решился атаковать, что было довольно дерзко, учитывая качество его пехоты. Но зато именно здесь русская кавалерия превосходила прусскую, а артиллерия с ее шуваловскими гаубицами не оставляла желать ничего лучшего. Сначала русские пытались сбить кавалерийской атакой позицию на Цихере, но стоявшие там батарея и батальон пехоты были вырваны конницей Шорлемера. Тогда Броун послал туда кирасир Демику, и эти железные люди пронзили линии Доны и Форкаде.

После этого схватились русская и прусская пехота, но последняя не выдержала — ядра гаубиц, устремившаяся на нее стена штыков и новая атака конницы Демику вселили в солдат панический ужас. Не дожидаясь удара русской пехоты, они побежали. Вахмистр Казанского кирасирского полка Иван Семенов захватил прусское знамя.

И сам Фридрих II оказался в опасности — возле него были убиты пажи, один из адъютантов взят в плен^[122], и понапрасну король трижды со знаменем в руках лично пытался

повести Силезский полк в атаку^[123]. Предпринятая Шорлемером новая атака могла лишь ненадолго отсрочить катастрофу.

На этом фланге битва для Фридриха была проиграна, однако два происшествия поправили дела пруссаков: неожиданно возникшее замешательство среди пехоты Броуна; а затем вторая мощная атака Зейдлица. В отношении первого эпизода предоставим слово Болотову:

«... солдаты наши бросились на попавшиеся им на глаза маркитантские бочки с вином и, разгромив оные, пили, как скоты, вино сие и упивались им до беспамятства. Тщетно разбивали офицеры и начальники их сии бочки и выпускали вино на землю, солдаты ложились на землю и сосали сей милый для себя напиток из земли самой. И сколько померло их тут от вина одного, сколько погибло от единого остервенения, вином сим в них произведенного. Многие в беспамятстве бросались на собственных офицеров своих и их убивали, другие, как бешеные и сумасшедшие, бродили куды зря и не слушали никого, кто бы им что ни приказывал»^[124].

Именно в этот момент вновь появился Зейдлиц с 60 эскадронами (8 тыс. сабель). По своей обычной тактике он обрушил на левый, уже пришедший в замешательство фланг русских сначала кирасир, затем драгун и, наконец, гусар, опрокинувших неприятельскую кавалерию, после чего пруссаки атаковали русскую пехоту и сбросили ее в Гальгенгрундский овраг. Обсервационный корпус был полностью разгромлен. Сам Броун, как сказано в журнале генерал-квартирмейстера Эльмпта, «... после убийства под ним лошади в полон попался, и как оного один офицер Шорлемерского полка не так скоро отвести мог, потому что они от наших гнаны были, то сей офицер двенадцатью ранами его, генерала Броуна, порубил и на месте оставил, на котором наши его в крови лежащего нашли и, позади фрунта отвезши, раны перевязали»^[125]. Под Чернышевым убило двух лошадей. Все бригадные генералы были или ранены, или взяты в плен. Именно на этом фланге пруссакам досталось больше всего пушек и знамен.

Только Гальгенгрундский овраг и твердая выдержка полков Фермора, стоявших по другую его сторону, спасли остатки корпуса Броуна, остановив гнавшую их конницу Зейдлица. Пруссакки поскакали к Кварчену, где у них завязались стычки с ветеранами Фермора, в результате которых был разграблен русский обоз, а раненые генералы, в том числе Салтыков, Чернышев и Тизенгаузен, взяты в плен.

Что касается прусской пехоты, натиск которой в этот момент мог бы решить исход битвы, она никак не могла ни перейти Гальгенгрунд, ни атаковать Кварчен. Сюда, несомненно, относится рассказ самого Фридриха II, столь характерный для военных нравов того времени. Желая защитить своих пехотинцев от обвинения в трусости, король, как нам кажется, делает им не менее тяжкий упрек: «Несколько раз пытались послать войска вперед, однако через недолгое время они всякий раз возвращались вспять, непонятно по какой причине. Оказалось, что походная казна и багажи русских генералов были в этом овраге, и солдаты вместо атаки развлекались грабежом и приходили назад со своей добычей»^[126]. По донесениям Фермора, из армейской кассы было потеряно 30 тыс. руб. Но остановила пруссаков не только жажда наживы — свою роль сыграл также мушкетный и артиллерийский огонь полков Фермора.

В семь часов Фридрих еще раз попытался увлечь в атаку свою вторую линию, но безуспешно. Генералы даже не смогли навести там порядок. Пехота откатывалась назад: и бранденбуржцы, чью землю теперь защищал король, и солдаты из Восточной Пруссии и

Силезии.

Только теперь русские почувствовали, что у них есть главнокомандующий. Фермор приказал строиться фронтом к Цихеру, но, чтобы достичь его, пришлось бы оголить для атаки неприятеля Кварчен. Поэтому с половины девятого вечера сражение превратилось в артиллерийскую дуэль. Русские сохранили свои позиции на высотах, но уступили часть местности, которую занимали с самого утра. Именно там немцы могли взять много пушек, брошенных прислужгой. Прусская армия оставалась разбросанной от Цорндорфа до Вилькерсдорфа. Она тоже оставила часть своих позиций вместе с пушками, однако ночью все они были возвращены.

Вечером Фридрих II обнял Зейдлица и сказал ему: «В который уже раз я снова обязан вам победой!» На барабане он написал письма к королеве, своей сестре маркграфине Байрейтской, брату Генриху и государственному министру Финкенштейну. Король сообщал всем, что «поколотил» русских. Лишь «темнота помешала преследовать их», и только что принесли известие о «сдаче Фермора, хотя я еще не вполне уверен в этом». Все подробности откладывались до завтрашнего дня. Принцу Генриху он признался в том, что «не всегда мог получить от пехоты всю необходимую помощь»^[127]. С де Каттом Фридрих был более откровенен и выразителен:

«Сегодня ужасный день, в какой-то момент мне показалось, что все летит к черту. Так оно и случилось бы, если бы не мой храбрый Зейдлиц и не отвага правого фланга, особенно полков любезного моего брата и генерала Форкаде. Поверьте, мой друг — они спасли и меня, и все Королевство. Признательность моя будет жить столько же, сколь и добытая ими слава. Но я никогда не прощу эти прусские полки, на которые я так рассчитывал. Сии скоты удирали, как старые б...и, и мне было смертельно больно смотреть на все это. Их охватил необоримый панический ужас. Сколь тяжело зависеть от такой толпы мерзавцев!»^[128]

Затем он осчастливил своего конфидента стихами собственного сочинения:

Quel vainqueur ne doit qu'a ses armes Ses triumphes et son bonheur...

«Быть может, он и закончил бы строфу, если бы тут не принесли хлебцы с маслом». Де Катт признался ему, что «ничего не понял во всех производившихся маневрах», и король ответил на это: «Утешьтесь, здесь вы далеко не единственный»^[129].

Даже в глазах де Катта король старался показать себя неоспоримым победителем, хотя на самом деле это было не столь уж очевидно. Обе стороны понесли чувствительные потери: через несколько дней русские сообщали о 10 886 убитых и 12 788 раненых; затем общие потери были снижены до 18 тыс. и 2882 попавших в плен. Они потеряли также 100 пушек и 30 знамен. У пруссаков эти цифры составляли 12 тыс. чел., 26 пушек и несколько знамен^[130]. И та, и другая армии были обессилены: все не спали уже две ночи и сражались с девяти часов утра до половины девятого вечера. Многие офицеры и генералы получили ранения, а прусская армия потеряла доблестного Цитена. Положение обеих сторон было одинаково критическим, но, быть может, несколько лучшим у русских; хоть они и оказались отрезанными от своего вагенбурга и от пути отступления, но зато прочно удерживали высоты. В то же время их противники были разбросаны по всей долине. Кроме того, русские каждую минуту ожидали подхода Румянцева с 10–13 тыс. свежих войск, а Фридриху II нечего было и надеяться на какие-то подкрепления.

В конечном счёте возможности сражающихся уравнились. Русская артиллерия почти все время сохраняла свое превосходство; число взятых у нее пушек свидетельствует лишь о плохих упряжках и дурной охране. По большей части это были брошенные орудия. Прусская кавалерия снова проявила свои несравненные качества. Пехота и с той, и с другой стороны в равной степени попадала в катастрофическое положение, однако русские заставили восхищаться собой даже врагов, в то время как прусские пехотинцы выказали какую-то необычную для них трусость. И на другой день их было бы труднее вывести под огонь, чем русских. Но, даже полагая, что 25 августа преимущество осталось за Фридрихом, нельзя утверждать, одержал ли бы он победу, продлился сражение и на следующее утро. Во всяком случае, Фермор даже и не помышлял о том, чтобы уступить ему.

Фридрих предавался чрезмерной игре воображения, когда на другой день сообщал английскому королю: «После продолжавшейся десять часов баталии мы одержали победу. Русские бегут в Польшу»^[131]. Он был значительно ближе к истине, приказывая передать государственному министру Финкенштейну: «Сейчас тем более необходимо возместить цену сей победы <...> Король накануне новой баталии с русскими, кои хотят еще раз попытать счастья в сражении. Никогда еще не бывало столь упорного противника»^[132].

Действия Фермора наутро, 26 августа, свидетельствовали скорее о наступлении, чем об отходе. Он присоединил правый фланг к левому и отправил обоз от Кварчена на Цорндорф. Однако из-за недостатка воды на высотах ему в конце концов пришлось тоже спуститься к Цорндорфу. Пруссаки отошли немного севернее: пехота к Цихеру, а кавалерия на Вилькерсдорф. Казалось, что они хотят пропустить Фермора к вагенбургу для отступления в сторону Бромберга, иначе говоря, предоставить неприятелю «золотой мост». Однако русский главнокомандующий отнюдь не спешил идти именно в том направлении, которое было желательно для Фридриха. Драгуны, а потом и казаки Ефремова тревожили прусскую кавалерию до самого Вилькерсдорфа. Прикрываясь этой подвижной завесой, Фермор приступил к устройству сильных батарей и возобновил обстрел прусских позиций с дистанции 1200 шагов. Казалось, он завязывает ту самую вторую баталию, которую Фридрих предрекал в письме к Финкенштейну.

Весь день 26 августа король ничего не предпринимал. Разоренной пожаром крестьянке, которая пришла к нему просить места для своего сына, он ответил: «Бедняга, как я могу дать ему место, когда не знаю, удастся ли самому удержаться на моем собственном?»^[133] Чтобы объяснить свое почти боязливое бездействие, он напишет потом: «Будь у нас достаточно боевых припасов, атака несомненно возобновилась бы, но приходилось сдерживать канонаду, чтобы не остаться совсем без пороха»^[134]. То, о чем Фридрих говорил де Катту, показывает, что теперь ему вспомнились слова фельдмаршала Кейта, и он уже раскаивался в своем чрезмерном пренебрежении к противнику. Король повторял: «Хорошая пехота, дурные генералы», или: «Хорошая пехота, стойкая, но неопытная в маневрах, не умеет перестраиваться. Однако же она выстояла». Удалившись в шатер, он стал читать поэму Лукреция «О природе вещей», к которой всегда обращался, будучи в печальном расположении духа. Это был его молитвенник для сумрачных дней. «Вот видите, я взялся за Лукреция, — сказал он де Катту, — значит, мне совсем грустно». Потом у него вырвалось: «Завтра уйдем отсюда от тех, кого я не смог уничтожить». Очевидно, речь уже не шла о том, чтобы сбросить русских в Варту, или неотступно преследовать их, или принять капитуляцию Фермора, или, на худой конец, хотя бы наблюдать за их «бегством в Польшу». Фридрих уже не был Цезарем, изрекшим свое «Veni, vidi, vici», а лишь меланхолически задумчивым философом.

Фермор приказал тут же на поле сражения отслужить благодарственный молебен с обязательными в подобных случаях артиллерийскими залпами и мушкетной пальбой^[135]. Он послал барона Розена с донесением к царице об одержанной «победе»^[136], в котором оценивал силы пруссаков как 69 тыс. чел., хотя на самом деле они не превышали 32 тыс. Описывая далее прусские атаки, он присовокупляет:

«Армия Вашего Императорского Величества не уступила неприятелю ни единого вершка земли ..., хотя сей последний имел на своей стороне не токмо авантаж ветра, но также и числительное превосходство. <...> В конце концов король прусский принужден оказался к ретираде с поля баталии. Мы провели всю ночь на виду у неприятеля, а заутро опять построились в ордер-де-баталии»^[137].

Фермор признается, что не решился на атаку и ограничился только огнем артиллерии. Затем следует описание наступательных маневров неприятельской конницы, но «преужасный огонь наших пушек принудил оную оборотиться в бегство». Фермор не скрывает значительность собственных потерь, однако «было взято немалое число пленников, захвачены пушки и знамена, несомнительные трофеи нашей победы». Он не преминул уколоть принца Карла и генерала Сент-Андре, которые «сбежали, не надеясь на счастливый исход сего дела». (Известно, что оба они сполна отплатили ему хулою при своих дворах.) Фермор объясняет, что не предпринял атаки на следующий день по причине большой убыли людей в полках и совершенно расстроенного состояния корпуса Броуна. В донесении русского главнокомандующего было, во всяком случае, не меньше правды, чем в тех бюллетенях, которые Фридрих II через своего министра Финкенштейна рассылал по всем ветрам для всеевропейской известности.

Единственная ошибка Фермора заключалась в том, что он послал к генералу Доне парламентаря с предложением перемирия на два или три дня для похорон всех убитых. На это, естественно, последовал ответ, что поскольку победу одержал король, то сие остается на его попечении. Но каждая армия занимала свою часть поля битвы, и забота о павших и раненых соответственно разделилась между ними.

Если верить Болотову, то на стороне королевской армии творились ужасающие дела:

«А мужики так были на них (русских. — Д.С.) злы, что как пруссаки согнали их несколько тысяч и заставили рыть ямы и погребать побитых, то метали они в оные не только мертвые трупы, но и самих тяжелораненых, лежащих беспомощными на месте сражения и зарывали их живыми в землю. Тщетно несчастные сии производили вопли, просили милосердия и с стенаниями напрягали последние свои силы, стараясь выдираться из-под мертвых трупов; но вновь накиданные на них кучи придавливали оных и лишали последнего дыхания»^[138].

Впрочем Болотов вообще склонен к патетике, и сам он не присутствовал на том месте, хотя король не очень-то церемонился с пленниками, в том числе и с генерал-лейтенантом Чернышевым. Все они были отправлены в Кюстрин и посажены по казематам. На их жалобы о дурном содержании Фридрих велел ответить, что они сами виноваты в сожжении города.

Конечно, короля заботили не русские, оказавшиеся в плену, а те, которые все еще занимали высоты Картшена, где с минуты на минуту мог появиться Румянцев и откуда велась эта докучливая канонада.

По рассказу Катта, до короля долетала картечь, и полковник Шверин, сопровождавший

его на рекогносцировке, сказал ему: «Разве вы не видите, что целются прямо в вас? — Нет, не вижу. — Э, черт возьми! Но пули в двух шагах от вашей лошади, вы хоть слышите? — Все это вздор, г-н Шверин! — Ну, что ж, оставайтесь здесь, если вам так нравится! А мое место во главе полка, которым я имею честь командовать».

Еще 27 августа Фридрих писал министру Финкенштейну, «что здесь может произойти еще одна баталия, если к армии неприятеля присоединится генерал Румянцев»^[139]. Но такая битва зависела только от него самого, благодаря тому счастливому для пруссаков обстоятельству, что Румянцев так и не появился.

Фридрих II занял позицию к юго-западу от Цорндорфа, за три километра до кюстринских предместий. Возможно, он предполагал отступить по мостам этого города в том случае, если Фермор не ретируется первым. Но 27 августа русские, обойдя Цорндорф с юга, смело направились к Грос-Каммину, где пруссаки даже и не беспокоили их вагенбург. Они двигались двумя колоннами, между которыми ехали повозки с ранеными и безтягловыми пушками, влекомыми вручную солдатскими упряжками. Это было весьма слабое построение, в случае если бы пришлось отражать серьезную атаку. Но Фридрих удержался от такого соблазна. Он только наблюдал, скрестив руки на груди, за этим грозным отступлением русской армии. Его войска скорее сопровождали, чем преследовали ее. Когда гусары слишком приближались к арьергарду Фермора, их встречали пушечными выстрелами.

В этот же день Фридрих сообщил Финкенштейну, что «дела принимают здесь более благоприятный оборот». Румянцев поспешно оставил свою позицию у Шведта и отступал к Ландсбергу для соединения с большой армией. 29-го король получил сведения об австрийской армии (Лаудона), которые побудили его тоже готовиться к отступлению. Он не отказал себе в удовольствии уведомить маркграфиню Байрейтскую, что в происшедшей баталии было уничтожено 30 тыс. русских^[140], а в разговоре с Кейтом еще и поиздеваться над противником:

«Сегодня с сих варваров моих нечего было даже и взять, кроме кучи раненых и их жалких пожитков. Видели, что они сотворили с этой несчастной деревней? <...> Если бы Вольтер посмотрел на все это, вот было бы крику: „Ах, варвары! Ах, разбойники! Да неужели вы еще надеетесь попасть в Царствие Небесное?“»^[141]

И прибавил:

«Государи, пользующиеся подобным войском, должны сгореть от стыда. Они виновны и отвечают перед самим Богом за все содеянное зло».

Но все-таки Фридрих не бросился преследовать этих «поджигателей», а довольствовался лишь тем, что подбирал за ними кое-какие крохи их «жалких пожитков».

Фермор соединился в Ландсберге с дивизией Румянцева, а король 2 сентября выступил сначала на Кюстрин и затем пошел в Силезию.

Теперь, имея перед глазами все прямые следствия битвы 25 августа, самое время рассудить, кто же все-таки был победителем при Цорндорфе. Вообще говоря, победителем следует считать того, кто в результате сражения добился тех результатов, на которые рассчитывал при его начале. Фридрих хотел сбить русских с позиции и опрокинуть их в Варту, но ничего из этого не получилось. Напрасно выбирал он позицию то к югу, то к востоку от занятых неприятелем высот, напрасно метался вокруг них как лев, *quarens quiet devoret*^[142], все было безуспешно, да и сам он оказался отброшенным в долину. Весь день 26

августа ему пришлось терпеть наскоки неприятельской кавалерии и надоедливый огонь его батарей, 27-го он отошел к Тамзелю, оставив русским их вагенбург и путь к отступлению. Они же дошли почти до самого Тамзеля, продефилировали под носом у пруссаков, как бы предлагая своим воинственным строем сразиться в третий раз. И если бы русские оставались на исходных позициях, то, как мы видели, уходить пришлось бы Фридриху. И впоследствии, имея перед собой лишь их арьергард, прикрывавший двойную колонну, загроможденную лазаретными фурами, влекомыми вручную пушками и двигавшуюся по столь опасному берегу Варты, король даже не пытался начать сколько-нибудь серьезное преследование. Он ограничился тем, что сопровождал их до Блюмберга и захватил несколько отставших повозок. Конечно, и Фермор не достиг поставленной цели — взятия Кюстрина, так же как и Фридрих не разгромил русских. В качестве более отдаленных следствий Цорндорфской битвы отметим, что разгром корпуса Броуна, и без того слишком вялого, а также тяжелые потери Фермора помешали предпринять что-либо значительное во время осенней кампании. Но и у пруссаков урон был не менее чувствителен. Когда Фридрих снова оказался перед австрийцами под Гохкирхеном (14 октября)⁴⁵⁰, ему не доставало как раз тех самых «силезских чертей», которыми он пожертвовал у Цорндорфа. Поэтому гохкирхенское поражение можно считать эпилогом резни 25 августа.

Если рассматривать Цорндорфское сражение как само по себе, так и по своим последствиям, то для пруссаков его можно считать одним из тех, исход которых остается нерешенным. В своем недавнем тосте за «победителей Цорндорфа» император Вильгельм II вполне мог ошибиться адресом.

Глава девятая. Русская армия после Цорндорфа



В кампании 1758 г. Фермор не проявил себя великим полководцем. Он не решился атаковать Дону до соединения его с Фридрихом II, расплыл свои силы по всему правому берегу Одера от Кюстрина до Шведта и способствовал их дальнейшему раздроблению, посылая Румянцева на север, а когда тот самовольно возвратился, неоднократные приказы главнокомандующего оставляли его в бездействии у Шведта. Окажись Румянцев при Цорндорфе, полный разгром Фридриха II был бы неминуем. Когда Фермор снял осаду Кюстрина и занял позицию к югу от Цорндорфа, он ничего не сделал для того, чтобы не дать противнику переправиться через Митцель. Отослав не только Румянцева, но и почти всю легкую кавалерию, Фермор лишился разведок, и появление прусского короля было для него чуть ли не полной неожиданностью. Он не сумел правильно распределить свою полевую артиллерию: загромоздил пушками левый фланг и обнажил правый. Но в двух отношениях Фермор заслуживает похвалы: во-первых, за выбор позиции на высотах, с которых его так и не могли сбить; во-вторых, за быстрый поворот фронта, благодаря чему армия оборотилась лицом к наступавшему с юга противнику.

Почти в самом начале баталии главнокомандующий внезапно исчез, и все действия войск лишились общего руководства — отсюда и те несогласованные дерзкие атаки сначала на правом, а потом на левом фланге, окончившиеся разгромом пехоты; отсюда бездействие левого крыла во время боя на правом и та вялость второй линии правого фланга, когда погибала первая. Только после жестоких испытаний этого дня у почти уже побежденного Фермора вдруг открылись таланты тактика. Колебания и робость вдруг сменились на другой день быстрыми и твердыми решениями. И, наконец, отважная диверсия 27 августа, которая переросла во внушительное и почти триумфальное отступление.

Хотя Фридрих II и зачислил Фермора в «дурные генералы», но по всем указанным причинам он не так уж и плохо выглядит в русской военной истории, и его можно поставить между победителем при Грос-Егерсдорфе Апраксиным и кунерсдорфским триумфатором Салтыковым. Цорндорф — битва с неопределенным исходом, то ли победа, то ли поражение, но любая армия могла бы золотом начертать ее на знаменах своих полков.

Сцены замешательства, грабежа и пьянства, порочащие добытый успех, можно вменить лишь нескольким батальонам того самого корпуса, в котором никогда с самого его основания не было порядка и дисциплины. На протяжении всего сражения русский пехотинец проявил неколебимую стойкость и героическую храбрость; кавалерия, хотя и в малом числе, была отважна и предприимчива. Артиллерия, несмотря на пороки организации, неизменно сохраняла свое превосходство над прусской и даже над всеми другими армиями той эпохи.

Русская армия, как мы видели, внушила теперь уважение тому самому прусскому королю, который до сих пор выказывал по отношению к ней одно лишь презрение.

«Сам король ужаснулся, увидев, с какой непоколебимостью и неустрашимостью дралась наша пехота, и пруссаки сами в реляциях своих писали, что нас легче побивать, нежели принудить к бегству, и что солдаты наши дают себя побивать при своих пушках и бочках с вином, и что простреливание человека еще недостаточно к совершенному его низложению. Словом, все пруссаки с сего времени начали уже иначе думать о наших войсках и перестали солдат наших

почитать такими свиньями, какими почитали они их прежде»^[143].

Однако царское правительство отнюдь не выказывало этой армии всей той благодарности, которой она, несомненно, заслуживала. В реляции Фермора от 26 августа проскользнула такая фраза: «... и аще бы солдаты во все время своим офицерам послушны были и вина потаенно сверху одной чарки, которую для ободрения выдать велено, не пили, то бы можно такую совершенную победу над неприятелем получить, какова желательна ...»^[144] Он имел, конечно, в виду те позорные сцены, которые происходили на левом фланге. Конференция потребовала разъяснения этих загадочных слов. В чем заключались эти акты неповиновения? О каком вине идет речь? Фермор был вынужден прислать дополнительные объяснения, в которых обвинил слушников еще и в грабеже казенных денег. В результате его обвинений появился царский манифест к армии, составленный в самых жестких, но совершенно несправедливых выражениях, поскольку ни Фермор, ни царица не делали никакого различия между отдельными корпусами. В манифесте от 13 сентября 1758 г., обращенном к «нашему вернолюбезному ныне в походе находящемуся регулярному и нерегулярному войску», после краткой похвалы за «храбрость и неустрашимое мужество» говорится следующее:

«Но как притом, к крайнему сожалению и гневу Нашему, слышим Мы, что в то самое время, когда победа совсем на нашей стороне была, и неприятель, пораженный, в великом смятении бежал, некоторыми своевольными и не наказанными токмо, но мучительнейшей смерти достойными, солдатам не токмо голос к оставлению победы и к отступлению назад подан, но число сих своевольников так бы умножилось, что они, отступая, неминуемо и многих других, в твердости еще пребывших, — в бег с собою привлекли, определенным от Нас, по дарованной Нам от самого Бога власти, — командирам послушны явились и в то время за мерзкое пьянство принялись, когда их долг, присяга и любовь к отечеству кровь свою проливать обязывала. Велик и праведен Наш гнев, когда Мы только об оном послушании рассуждаем, оный еще гораздо большим становится, когда при том все пагубные последствия становятся, то Мы об них распространяться не хотим. Каждый солдат теперь, конечно, сам чувствует и обличается совестью, что, ежели б всякий должность свою исполнял и места своего не покинул, неприятель, и без того побежденный, был бы совсем истреблен, и теперь ни новых нападений от него ожидать или ни к новым сопротивлениям готовиться, но во всяком спокойствии и безопасности приятно токмо плоды собирать осталось бы. С трепетом и ужасом долженствует каждый помышлять, что наибольший в нашей армии урон причинен не от неприятеля, но токмо от помянутого послушания, ибо бегущим же вслед их или по тем, кои, оставшись на месте, в непоколебимой твердости бесчестный и поносный их побег прикрывали и победу одержали, и кои славным навеки примером верности к своему государю и отечеству в незабвенной памяти пребыть, а не мишенью, своевольной и наказания достойной стрельбе, — служить имели»^[145].

Пусть читатель только вообразит себе оторопь казаков и гренадер, когда им зачитывали эту проповедь с бесконечными и выпендренно-непостижимыми для них фразами, в которых бесконечно повторялось о «матерном соболезновании» и «праведном и неизбежном наказании Господнем». Я не предлагаю сравнивать подобный манифест с бюллетенями

Наполеона к Великой Армии, но подобный стиль российской канцелярии в век Фридриха Великого неопровержимо свидетельствует о том, что елизаветинской России еще предстоял долгий путь, прежде чем она сможет называться истинно европейской страной. И если русская армия была уже способна сражаться с войсками Фридриха II, то ее канцелярские бюрократы, да и сама царица, оставались по своему литературному и умственному развитию на уровне византийских логофетов^[146].

Не чуждый культуре Фермор, наверно, лишь пожимал плечами, читая этот манифест. Однако, как царедворец, он приказал: «Списать верные копии, в каждую роту по экземпляру отдать, с таким именно подтверждением, чтобы всякий ротный командир в обыкновенные дни, после артикулов^[147], оную в своем присутствии каждый для лучшего солдатам (понимания) в периоды толковать велел, или самим толковать, ибо таким образом (Государыни) соизволение исполнено было бы, а те, которые за послушание и продерзости, внутренне угрызая совесть, восчувствуя и признавая свое преступление, поправиться могут»^[148]. Этот идиотический текст также был включен в приказ по армии, и дважды в неделю его зачитывали и объясняли во всех ротах.

Г-н Масловский возмущается тем, что Фермор не чувствовал всей униженности этого для солдат и не смог защитить их честь. Будучи весьма обходителен с кёнигсбергскими дворянчиками и университетскими профессорами, он пренебрежительно отнесся к героям Цорндорфа, да еще своими педантскими предписаниями только усугубил свалившиеся на них из Петербурга несправедливые упреки. Масловский приводит выражения манифеста, чтобы указать на «несимпатичные черты» характера Фермора. Но ведь легче всего обвинять командующего за то, что он немец. Разве наиболее вероятный автор этого манифеста — секретарь Волков, а также подписавшие его министры и генералы^[51], да и сама императрица, тоже были немцами?

Более всего Конференция была возмущена пропажей войсковой казны, оставленной в овраге на поле битвы и составлявшей всего-то около 30 тыс. руб. Фридрих II упрекал за ее разграбление своих солдат, а Конференция и Фермор — своих. Очевидно, по приказу из Петербурга главнокомандующий велел поголовно всех обыскать, даже корпус Румянцева, не участвовавший в битве и присоединившийся к армии лишь в Ландсберге. Это было невиданное до тех пор унижение воинской чести и человеческого достоинства.

Получалось так, что по сравнению с несколькими разбитыми винными бочонками и пропавшими пакетами бумажных денег^[52] поразительная стойкость пехоты Любомирского, Уварова и Леонтьева, подвиги конницы Демику, отвага артиллеристов и вообще вся кровь, пролитая во славу русского оружия, — все это не имело никакого значения.

Столь жестоко униженная армия не получила никакой награды. Фермор в некотором смысле признал свое отсутствие или даже бегство в самый критический момент, поскольку он не смог указать на лучшие полки и отличившихся людей. Он представил к награде только тех, кто вместе с ним (после его возвращения на поле битвы) участвовал в восстановлении порядка: генералов Мордвинова, Фаста, Языкова, Демику, Дица и артиллерийского генерала Нотгельфера. Один только князь Любомирский просил наградить командира славного 3-го Гренадерского полка полковника Брандта. Про *donativum*^[149] для тех полков, которые дрались лучше всех, не было и речи; всю армию поставили в один позорный и опальный ряд вместе с Обсервационным корпусом, словно побежденную по ее собственной вине.

Петербургский двор столь же несправедливо согласился с версией Фридриха II, то есть признал, что при Цорндорфе победили пруссаки. В европейских канцеляриях это называли *Фюрстенфельдской* битвой, хотя городок Фюрстенфельде отстоит от места сражения на семь

километров.

Австрийский агент граф де Сент-Андре в своих донесениях пишет о «баталии при Фюрстенфельде» как о поражении русских, хотя за ходом сражения сам он наблюдал лишь издали. Точно так же и французский посланник маркиз де Лопиталь, признавая «доблесть русских войск», «их стойкий отпор прусскому королю», все-таки приписывает победу Фридриху II, хотя «ему пришлось дорого заплатить за это». Кардинал де Берни в ответе де Лопиталю выражает надежду, что царица не упадет духом: «Всякому ведомо, сколь переменчивы успехи оружия; все державы, в нынешнюю войну вовлеченные, попеременно добивались и триумфов, и терпели поражения»^[150].

Однако Елизавета выказывала все ту же твердость и все то же горячее стремление продолжать войну. Доктор Пуассонье смог наконец обследовать ее состояние и посылал в Версаль успокоительные бюллетени о здоровье императрицы. Молодой двор не разоружался, но не имел никаких возможностей что-либо предпринять.

Как же воспользовался Фермор отсутствием Фридриха II, занятого тогда Лаудоном? 30 сентября мы видим всю русскую армию у Старгарда, иначе говоря, он как будто возвратился к мысли о наступательных действиях в Померании, то есть на второстепенном театре, где можно было добиться хоть каких-то успехов, но лишь после соединения со шведами. В Старгарде армия оставалась до 18 октября. Конференция настоятельно требовала от Фермора наступления на графа Дону, но он отговаривался тем, что ему неизвестно, где находятся пруссаки, а у него самого недостает артиллерийских припасов. Однако и Дона сначала был ничуть не лучше осведомлен о русских войсках. Кордоны и набеги казаков не позволяли ему добывать хоть какие-то сведения. Утром 3 сентября он поставил свои ретраншементы у Паскруги против устроенных русскими укреплений, чему весьма способствовал утренний туман. Затем сразу же последовала артиллерийская перестрелка. В 9 часов утра Дона двумя колоннами атаковал позиции Румянцева. После горячей схватки он был отбит, и казаки преследовали его до самой Пирицы.

Тем временем доставленный из Пиллау по морю русский корпус генерала Пальменбаха высадился под Кольбергом и осадил его. Этот важный морской порт перекрывал сообщение между Вислой и Одером и не позволял овладеть Прусской Померанией. В 1807 г. Кольберг тридцать пять дней выдерживал осаду французских войск Луазона и Мортье.

В 1758 г. эта крепость, занимавшая весьма выгодное положение, была сильно укреплена. Пальменбах, несмотря на подошедшее подкрепление и уже открытую траншею, в ночь на 29 октября снял осаду и 8 ноября соединился с Фермором в Темпельбурге.

Российский главнокомандующий, невзирая на настоятельные требования Кауница о присылке 30 тыс. русских в Силезию, считал кампанию 1759 г. уже закончившейся. Он реорганизовал свои войска и заместил раненых и плененных генералов новыми командирами. Армия отходила на Нижнюю Вислу. 26 ноября она переправилась через нее и встала на зимние квартиры.

Конференция опасалась за Восточную Пруссию, и было решено, что если возникнет необходимость уйти из этой провинции, то в ней «все будет уничтожено и сожжено, а мужчины, годные к военной службе, уведены, дабы король прусский не смог рекрутировать там свою армию». Конечно, это была лишь угроза, попытка запугать Фридриха II и его предприимчивых генералов, так как было приказано сообщить об этих решениях командирам прусских аванпостов.

Сам Фермор занимался восполнением того урона, который потерпела его армия. Он требовал у Петербурга 422 офицера, 23 тыс. рекрутов и 6 тыс. лошадей.

Даже после производства в следующие чины гвардейских унтер-офицеров дворянского

происхождения, а также еще не служивших молодых дворян и только что выпущенных кадет удалось заполнить лишь половину офицерских вакансий. Что касается рекрутов, то они начали прибывать в армию только к концу 1759 г.

Фермор проводил также и реформу артиллерии. При Цорндорфе было потеряно 100 пушек, по большей части в полках. Теперь решили довести комплект полковой артиллерии до 208 орудий, а батарейной до 260 и заменить везде негодные пушки гаубицами. Фактически в наличии имелось соответственно только 181 и 105 орудий. Более всего недоставало артиллерийской прислуги, некомплект которой предполагалось восполнить формированием трех артиллерийских полков. Однако даже в следующую кампанию они оставались только на бумаге.

В Петербурге были очень недовольны Фермором, особенно за те привилегии Восточной Пруссии, которыми она не пользовалась даже под властью своих королей. Кроме того, на него яростно нападали граф де Сент-Андре и принц Карл Саксонский. Фермору ставилось в вину то, что не была достигнута ни одна из целей прошедшей кампании — ни в Силезии, ни в Померании, ни в Бранденбурге. Критиковали также ведение денежных дел; наконец, признавалось вредным и то, что войсками православной царицы командовал протестант. Весной 1759 г. он был заменен родовитым русским аристократом — Петром Салтыковым.

Но и во всем мире также происходили немалые перемены. Скучные успехи всей кампании, поражения французов при Миндене и Крефельде (после успехов у Сандерсгаузена и Люттерберга^[53]), потеря Огайо, Акадии^[151], Шандернагора^[54], бесплодность австрийской победы при Гохкирхене и бездействие шведов — все это внесло в антипрусскую лигу семена раздора. Русские были недовольны австрийцами, которые не помогли им, а австрийцы — французами за их слишком частые поражения, так что русским даже пришлось оправдывать версальский двор перед Веной. Воронцов писал, что, несмотря на все неудачи, французы твердо стояли за продолжение войны. Однако кардинал де Берни стал подозревать всех союзников, и его даже обвинили в намерении заключить мир. 13 декабря 1758 г. он был заменен герцогом Шуазелем, не замедлившим подтолкнуть войну к дальнейшему развитию, — 30 декабря был заключен Третий Версальский трактат с Австрией, к которому впоследствии (7 марта 1760 г.) присоединилась и Россия.

Объединившаяся против Фридриха II Европа готовилась к новому и всеобщему напряжению своих сил.

Глава десятая. Битва при Пальциге (23 июня 1759 г.)



Весной 1759 г. главнокомандующий австрийской армией фельдмаршал Даун проявлял самые определенные намерения предпринять решительное наступление. Столь необычное для него новшество попервоначально очень ободрило как французов, так и русских и должно было ускорить возвращение Фермора к армии. После продолжительного пребывания в Петербурге, где ему пришлось оправдываться, защищаться, а также уточнять инструкции к кампании 1759 г., он выехал в свою главную квартиру в Торне на Висле.

Его легкая кавалерия, прикрывавшая с другого берега зимние квартиры, развивала энергичную деятельность. Полковник Орлов с полком казаков совершил набег до Ней-Штеттина в Прусской Померании, удалившись на огромное расстояние от русских аванпостов. Сам Орлов с отрядом из 200 казаков опередил свой полк и атаковал пикет прусских гусар, а затем и целый эскадрон, но был вынужден отступить. При этом на его пути попала деревня, в которой все дома оказались заперты. Тогда с частью казаков он атаковал преследователей, а всем остальным приказал ломать двери и рубить крестьян, вооруженных дубинами и вилами. Казакам удалось отступить, однако они потеряли 14 чел. убитыми и много пленными, среди которых оказался и сам отважный полковник (1 апреля 1759 г.).

Эта стычка показала не только невероятную отвагу казаков, но и враждебность сельского населения в прусских провинциях. Фермор счел необходимым объявить жителям Померании и Бранденбурга, что «... ежели кто из поселян и обывателей впредь против войск Ее Величества каким бы то образом вооружится и в успехе какое помешательство учинит или же непокорным явится, то таковые и все их обиталища по военному резону без всякой пощады мечу и огню преданы быть имеют; а покоряющимся и в своих жилищах, при своих промыслах остающимся, — императорская милость и всякая защита содержанием наистрожайшей воинской дисциплины оказана будет. Это обращение было сообщено русским дипломатическим агентам для того, „дабы они рассеивали по сему случаю с неприятельской стороны в нарекании слухи (на русские войска) и достаточно опровергать могли“»^[153]. Со своей стороны Конференция присовокупила, что «ежели впредь подобные сему про дерзости от жителей будут, то всех той деревни пере лоя, с женами и детьми отсылать в Кёнигсберг и оттуда на отходящих порожних судах отправлять в Ригу и в Ревель»^[154].

Однако обещанное Дауном решительное наступление задерживалось. Ни в феврале, ни в марте он не сдвинулся со своих зимних квартир, позволяя тем самым Фридриху II опустошать Саксонию и соседние государства, взять с Эрфурта 300 тыс. флоринов контрибуции, по 25 тыс. с Фульды и Гиршфельда и даже угрожать вольному городу Франкфурту, занятому тогда французами. Принц Генрих покушался на богемские магазины австрийцев, а принц Фердинанд Брауншвейгский напал на французов у Бергена, но потерпел поражение (13 апреля).

Безнаказанность пруссаков была тем более вопиющей, что силы, собранные коалицией, далеко превосходили имевшиеся у Фридриха II. Они состояли из 125 тыс. французов, разделенных на две армии: маршалов Контада и Субиза; 45 тыс. австрийцев и немцев из Франконии и Касселя; 16 тыс. шведов в Штральзундской крепости и на острове Рюген и 155 тыс. австрийцев под командованием Дауна. Даже не считая русской армии, это составляло в совокупности 400 тыс. солдат. Фридрих II мог противопоставить им только 225 тыс. Три года ожесточенной войны сократили и истощили прусские войска. Они потеряли

свои лучшие кадры и некоторых из отважнейших своих командиров. Фридриха II лишили доходов и рекрутов, получавшихся прежде от его владений на Рейне, в Вестфалии, Восточной Пруссии и части Померании.

И все же он надеялся противостоять своим врагам. Граф Дона должен был сдерживать шведов и русских, принц Фердинанд — французов, а принц Генрих угрожать Богемии. Король предполагал бросить Фуке на Моравию, а самому с 48 тыс. чел. связывать 155 тыс. Дауна. По крайней мере таковы были намерения, приписывавшиеся ему австрийским фельдмаршалом, а отсюда и то трусливое бездействие последнего, которое он скрывал под названием тактики Фабия Кунктатора^[55].

Какую же роль должна была играть русская армия на этой огромной шахматной доске? Об этом много говорили: Кауниц и российский посланник в Вене, канцлер Воронцов и граф Эстергази, равно как австрийский генерал Тилльер с членами Конференции в Петербурге и русский военный агент Шпрингер с Дауном в австрийской главной квартире. 16 марта Тилльер объявил Конференции, что, поскольку русские не хотят отправить 30 тыс. чел. в Силезию, его правительство отказывается от них, но, если они будут действовать в Померании или Бранденбурге, Даун постарается содействовать им, угрожая тылам прусского короля, «хотя без какой-либо надежды на успех». Конференция заверила его, что русская армия выйдет к Одере, Франкфурту или Нижней Силезии.

После этого обмена мнениями родился план предстоящей кампании (3 апреля). Было договорено об увеличении русской армии до 100 тыс. чел. «и более»: 10 тыс. останутся на Нижней Висле и их по возможности усилят 20 тыс. рекрутов; остальные 90 тыс. пойдут на соединение с австрийцами, что должно произойти около 6 июля. Таким образом, в принципе условились о соединении двух больших армий и даже назначили для этого определенную дату.

Еще один план был утвержден Конференцией и подписан Елизаветой в Петергофе 14 июня 1759 г.: армии Фермора надлежало перейти Одер у Королата, но не продвигаться далее чем на 60–75 верст. Если Дауну не подходит Королат, можно избрать для этого Кроссен. После соединения армий Фермор не будет подчинен Дауну, но должен лишь «выслушивать его советы», при условии, что великие таланты австрийского фельдмаршала «подтвердятся действиями сего последнего». В случае победы, не завершившейся решительным исходом, Фермору предписывалось быть осмотрительным и «не рисковать армией ради австрийских интересов». Он не должен также заходить слишком далеко, а, напротив, стараться склонить Дауна к умеренности, а именно: ограничиться лишь взятием Глогау, Лигница, Кроссена, Франкфурта-на-Одере или Швейдница. И лишь только в случае решительной победы Фермору дозволялось «развить военные действия в самых широких размерах». Если же соединение у Королата или Кроссена по каким-либо причинам не удастся, следует искать другое место выше по Одере, вплоть до Бреслау, но предварительно разрушив Франкфуртский канал, взяв с городов контрибуцию и совершив набег на Берлин. Иными словами, надлежало воспользоваться всеми ресурсами Бранденбурга. Если Фермор окажется один против пруссаков, он не должен принимать баталии, не обладая «несумнительным преимуществом в силах». При нападении Фридриха на Дауна, если тот находится не далее чем на два перехода от русской армии, не возбранялось или прийти ему на помощь для завершения успеха, или же атаковать победоносных пруссаков. Точно так же, если русские потерпят поражение, а Даун окажется не на большом удалении, надлежало требовать от него действий против неприятеля. Как видим, Конференция пыталась предусмотреть буквально все до мельчайших подробностей. И, наконец, она всецело не доверяла своим союзникам, поскольку рекомендовала Фермору остерегаться того, как бы австрийцы не заключили

сепаратный мир с общим врагом.

В апреле Фермор прибыл в Мариенвердер, где основные силы должны были переходить Вислу. По мере подхода полков он делал им смотры. Затем вся армия двинулась к Позену, назначенному для сосредоточения войск.

Но дни Фермора как главнокомандующего были уже сочтены. Будучи в Петербурге, он не сумел рассеять все обвинения, еще раньше выдвигавшиеся против него: предоставление Восточной Пруссии таких привилегий, благодаря которым при русской власти она оказалась в лучшем положении, чем под прусским королем; эта провинция обогащалась и проходом войск, и военными поставками, а все расходы ложились на русские земли; он слишком симпатизировал немцам; и, наконец, в денежных делах оказалось множество упущений.

Для замены Фермора выбор пал на человека православного и истинно русского — Петра Семеновича Салтыкова. Ему было лет около шестидесяти, поскольку он находился в числе тех молодых людей, которых Петр Великий в 1717 г. отправил учиться в нашу Школу гардемарин. Салтыков пробыл в Европе лет двадцать. Анна Ивановна благоволила к нему, тем более что он состоял с нею в родстве^[156]. Этот фавор и послужил, быть может, причиной того, что он был как-то забыт при Елизавете. Хотя Салтыков и готовился к морской службе, его отправили на Украину, в Харьков, командовать ландмилицией. Он никогда не стоял ни во главе армии, ни тем более флота и только благодаря выслуге чинов стал генерал-аншефом. Почему же именно его избрали для замены Фермора, который, хотя и младше чином, был назначен в прошлую кампанию? Венский двор превозносил таланты Салтыкова, не оцененные в России. Ходатайство немцев о замене немца русским генералом оказалось решающим. Немалую роль сыграло и мнение о нем двора, как о человеке, необходимом в сложившейся ситуации. Г-н Масловский сравнивает его с Кутузовым, который в 1812 г. не был *persona grata*^[155], но именно ему Александр I вынужденно доверил командование.

Однако между Салтыковым 1759 года и Кутузовым 1812-го была та громадная разница, что первый не пользовался еще в армии никакой популярностью, оставаясь для нее почти незнакомцем. Его назначение явилось полной неожиданностью. Болотов, который сидел тогда в канцелярии кёнигсбергского генерал-губернатора, судя по всему, достаточно верно передал впечатление молодых офицеров:

«Все удивились, услышав о сем новом командире, и тем паче, что он, командуя до сего украинскими ландмилицкими полками, никому почти был не известен, и не было об нем никаких выгодных и громких слухов. Самые те, которых случай допустил его лично знать, не могли о нем ничего расспрашивающим сказать, кроме того, что он был хотя весьма добрый человек, но старичок простенький, никаких дальних сведений и достоинств не имеющий и никаким знаменитым делом себя еще не отличивший»^[156].

Болотов и его сотоварищи по канцелярии не замедлили выбежать на улицу, как только объявили о прибытии Салтыкова в Кёнигсберг:

«Нельзя изобразить, с каким любопытством мы его дожидались и с какими особыми чувствами смотрели на него, расхаживающего пешком по городу. Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилиционном кафтане, без всяких дальних украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек в последствии^[157]. Привыкшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не

понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром толь великой армии, какова была наша, и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, храбростию, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущю курочкою, и никто не только надеждою ласкался, но и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное. Столь мало обещевал нам его наружный вид и все его поступки. Генерал наш хотел было по обыкновению своему угостить его великолепным пиром, но он именно истребовал, чтоб ничего особенного для него предпринимаемо не было, и хотел доволен быть наипростейшим угощением и обедом. А сие и было причиною, что проезд его чрез наш город был нимало не замечен и столь негромок, что, несмотря хотя он пробыл у нас дни два и исходил пешком почти все улицы, но больше половины города и не знала о том, что он находился в стенах оною. Он и поехал от нас столь же просто, как и приехал, и мы все проводили его хотя с усердным желанием, чтоб он счастливее был искусного Фермора, но с сердцами весьма унылыми и не имеющими никакой надежды»^[158].

Сам Салтыков ничего не предпринимал, чтобы столь возвыситься. Несколько строк из переписки Шувалова с Воронцовым наводят на мысль, что его даже пришлось упрашивать и ободрять. «Надеюсь, — пишет Шувалов, — что одного только слова Вашего Превосходительства окажется достаточным, дабы удовлетворить генерала Салтыкова»^[159].

О принятом решении Фермор был уведомлен в самых лестных для него выражениях, с объяснениями, что «граф Салтыков перед вами старшинство имеет, то, натурально, ему и главную команду над всею армиею принять надлежит ... Но притом Мы твердо уверены, что тем не менее службу вашу продолжать будете»^[160]. Ему предложили командование 1-м корпусом, командир которого Фролов-Багреев получил другое назначение. Фермор с достоинством согласился на такое понижение в той самой армии, которую он только что возглавлял. Его благодарность была выражена в такой форме, которая может показаться уничижительной для него, но в той стране и в то время она была свойственна даже для писем великой княгини Екатерины к царице^[161]:

«Всемилодивейшая Государыня. Я последний раб Вашего Величества, припадая к императорским стопам, беру смелость свидетельствовать, что высочайшей воле Вашей всегда себя подвергать, мои всеподданнейшие услуги с крайним усердием не токмо продолжать, но и генералу графу Салтыкову делом и советом по прежнему моему разумению вспомоществовать должен; и несомненно уповаю, что и оным генералом, яко моим командиром, всегда об них засвидетельствуется и апробацию его заслуживать буду»^[162].

При дворе были весьма довольны таким исходом дела: Салтыкова еще никто не знал, а Фермор оставался все тем же «толковым Фермором». *Канцлер Воронцов поспешил в письме от 14 июля 1759 г. уведомить об этом самого Салтыкова:*

«Зная же ревностное обоих ваших сиятельств усердие к службе, искусство и просвещение, я и не сомневаюсь, что вы охотно всевозможное старание ваше устремить изволите к достижению сего желаемого и так нужного в предводителях армии согласия, которое, будучи соединено с известным войск наших мужеством и неустрашимостью, подаст лучшую и приятнейшую надежду, что настоящая кампания буде не совсем решительно по крайней мере

вовсе разорительною для короля прусского будет к особливому прославлению собственных имен ваших, армии и всего российского народа. Представляется от всей Европы Ее Императорскому Величеству, нашей всемилостивейшей государыне, совершить дело, бессмертной славы достойное, восстановлением и утверждением прочного и честного мира ...»^[163]

Теперь, поддержанный «делом и советом Фермора», руководимый мудростью Конференции, новый главнокомандующий, конечно же, обязан был одерживать победу за победой. Он и в самом деле стал победителем, но для этого ему потребовалось сначала освободиться от мелочной опеки из Петербурга, поостеречься советов своего подчиненного и взять в собственные руки все управление армией. Этот доселе никому не известный и с виду столь простодушный старичок, к неописуемому изумлению кёнигсбергских офицеров, оказался вдруг прирожденным полководцем.

Что касается Фермора, то он продолжал с усердием служить и под началом Салтыкова. С триумфом войдя первым в Мемель, Тильзит и Кёнигсберг, выдержав с честью так и не решенную чьей-либо победой Цорндорфскую битву и довершив при Кунерсдорфе разгром самого Фридриха II, он мог не обращать внимания на упреки в прогерманских симпатиях. Будущее готовило для него и еще одно оправдание. В то время как истинно русское правительство Елизаветы столь внимательно относилось к нему, именно Петр III, этот раболепный подражатель Фридриха, 1 апреля 1762 г. отправил Фермора в отставку, «снисходя на прошение его», как было сказано в указе нового императора^[164]. Может быть, при этой смене правления, воистину подобной настоящей революции, ему и припомнили все те успехи, которых он добился над новоявленным союзником, берлинским приятелем царя.



Елизавета Петровна



Петр III



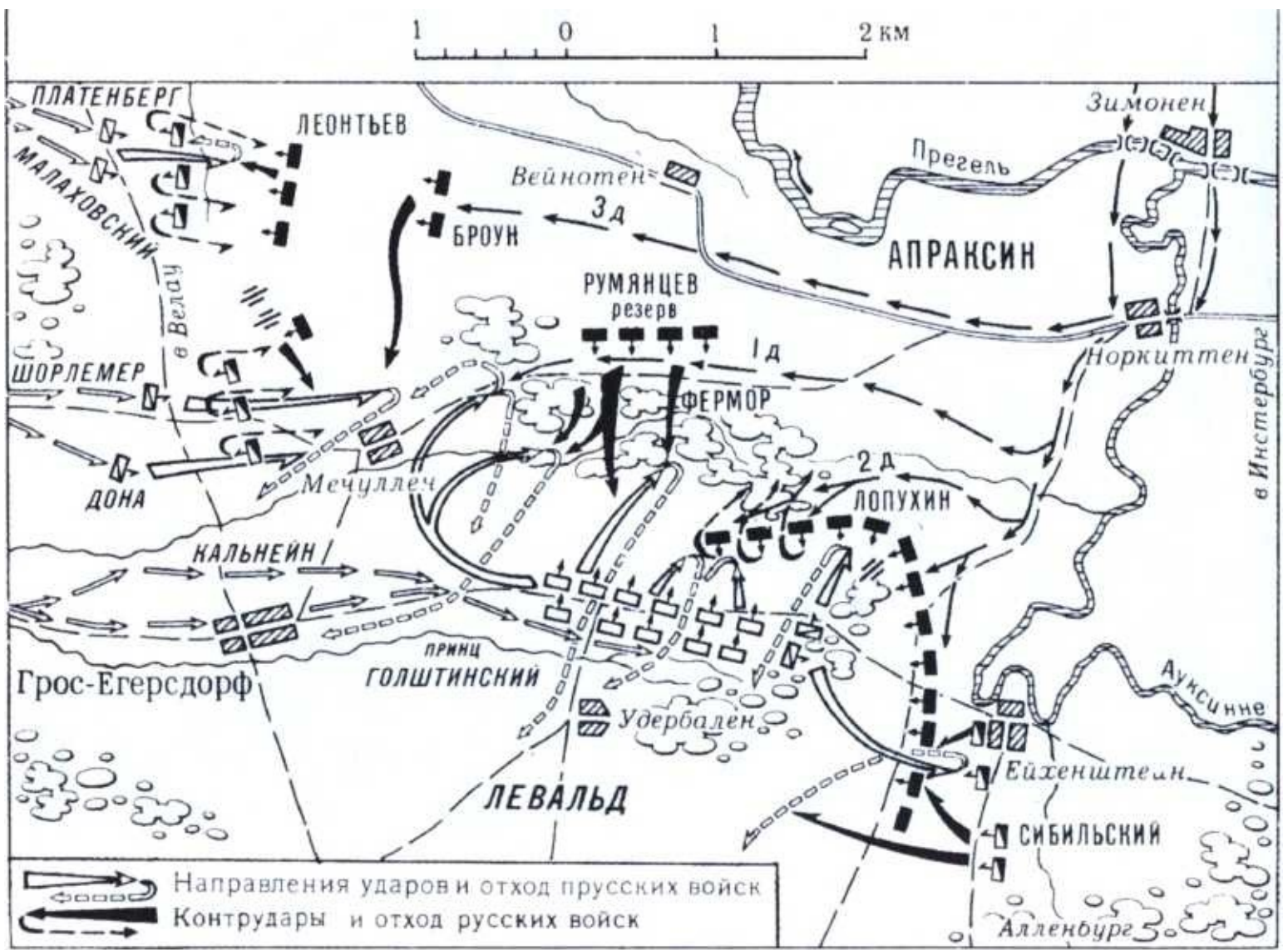
Летний дворец Елизаветы Петровны. Северный фасад Рисунок М. Малахова



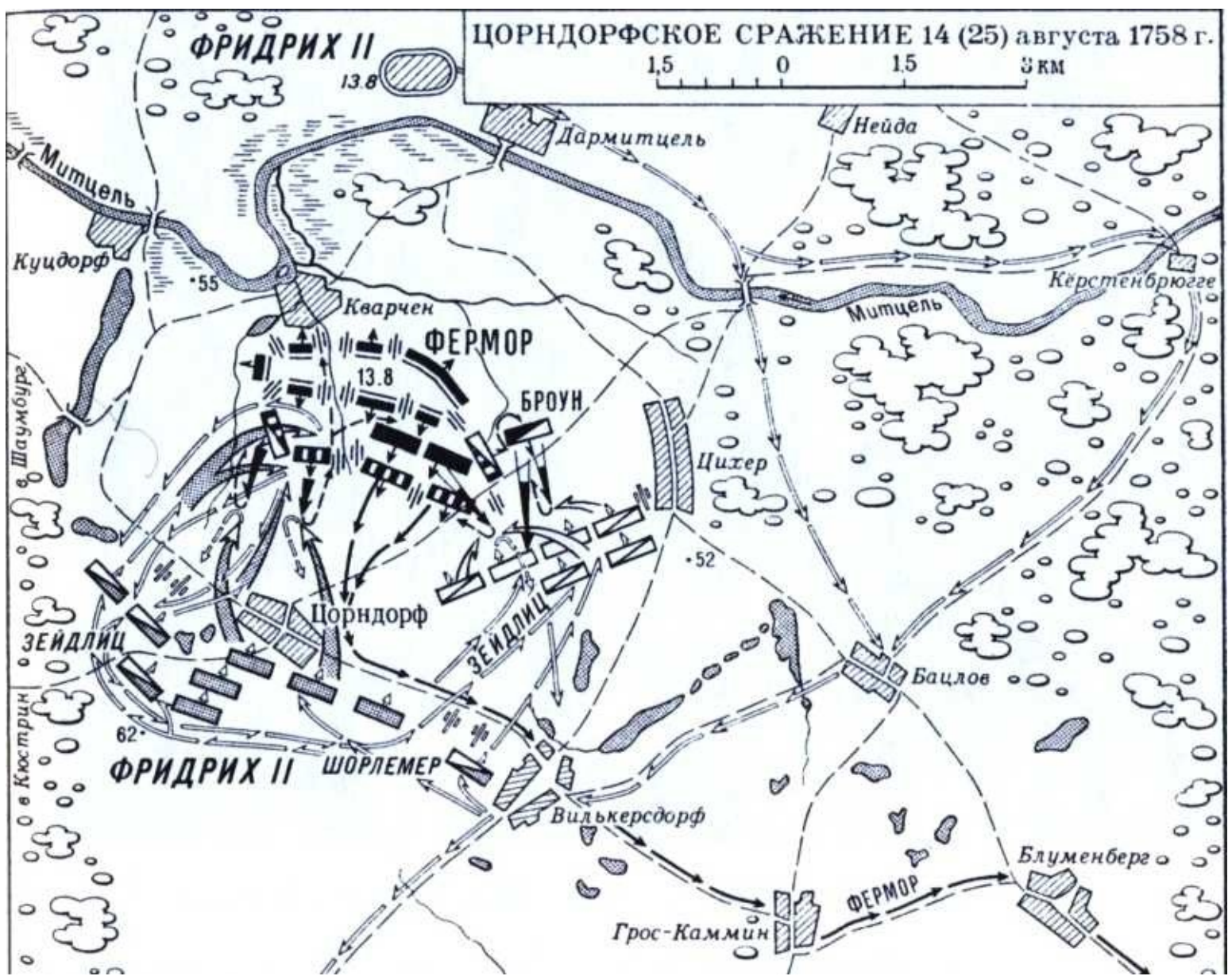
Апраксин Степан Федорович. Генерал-фельдмаршал. Главнокомандующий русской армии с октября 1756 г. по сентябрь 1757 г.



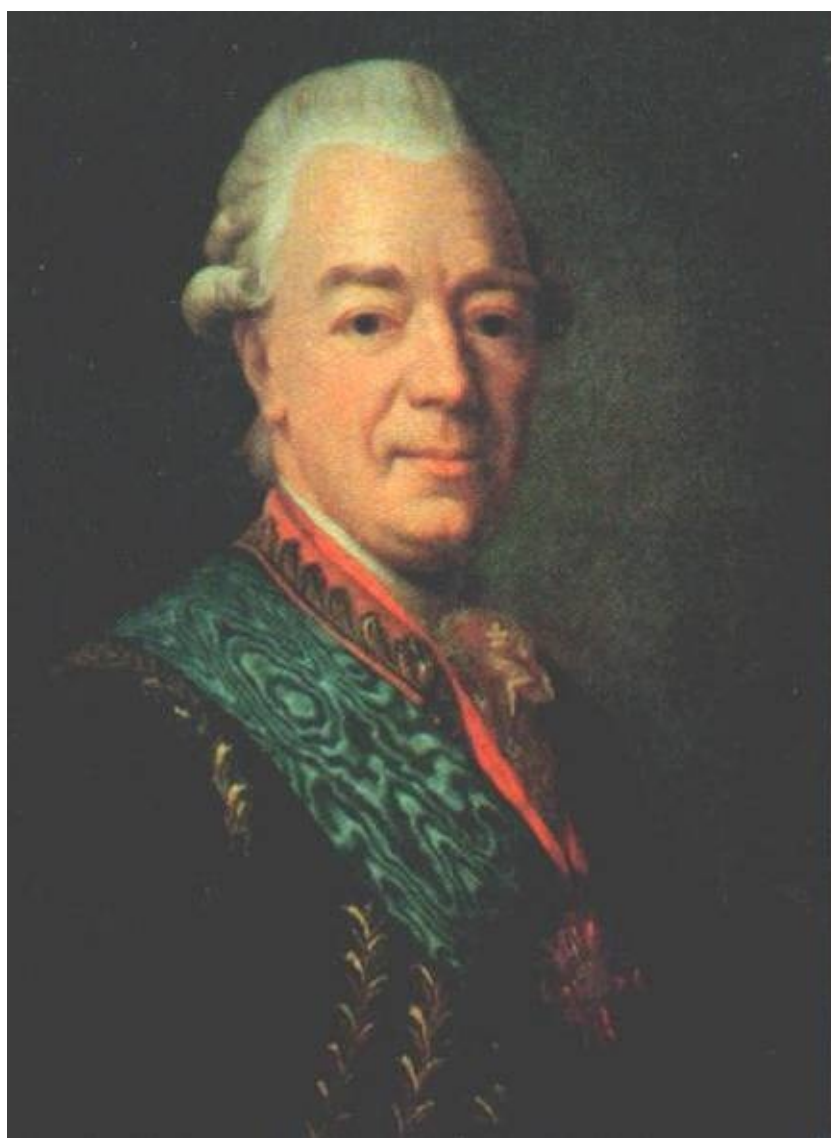
Фермор Вилим Вилимович. Генерал-аншеф. Главнокомандующий русской армии с сентября 1757 г. по май 1759 г.



Сражение при Грос-Егерсдорфе 19 (30)августа 1757 г.



Цорндорфское сражение 14 (25) августа 1758 г.



Чернышев Захар Григорьевич. Генерал-фельдмаршал. В чине генерала-поручика командовал корпусом, занявшим 28 сентября 1760 г. Берлин



Румянцев-Задунайский Петр Александрович. Генерал-фельдмаршал. В чине генерал-майора командовал дивизией, отразившей главный удар противника



А. Е. Коцебу. Сражение под Цорндорфом 14 августа 1758 г.



Гренадер Петербургской дивизии. 1756–1761 гг.



Курасир. 1756–1761 гг.



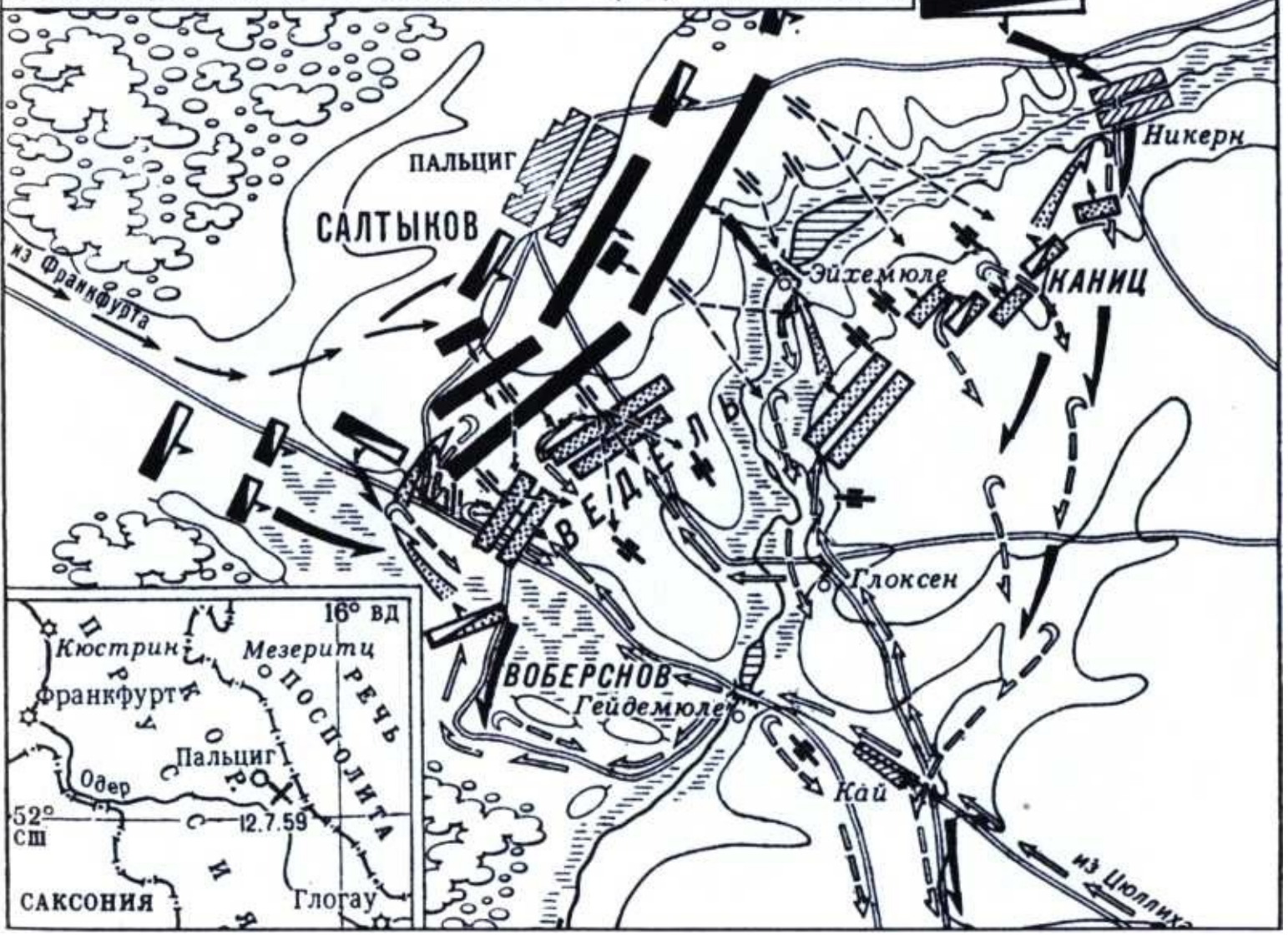
Гусар Слободского полка. 1758 г.



Конногрендер. 1758 г.

ПАЛЬЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 12 (23) ИЮЛЯ 1759 Г.

ТОТЛЕБЕН



Пальцигское сражение 12 (23) июля 1759 г.



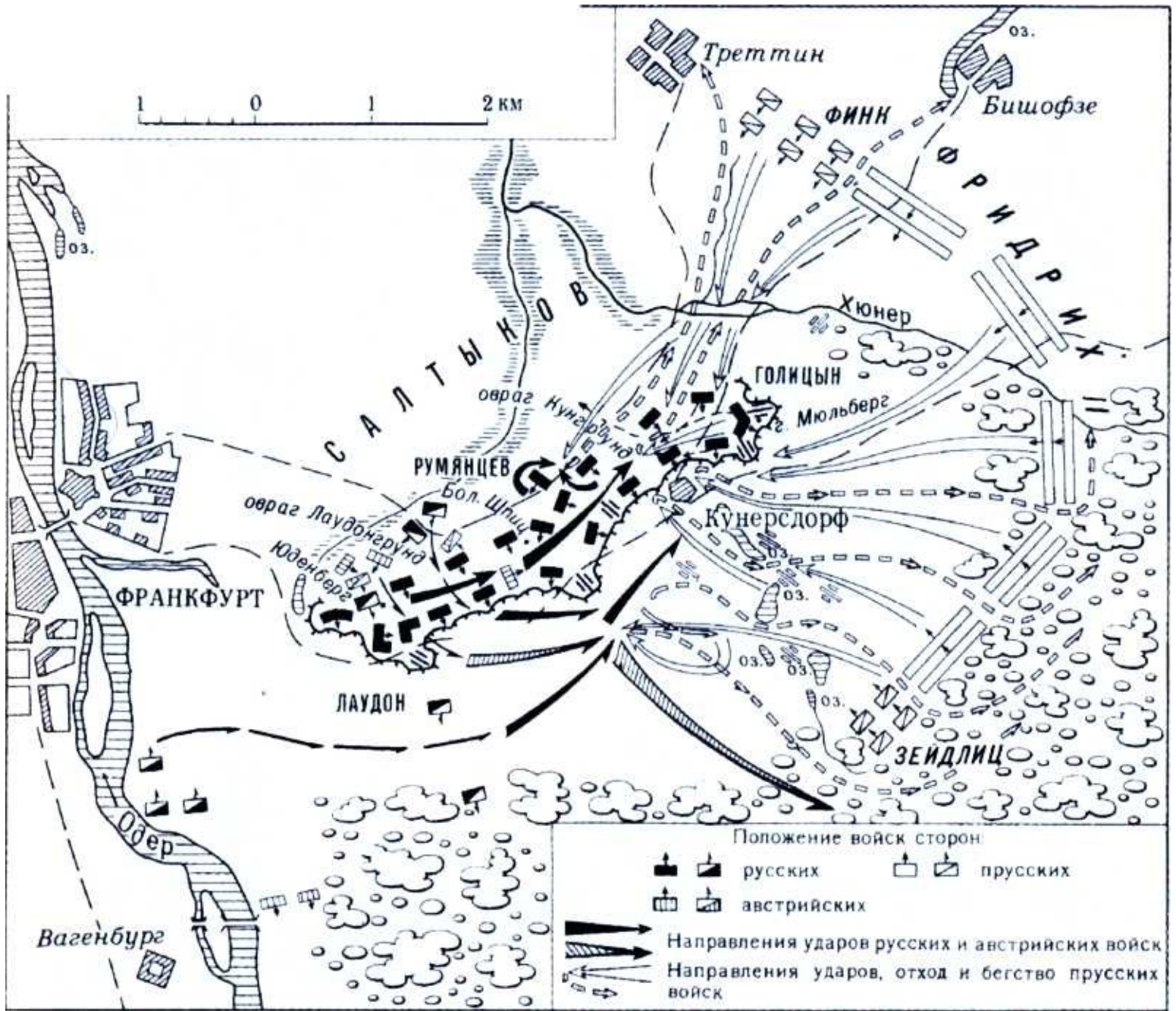
А. Мендель. Гренадер полка фон Левальда прусской королевской армии периода Семилетней войны 1756–1763 гг.



А. Мендель. Унтер-офицер полка Нейвица прусской королевской армии периода Семилетней войны 1756–1763 гг.



П. Хаас. Бегство Фридриха II от русских казаков во время Цорндорфского сражения 1 августа 1759 года



Сражение при Кунерсдорфе 1 (12) августа 1759 г.



Бутурлин Александр Борисович. Генерал-фельдмаршал. Главнокомандующий русской армии с сентября 1760 по декабрь 1761 г.



Ни один генерал не ценил столь высоко надежные качества русского солдата-пехотинца, как Салтыков, ни один не понимал так глубоко значение нерегулярной кавалерии и не умел лучше его использовать ее. Если его предшественник помышлял лишь о том, как бы от нее избавиться, Салтыков, напротив, хотел не только увеличить число донских казаков, но и сделать пополнения за счет украинских. Никто лучше его не постиг обязанностей главнокомандующего: он не пропускал ни одного дня, чтобы лично не участвовать в рекогносцировках и не следить за донесениями разведчиков. Во время маршей его часто можно было видеть в авангарде, а в разгар баталии — в центре армии. Он обладал многими качествами выдающегося полководца. Этот *простоватый старичок* и «сухая курочка» оказался для Фридриха II куда более опасным противником, нежели многоопытный австрийский тактик Даун.

Вечером 28 июня 1759 г. Салтыков прибыл в Позен, и Фермор передал ему командование армией. Главная квартира располагалась в крепости, сильно укрепленной генералом Гербелем, и могла выдержать если не правильную осаду, то, во всяком случае, внезапную атаку. Здесь была сосредоточена основная часть армии. За передвижениями пруссаков следили казаки Краснощекова, расквартированные в Оборниках на Варте. 1 июля Салтыков сделал смотр наличным войскам, которых было всего около 40 тыс. чел. Австрийский военный агент полковник Ботта с удовлетворением отметил хорошее состояние материальной части и боевой дух русской армии.

Почти тотчас по прибытии Салтыков произвел реорганизацию легкой кавалерии и подчинил ее одному начальнику, которым был назначен граф Тотлебен с предписанием быть

«как над всеми гусарами, так и казаками командиром. Оных велено вам (Тотлебену) в свое ведомство содержать в добром порядке и обо всем прямо рапортовать его графскому сиятельству»^[165] (1 июля).

В соответствии с прежними инструкциями, которые оставались обязательными и для Салтыкова, он решился идти на соединение с Дауном. Но австрийский фельдмаршал, знавший, каким «скоропостижным» человеком был Фридрих II, не спешил протянуть руку Салтыкову, опасаясь фланговой атаки. Он вовсе не собирался первым подставлять себя под удар, даже если русским пришлось бы выдерживать его в одиночку. Поэтому Даун ограничивался *марш-маневрами*, не удаляясь намного от своего лагеря в Рейхенберге (Богемия).

Фридрих II, со своей стороны, стремился любой ценой помешать соединению русской и австрийской армий. Из своего лагеря в Рейхеннерсдорфе он наблюдал за Дауном и одновременно усиливал корпус графа Доны, для чего отправил к нему выдающегося кавалериста — генерала Воберснова, а также генерала Хюльзена с 10 тыс. чел., взятых из корпуса принца Генриха.

Прусская армия, оттесненная сначала до Старгарда, 12 июня подошла к Ландсбергу на Варте. Она насчитывала 28 батальонов и 52 эскадрона — всего 30 тыс. чел. Двигаясь вверх по реке, пруссаки, повернув к югу, 28-го остановились в Бетше (Пшево). Похоже, они хотели преградить русским путь на Верхний Одер. Затем армия двинулась к северо-востоку. 21 июня Дона появился у Оборников и укрепился там. Он распространял слухи о том, что ждет самого Фридриха II с сорокатысячной армией. Теперь его позиция была обращена к правому флангу русских и отчасти к их тылу.

Салтыков имел все основания полагать, что могут перерезать его сообщения с Восточной Пруссией или даже вторгнуться в эту провинцию и отвоевать ее. Он принял наиболее разумное при подобных обстоятельствах решение: остановил обозы, направлявшиеся из Торна в Позен, для полной надежности тылов; предписал генерал-губернатору Восточной Пруссии барону Корфу и командовавшему на Нице генералу Фролову-Багрееву обеспечить безопасность Кёнигсберга и перевел основную часть своих войск на правый берег Варты, чтобы прикрыть с этой стороны Позен. Вдоль того же берега он выслал на Оборники полковника Булацеля с донскими и чугуевскими казаками, а также 500 казаков и гусар Гаудринга к Рогожно. На левом берегу Краснощеков должен был поддерживать донцов знаменитого Штофельна, доходивших до Ней-Шверина и Ландсберга для диверсий на путях сообщения графа Доны с Бранденбургом.

Таким образом, Дона, первоначально угрожавший путям отхода русских войск, теперь сам оказался в подобном же положении. Его неуверенность проявилась в беспорядочных передвижениях с левого берега на правый и обратно в районе Оборников. Из-за своей неуместной медлительности он проиграл эту часть кампании и упустил возможность напасть и разбить по отдельности русских, разбросанных от Ницы до Варты и от Накеля до Позена. Теперь Дона оказался перед лицом сконцентрировавшейся русской армии и уже сам подвергался опасности окружения еще до того, как Фридрих II смог бы прийти к нему на помощь.

В тот же день (2 июля), когда Салтыков отправил к Ней-Шверину и Ландсбергу донцов, сам он переправился на правый берег, оставив на левом только дивизию Любомирского, но сохранял с ним сообщение по шести понтонным мостам, приказав соорудить еще и седьмой. Воберснот, который пытался укрепиться у Мурована-Гослина, был вытеснен оттуда русской кавалерией, и ему пришлось отступить к Оборникам. В этот момент вся прусская армия, так же как и основная масса русских войск, находилась на левом берегу Варты. 4 июля Салтыков

принял решение идти этим берегом от Позена на Оборники и дать генеральную баталию, однако путь оказался свободен, а сам город оставлен. Был захвачен только полевой госпиталь, несколько фур со снарядами, 43 солдата и 12 хирургов. Прусская армия перешла на правый берег.

На следующий день туда же переправились и русские. 8 июля у Черевница произошел бой легкой кавалерии, в котором прусские гусары проявили слабость и часто откатывались назад под защиту своей пехоты. После этого дела присмиривший граф Дона отступил по направлению к Обре и занял позицию у Мезеритца.

Салтыков задумал разбить его, отрезав все пути к отступлению, а потом идти к Одере и соединиться с Дауном, чего так вожелели оба императорских двора. В этом случае прусскому королю угрожало бы войско из 250 тыс. солдат. 10 и 11 июля русская армия прошла через Янковичи, Принне и Заморже, двигаясь двумя пехотными колоннами, между которыми везли весь артиллерийский парк. Впереди гарцевала легкая конница, а хвост каждой колонны состоял из регулярной кавалерии: драгун, кирасир и конногренадер.

Салтыков ехал в авангарде и лично командовал пехотой. Здесь он все время общался с графом Тотлебенем. Именно тогда этот блестящий авантюрист сумел войти к нему в доверие. Салтыков все более и более проникался значением нерегулярных войск, особенно казаков, которые не давали покоя неприятельским арьергардам, снимали посты, повсюду захватывали пленных и даже целые обозы. Он просил у Конференции довести наличный штат донцов до 8 тыс. и прислать еще 2 тыс. украинских казаков для службы на путях сообщения.

13 июля русская армия достигла Заморже в 40 верстах от Мезеритца, находившегося на другом берегу Обры и занятого графом Доной. Салтыкову было затруднительно атаковать его, потому что в этом случае пришлось бы переправляться через реку под пушечным огнем. В то же время можно было повернуть на юг и идти к Цюллихау или даже Глогау.

В первом случае появлялась возможность отрезать Дону от Бранденбурга, во втором — происходило столь вожеленное соединение армий. Однако поступавшие сообщения заставляли призадуматься: с одной стороны, ожидался приход Фридриха на помощь Доне, с другой — не было никаких признаков того, чтобы Даун хотя бы сдвинулся с места навстречу русским. Марш к силезской части Одера, когда нельзя было рассчитывать ни на какую поддержку, мог привести к внезапному появлению Фридриха на русском фланге и перекрытию пути к Позену. Более того, у короля появлялась тогда возможность прижать неприятеля к болотам Обры.

Салтыков собрал военный совет, который высказался за непременноое соединение армий. Никто из русских генералов не мог не понимать всей опасности такого маневра. По выражению г-на Масловского, это было чисто «рыцарское» решение, и ничто лучше этого не доказывает искренности русских в желании соединиться с Дауном.

Но прусский король был значительно ближе Дауна. 10 июля он пришел в Шмттзайфен и оставался там до 29-го. Оставив принца Генриха в Бауцене, а Финка в Загане, он мог следить за всеми передвижениями русских и австрийцев, готовый броситься к тому месту Одера, где они захотели бы соединиться. Его конфидент Катт пишет, что, по своему обыкновению, он развлекался чтением Тацита, Саллюстия и Корнелия Непота и буквально пожирал недавно появившуюся «Девственницу»^[57], находя ее стихи «чарующими».

В Шмттзайфене Фридрих узнал о плачевном результате наступления графа Доны, на которое он так рассчитывал и, похоже, еще 1 июля был уверен, что тот полностью избавит его от русских. Но Дона, напротив, «своими пустопорожними маневрами и неразумением генеральского ремесла, несмотря на все пустое самодовольство, не только упустил наилучшую возможность разбить русских по частям, но и жалким своим

поведением привел к тому, что превосходная армия принуждена позорно отступать, преследуемая неприятелем»^[166].

Русские уже во второй раз вступили в Бранденбург. Фридрих сделал все, чтобы отдалить их от главного театра военных действий. Его посланник в Константинополе из всех сил старался организовать диверсию турок против царицы. 9 января 1759 г. в письме к барону де Ла Мотт Фуке король выражал надежду, что османы уже созревают и весной не будут сидеть сложа руки. «Если нация, не признающая шляп, оборотится противу варваров, орда сих последних непременно рассеется». Но с турками ничего не вышло, и оставалось рассчитывать на «превосходную армию» графа Доны, которая была в несколько раз усилена. Что касается самого короля, то убыль офицеров и солдат вынуждала его к оборонительной тактике. И вот теперь грозный враг вторгся в исконные земли маркграфов Бранденбургских.

Злосчастный граф Дона после своего отступления за Обру не имел никаких определенных сведений о русской армии. Опасаясь, как бы она не повернула на юг для соединения с Дауном, он решил идти к Одеру и 17 июля снял свой лагерь в Мезеритце, а 21-го форсированным маршем достиг Швибуса. Но в тот же день Салтыков перешел Обру у Бомста (польское «Бабий Мост») и 20-го вступил на территорию Бранденбурга. В результате этого двойного маневра Дона, сам того не подозревая, прошел почти на расстоянии мушкетного выстрела от всадников Тотлебена. В Цюллихау он наскочил на гусар Зорича и выгнал их из города. Здесь Дона и занял позицию, чтобы преградить путь наступающему неприятелю.

Здесь же он получил весьма холодное письмо от короля, где говорилось: «Состояние здоровья вашего более чем не позволяет вам выполнять обязанности командующего. Будет весьма благоразумно с вашей стороны уехать или в Берлин, или в какое-либо другое место для поправления подорванных сил ваших. Прощайте»^[167].

Одновременно с этим письмом в лагерь прибыл новый командующий генерал-лейтенант фон Ведель, которого король наделил самыми широкими полномочиями. «Я сделал его диктатором на все время сей комиссии», — писал он брату Генриху. Итак, теперь уже понадобился диктатор, как в Древнем Риме в случаях крайней опасности, как, например, во времена галльских восстаний или вторжения варваров. Фридрих II не скрывал трудностей, ожидавших фон Ведера: «Ему надлежит действовать по образцу римских диктаторов»^[168]. «Вы понимаете, что такая каша не расхлебывается за двадцать четыре часа... — писал он принцу Генриху. — Боже! У скольких еще людей кружится голова от самомнения. Как все-таки жалок род человеческий! Наступивший кризис весьма опасен, однако еще ничего не потеряно»^[169].

Армия графа Доны не только оказалась в крайне рискованном положении, но была к тому же истощена и деморализована. Почти не испытав на себе неприятельского огня, она понесла значительную убыль в людях из-за дезертирства, этой чумы всех тогдашних войск, рекрутировавшихся в немалой части из перебежчиков, насильно завербованных иностранцев и даже военнопленных. Один французский офицер писал 15 июля 1759 г.:

«Дезертирство в Пруссии весьма велико. Потери графа Доны во время пребывания его в Польше оцениваются не менее как 3 тыс. чел. Силой завербованные мекленбуржцы бегут в свою землю, поляки остаются у себя на родине, и только 200 чел. возвратились в прусскую армию. В числе их есть и французы, плененные при Бергене. Четырнадцать из них бежали, но двенадцать были пойманы и отправлены в Штеттин»^[170].

«Диктатору» Ве делу предстояло прежде всего возродить моральный дух армии, строго наказывать непослушание солдат и малодушие офицеров. Вот несколько строк из Инструкции, составленной для него Фридрихом II:

«Поддерживать строжайшую дисциплину. Запретить офицерам под страхом лишения чина жаловаться и вести обескураживающие разговоры. Выставлять на позор тех, кто вопиет о превосходстве неприятельских сил. Всякий офицер, выказавший трусость, должен предаваться военному суду».

После предписаний морального характера следовали тактические указания:

«Поначалу сдерживать неприятеля, заняв сильную позицию. Затем атаковать его в соответствии с принятым мною обыкновением. Чинить помехи легкой кавалерии противника, употребляя для сего гусар, драгун и др. Ежели, упаси Бог, армия потерпит поражение, занять позицию в том месте, куда может пойти неприятель — за Франкфуртом или Кроссеном, или же у крепости Глогау»^[171].

Прибывший в лагерь накануне баталии Ведель едва успел ознакомиться с ситуацией. Столь резкая перемена высшего командования при непосредственной близости неприятеля не могла не повлиять самым неблагоприятным образом на ход дел. Вряд ли стоило смещать графа Дону — в конце концов, он принял разумное решение идти на юг, и у него оставались шансы ускользнуть от Тотлебена. Наконец в Цюллихау была занята сильная позиция. Навряд ли Ведель смог бы действовать лучше.

Салтыков решил обойти сильный фронт прусской позиции с севера, вокруг ее левого фланга. Русский главнокомандующий лично руководил всей разведкой и прекрасно оценивал сложившееся положение. Его сообщения с Позеном и австрийцами оказались под угрозой, и надо было спешить, поскольку Ведель, несомненно, ожидал подкреплений или от принца Генриха, или от самого Фридриха II.

Позиция в Цюллихау со всех сторон, кроме северной, была защищена естественными препятствиями, такими, как болото и густые заросли кустарника. На севере поднимался Эйхберг, и пруссаки, чтобы обезопасить себя с этой стороны, заняли его основной массой своих войск, так что этой возвышенности, по всей очевидности, предстояло быть центральным пунктом готовящейся битвы.

22 июля главная квартира Салтыкова находилась в деревне Гольцен. Главнокомандующий имел в своем распоряжении три корпуса: Фермора, Вильбуа и Голицына (Обсервационный). Легкую конницу Тотлебена Салтыков отвел на правый фланг, выдвинув ее далеко вперед, и точно так же на левый — гусар Зорича. У него было 28 тыс. пехотинцев, 5 тыс. регулярной кавалерии, 7,5 тыс. нерегулярной и 140 пушек. Всего около 40 тыс. чел. Ведель мог противопоставить ему только 27 380 чел. (18 тыс. пехоты и 9380 всадников). Обе стороны преувеличивали силы своего противника: Салтыков считал, что у Веделя 60 тыс., а Ведель — что у Салтыкова 90 тыс.

Днем 22-го Салтыков произвел последнюю разведку и в три часа пополудни возвратился в лагерь у Гольцена. Было принято решение ночным маршем обойти северное крыло пруссаков.

Движение русских колонн, охраняемое авангардом Тотлебена, началось в 4 часа утра по направлению к Пальцигу. Обходной маневр совершался с такой точностью и скрытностью, что утром неприятель совершенно неожиданно увидел в тылу своего левого фланга русские

колонны. Салтыков доказал, что «варвары» умеют пользоваться уроками самого Фридриха II — его маневр почти в точности повторил марш прусского короля накануне Цорндорфской битвы.

Ведель настолько не ожидал этого, что в 5 часов утра лично отправился во главе разведки к Лангемайле, где предполагал обнаружить гусар Зорича. Никого не найдя там, он вскоре убедился, что лагерь в Гольцене уже оставлен. Обеспокоившись, он спешно возвратился к 7 часам в Эйхберг и стал готовиться к сражению. Как раз в этот момент появились русские и начали артиллерийский обстрел.

Салтыков, как и Ведель, тоже встревожился и отправил назад к Гольцену бригаду Фаста и часть конницы Тотлебена. После этого Фаст так уже и не появлялся, а Тотлебен смог возвратиться только перед самым концом битвы.

До 11 часов Ведель лишь наблюдал за маршем Салтыкова, но потом послал против него конницу Малаховского, которая была отброшена. Почти сразу после полудня русские подошли к Пальцигу и построились восточнее самой деревни фронтом к Цюллихау и Эйхбергу. От пруссаков их отделял ручей Шёнборн и деревня Никерн. Как всегда, русская пехота образовала две далеко вытянутые линии, состоявшие из полков Голицына, Вильбуа и Фермора.

По фронту первой линии были поставлены пять больших батарей полевой артиллерии, которые господствовали над крутым берегом ручья; шестая, с правой стороны, — на вершине холма между двумя линиями; и, наконец, седьмая, самая крайняя справа, представляла собой настоящий редут. Фермор прикрывал артиллерию четырьмя лучшими полками: слева — Сибирским и 1-м Гренадерским, справа — Выборгским и 2-м Московским.

Кавалерия также была разделена: на самом краю справа донские казаки охраняли Никерн и переправы через ручей Шёнборн; затем стояли новосербские гусары и после них, у самого Пальцига, под командою Еропкина — пехота Голицына, новотроицкие кирасиры, 3-й и Киевский кирасирские полки, рязанские и каргопольские конногренадеры. Между двумя линиями пехоты под командою Демику в качестве резерва находились казанские кирасиры и эскадрон нижегородских драгун. Но основная масса кавалерии была сосредоточена на правом фланге: в первом эшелоне — кирасиры полков Его Императорского Высочества и Петербургского; во втором — грузинские, венгерские и славяно-сербские гусары; в третьем — донские и чугуевские казаки. Всей этой конницей, а также Выборгским и 2-м Московским полками командовал генерал Панин.

Правый фланг русских по составу всех родов войск и благодаря господствующему положению над долиной был практически неприступен, а центр защищен ручьем и прудом Экмюль. Зато левый фланг, напротив, состоял из более слабых войск и подвергался опасности быть обойденным, если бы пруссакам удалось пройти по мостам Шёнборна или Никерна. При такой фланговой атаке русская армия, к тому же угрожаемая еще и с тыла, могла быть сброшена с высот в ручей и болота, отрезана от путей отступления как на Кроссен, так и на Гольцен, и у нее не осталось бы иного выхода, чем погибнуть или же пробиваться штыками.

Пруссаки оставили свои позиции на Эйхберге и Цюллихау и встали вдоль восточного берега ручья, который господствовал над западным, где были русские. Двойная линия прусской пехоты правым флангом упиралась в Никерн, а левым — в пруд Гейдемюле и деревню Глоксен. Вдоль берега стояли пять больших полевых батарей, которые более часа жесточайшим огнем обстреливали линии и батареи русских.

Ведель подготовил атаку в двух местах. Конницу Воберснова он оставил в резерве, а всю пехоту построил в две колонны. Правая, под командой Каница, должна была перейти ручей у Никерна и атаковать левый фланг русских. Левая предназначалась против мощного правого

фланга, ею командовал сам Ведель и генерал Мантейфель.

Салтыков, чтобы обезопасить левый фланг, приказал казакам разрушить мост у Никерна, а саму деревню сжечь. После этого все свое внимание он обратил на правое крыло, против которого Ведель и направил фланговую атаку четырех пехотных полков и трех эскадронов кавалерии. Основная часть колонны под командою Мантейфеля должна была атаковать по фронту. Но действия их оказались несогласованными — обходной маневр Веделя задерживался, и Мантейфель, потеряв терпение, бросился вперед, однако под огнем двух больших русских батарей и пехотных полков атака захлебнулась, а сам он был тяжело ранен. Ведель поспешил послать ему на помощь пять батальонов Хюльзена, но Салтыков, в свою очередь, перевел с левого фланга 1-й и 5-й мушкетерские полки. Вторая попытка, теперь уже Хюльзена, также окончилась неудачей. Пруссаки снова откатились, не выдержав мушкетного и пушечного огня. Очевидец этого, инженерный полковник Муравьев, рассказывает:

«Русские войска были неподвижны и, продолжая всегда непрерывный пушечный огонь в желаемом порядке, и как во время продолжающегося огня, так и неприятельской ретирады — наполняя убитых и раненых места из стоящих за первую линию резервов»^[172].

Фланговая атака Веделя также не принесла успеха. Здесь дело не дошло даже до штыков. Страшный огонь больших русских батарей обратил в бегство четыре полка прусской пехоты. Их разгром был настолько полным, что они вообще исчезли из прусской армии. Другие полки, спешно двинутые им на замену с правого фланга, были отбиты копьями чугуевских казаков.

Этот частичный разгром Веделя произошел вследствие несогласованности действий и атаки на самый сильный фланг русских слишком малыми силами. Надо было остановиться и подождать результатов атаки Каница и прежде всего подхода конницы Воберснова, которая только и могла спасти остатки левого фланга. Но Каниц был остановлен пожаром Никерна и разрушенным мостом. Именно это позволило Салтыкову взять со своего слабого левого фланга 1-й и 5-й мушкетерские полки.

Что касается Воберснова, то он вместе с солдатами Мантейфеля, Хюльзена и Веделя появился на поле боя лишь в пять часов. Поскольку здесь все прусские командиры были ранены, он принял командование и возобновил на своем левом фланге уже трижды захлебнувшуюся атаку. Воберснор решил прежде всего ударить кавалерией по позициям русской пехоты, чему, впрочем, сильно мешала болотистая и заросшая кустарником местность. Однако его одушевление увлекло прусские эскадроны. Он бросился на русскую линию с таким порывом, что прорвал ее, но оказался при этом перед большой батареей, осыпавшей его солдат ядрами. К тому же оба его фланга подвергались атакам кавалерии Демику и Еропкина. Схватка была столь жестокой, что под сабельными ударами пал генерал Демику — достойный соперник в этот день «великого кавалериста» Зейдлица. Вырученный конной контратакой Сибирский полк открыл залповый огонь по прусским эскадронам. Одновременно подошел и Панин с кавалерийскими и пехотными подкреплениями, завершив разгром прусской конницы, после чего атаковал пехотные линии. Воберснор безуспешно пытался выручить их, но сам пал, сраженный замертво. Весь левый фланг пруссаков был разбит, они в беспорядке бежали к Цюллихау и болотам Одера. Брошенному на произвол судьбы Каницу не оставалось ничего иного, как последовать за ними. Регулярная русская кавалерия преследовала неприятеля до Глоксена и Гейдемюле, но уже не имела сил идти далее. Было восемь часов вечера, войска сражались с трех часов утра. Продолжать

преследование было велено гусарам и казакам Тотлебена, вернувшимся из разведки на Гольцен. Они захватили множество трофеев и пленных, но остановились у Одера. Остатки прусской армии перешли реку у Чичерцига и продолжали откатываться еще дальше.

Так завершилась битва 23 июля 1759 г., которую пруссаки называют сражением при Цюллихау, а русские — битвой при Пальциге. Русская пехота выказала свою обычную стойкость; артиллерия, как всегда, сохраняла превосходство над неприятельской; наконец, впервые русская кавалерия превзошла прусскую. Что касается самого Салтыкова, то успех его обходного маневра, удачный выбор позиции, предусмотрительное усиление правого фланга, своевременное перемещение резервов с левого крыла — все это показало его как генерала, вполне достойного соперничать с самим Фридрихом II.

Прусскую армию постигла полная катастрофа. Фридрих, не особенно склонный уменьшать собственные потери в тех случаях, если командовал не он сам, признает: «Генерал Ведель потерял в сей баталии 4–5 тыс. чел. По всей вероятности, неприятель не претерпел существенного урона, поелику местность вполне ему благоприятствовала» [\[173\]](#).

Салтыков в своем донесении сообщал, что погребено 4220 пруссаков и 1200 взято пленными. Это, по-видимому, весьма близко к истине. Г-н Масловский оценивает потери неприятеля в 4269 убитыми, 1394 ранеными, 600 чел. пленными и 1406 дезертиров. Таким образом, армия Веделя оказалась ослабленной на 7–8 тыс. чел. Цифры, приводимые Шефером [\[174\]](#), показывают 8 тыс. убитых и раненых и свидетельствуют, что позднейший русский историк не впал в преувеличение. Русские потери составили 900 чел. убитыми и 3904 ранеными.

С обеих сторон весьма чувствительной оказалась убыль высших командиров. У русских погиб генерал Демику, ранены генералы Бороздин, Ельчанинов и четыре полковника. Пруссаки оплакивали доблестного Воберснова, у них были ранены генералы Мантейфель и Габленц.

В качестве трофеев русскому командующему представили 4 знамени пехотных полков, 3 кавалерийских штандарта, 14 пушек и 4 тыс. ружей.

Салтыков, опасавшийся контрнаступления неприятеля, прежде всего выравнял позиции своих полков и заменил особенно пострадавшие из них в первой линии. Затем были произведены залпы победного салюта, и он лично участвовал в вечерней молитве на поле брани, усеянном трупами и умирающими. 24 июля он вручил свое донесение для царицы поручику Салтыкову. Оно выгодно отличается от некоторых реляций Фермора и представляет собой поразительное свидетельство о доблести русской армии:

«Неприятель пять раз возобновлял атаку свежими полками и всегда в больших силах. Войско Вашего Величества неизменно выказывало толикую доблесть, что одна лишь первая линия без вспоможения со стороны второй не уступала ни вершка земли и, нимало не поколебавшись, не токмо что выдержала все сии пять атак, но одержала полную и совершенную победу, прогнала неприятеля с поля битвы, повергнув оного в замешательство и бегство, и захватила множество штандартов, знамен и прочих трофеев <...>. Все без исключения, начиная от высших офицеров и генералов и до последнего солдата, исполнили свой долг верноподданных ...» [\[175\]](#)

Генерал Петр Иванович Панин в письме к брату Никите с не меньшей похвалой отзывался о великодушии русского солдата:

«... но, к особенному удивлению, сами мы видели, что многие наши легко

раненые неприятельских тяжелораненых на себе из опасности выносили; солдаты наши своим хлебом и водою, в коей сами великую нужду тогда имели, их снабжали, так как бы они единодушно положили помрачить злословящих войско наше в нерегулярстве и бесчеловечии ...»^[176]

Салтыков показал Дауну *Кунктатору*, как любой ценой нужно держать данное слово и как ради общего успеха не отступать перед опасным врагом. И до, и после победы у него как будто не было иной заботы, чем поддержание сообщений с этим ускользящим союзником. Он стремился приблизиться к тем местам, где можно было соединиться с австрийцами. 25 июля Салтыков решил занять Кроссен на Одере силами бригады князя Волконского. Но как раз в этот момент туда же направлялся и Ведель. 28-го гусары Малаховского опередили русских, но были сразу же выбиты Волконским, который захватил и сам город, и прусские магазины. Казаки Перфильева, ринувшись в погоню на другой берег реки, взяли две пушки и вынудили Веделя изменить свое движение.

Наконец, 26 июля Салтыков, остававшийся три дня у Пальцига, чтобы похоронить убитых и помочь раненым, снял лагерь и 28-го прибыл в Кроссен. Он направил на другой берег Одера кавалерию Тотлебена и корпус Голицына, чтобы очистить местность и подготовиться к соединению с австрийцами. На левый берег в сторону Франкфурта, богатого торгового города, где было 1300 домов, Салтыков послал Вильбуа с пятью полками пехоты, двумя конногренадерскими полками, гусарами, казаками и артиллерией. Город не имел возможности защищаться — Фридрих II взял оттуда для укрепления Кюстрина все пушки и оставил лишь один батальон майора Арнима. Подошедший к городу Вильбуа нашел мост разрушенным и, желая пощадить жителей, направил к коменданту парламентарера. Арним потребовал свободного выхода гарнизона со всем имуществом и оружием, но ему было отказано, и началось бомбардирование города. Почти сразу после этого к русскому генералу явился магистратский секретарь с известием, что гарнизон ушел, а жители изъявляют свою полную покорность. Вильбуа прежде всего потребовал восстановить мост через Одер и, как только это было сделано, переправил гусар Зорича и конногренадер Бюлау для преследования гарнизона. Но казаки Луковникова уже переплыли Одер и первыми напали на малочисленную колонну майора Арнима. Не атакуя по фронту, они задержали ее до подхода Зорича, после чего она и положила оружие.

Вильбуа вошел во Франкфурт во главе Выборгского пехотного полка и был принят жителями с обычными почестями. Он сразу же наложил на город контрибуцию в 200 тыс. талеров и потребовал значительных поставок провианта.

На следующий день со стороны другого берега появился Лаудон, который даже пытался опередить русских во взятии Франкфурта и лишить их самого блестящего результата одержанной победы. Он потребовал от Вильбуа половину контрибуции и реквизированного имущества, но получил отказ.

3 августа при звоне колоколов и громе пушечных залпов состоялся триумфальный въезд во Франкфурт самого Салтыкова. Магистрат встретил его приветственной речью и поднес ключи от города, которые тотчас были отправлены к царице.

Глава одиннадцатая. Битва при Кунерсдорфе (12 августа 1759 г.)



Известие о пальцигской победе воодушевило австрийцев. Салтыков через их курьера просил Лаудона о совместном наступлении на Франкфурт, чтобы помешать соединению принца Генриха с прусским королем. «Сие тем паче надобно, — добавлял он, — что я обретаюсь ныне не далее чем в 15 милях от Берлина».

Только теперь Даун счел «возможным» согласиться на просьбу русских союзников. Он усилил Лаудона 12 пехотными батальонами, 12 ротами гренадер и 3 драгунскими полками, что увеличило наличный штат его корпуса до 18–20 тыс. чел. Гадику было приказано идти в том же направлении, беспокоить принца Генриха и, если представится случай, «не подвергаясь риску, разбить его». Сам Даун оставался в Марклизе и не намеревался покидать свои позиции до тех пор, пока прусские войска не уйдут из Шмоттзайфена и Лёвенбурга. Зато после этого, по его клятвенному заверению, он сразу же будет «наступать им на пятки». Но на самом деле Даун не столько хотел помочь своим союзникам, сколько рассчитывал на то, что прусский король хотя бы ненадолго отдалится от него.

Однако передвижения австрийских войск происходили чрезвычайно медленно. 27 июля Лаудон оставался еще в Ротенбурге, лишь 1 августа головы его колонн достигли окрестностей Франкфурта на левом берегу Одера.

Салтыков писал в Петербург, что он весьма затруднен в своих действиях, поелику еще не проник в великий «секрет» фельдмаршала Дауна. Но благодаря присущей ему тонкой проницательности он угадывал суть этого великого секрета — инертность, нерешительность и, быть может, даже робость. Прусский король не ошибался в своем мнении об австрийском противнике, когда откровенно говорил: «Австрийцы меня совершенно не заботят»^[177]. Зато Фридриха II беспокоили русские. С нетерпением и страхом он ожидал известий о том, «что происходит в Цюллихау». Эти известия пришли только 24 июля в три часа пополудни. Предоставим слово очевидцу, Генриху де Катту:

«В разговоре со мной король сказал, насколько философия помогает при тяжких обстоятельствах <...>. В это время издали показался идущий быстрым шагом королевский адъютант Бонен. Когда он приблизился, я увидел, что один из углов его шляпы прострелен. „Государь, вот ваш адъютант в простреленной шляпе; наверное, произошла баталия“. При сих словах лицо короля побагровело: „Где он? Где он?“ — Сейчас войдет». Его Величество самолично отворил ему дверь: «Входите! Так что же все-таки случилось? Что с Веделем?» — «Государь, он дал русским баталию и проиграл. Воберснот убит». — «Проиграл! Да как же, черт возьми, он ухитрился проиграть! Говорите мне правду, только правду, слышите?» <...> Когда Бонен закончил свой рапорт, король продолжал: «Да что вы мне рассказываете о таких глупостях? Разве можно совершать столь неслыханные безрассудства? Ладно! Отправляйтесь к генералу Веделю (уже не как прежде: „моему другу Веделю“), передайте, что я скоро буду у него. И нигде не задерживайтесь. Поспешайте, но никому ни слова, когда выйдете от меня».

Как только адъютант ушел, король предался всей той горести, каковую причинило ему сие известие о проигранной баталии: «Боже, как я несчастен! Что

может быть хуже теперешнего моего положения? Я остался совсем один! И как теперь обороняться? <...> Да разве можно занимать позицию у непроходимого ручья, посылать войска по узкому мосту, подставляя под канонаду? Да эти б...ди просто подходили с ума! Вот вы, совсем не великий стратег, но уж, конечно, не наделали бы подобных глупостей <...>. А этот Ведель, этот Ведель, устроил мне такое свинство! Да и вообще от этой армии с самого начала не было никакого толка! И вся эта б...кая разобщенность между генералами, особенно промеж Доной и Воберсеном, все портила, и офицеров, и солдат, и саму чертову бабушку <...>. А этот господин совсем уже не ко времени проиграл мне баталию, да еще самым дурацким образом! Теперь надобно во всем разбираться. Ладно, спокойной ночи! Надеюсь, вы будете спать лучше, чем я»^[178].

Итак, Фридриху надо было все, и притом одновременно, приводить в порядок после поражения Фердинанда Брауншвейгского у Бергена и Веделя при Пальциге. Но где найти ресурсы для этого? Где взять людей? Тем более офицеров и генералов. С каждой не только проигранной баталией, но даже и одержанной победой вокруг него становилось все меньше и меньше людей.

С 24 по 29 июля Фридрих II оставался в Шмттзайфене, стараясь приободрить ближайших своих соратников. О сражении 23 июля он говорил, например, принцу Генриху, как о деле, окончившемся «не вполне для нас благоприятно»; принца Вюртембергского он заверял, что «мы с честью поправим все упущенное», а Фердинанда Брауншвейгского утешал незначительными потерями — всего 1400 чел., в то время как у русских «14 тыс. убитых и раненых». Одновременно он забирал солдат из других корпусов. Наконец 28-го король сказал де Катту: «Завтра выступаем. Так угодно неблагоприятной для меня Фортуне. Если нам не суждено больше встретиться, вспоминайте иногда о том, кто сделался игрушкой судьбы, но желал вам добра». И, вспомнив про ту далекую и столь ненавидевшую его царицу, иронически перефразировал стих из «Аталии»:

Daigne, daigne, mon Dieu, sur Kaunitz, et sur elle ...^[58]

30 июля с десятью тысячами лучших своих войск и несравненным Зейдлицем он был в Загане, где к нему присоединился принц Генрих (14 батальонов, 25 эскадронов) и принц Вюртембергский (6 батальонов, 15 эскадронов). После этого он послал своего брата командовать оставленной в Шмттзайфене армией.

Австрийский генерал Гадик упустил возможность напасть на принца Генриха и «наверняка разбить его», как было предписано Дауном, который затем приказал Гадику беспокоить арьергард пруссаков и поставить короля «между двух огней». Но Фридрих II шел слишком быстро и 2 августа был уже в Мерцдорфе. Здесь он имел удовольствие взять в плен весь Вюрцбургский полк, целиком захватить обоз Гадика и еще в придачу 600 ящиков с продовольственными припасами. Но тогда же стало известно, что русские вошли во Франкфурт, и он написал принцу Генриху^[179]: «Как только мы соберемся хоть немного с силами, сразу же пойдём на них и будем биться *pro aris et focis*^[180]. 3 августа король достиг Беескова. „Мы прибыли сюда после продолжительных и тягчайших маршей. <...> Я не спал уже шесть ночей“»^[181]. 4-го в Мюльрозе он соединился с Веделем и, кроме того, перевел к себе еще 10 тыс. чел. генерала Финка из-под Торгау. Тем не менее Фридрих вполне осознавал всю опасность своего положения.

«Я хотел бы, — писал он все тому же Финкенштейну, — прислать вам столь же добрую весть, как только что полученная мною (о победе, одержанной Фердинандом Брауншвейгским 1 августа при Миндене. — AP.), однако мои *сибирские медведи* это вам не французы, а артиллерия Салтыкова в сто раз лучше, чем у Контада»^[182].

Пока Фридрих II поспешал к Франкфурту, что же делал тот самый Даун, который клялся «следовать по его пятам»? Захваченные у Гадики обозы обескуражили его, и он даже не осмелился напасть на остатки войска принца Генриха в Загане, а велел Гадику идти на соединение с Лауд оном, через которого представил Салтыкову весьма странный план совместных действий.

Лаудон начал с того, что запросил 30-тысячный русский корпус и 500 тыс. талеров из миллиона франкфуртской контрибуции.

4 августа Салтыков принял парад австрийского контингента, командиры которого салютовали ему шпагами и преклонением императорских знамен при звуках труб и барабанов. Лаудон уведомил Салтыкова о намерениях своего шефа и открыл великий «секрет», так и не понятый Салтыковым — предложение об отступлении русских на Кроссен с последующим присоединением к Дауну в Силезии. Русский главнокомандующий указал на всю затруднительность того, чтобы развернуть назад весь громоздкий обоз и все лазаретные фуры. Тягловые артиллерийские лошади и прислуга и так уже были измотаны столь продолжительными маршами; у многих пушек при ужасающей канонаде 23 июля повредились лафеты, а во время сражения было потеряно множество лошадей. К тому же недоставало еще и снарядов. Свирепствовавший падеж скота достигал 80 быков в день. Тогда Лаудон предложил задержать обоз и 10 тыс. русских во Франкфурте, а поскольку в Силезии ощущалась нехватка фуража, оставить казаков на правом берегу Одера. На вопрос Салтыкова, как долго предполагается держать русский корпус в Силезии, было отвечено: «Всю зиму». Русский главнокомандующий не возражал против отступления к Кроссену, но не согласился уходить далеко и надолго в Силезию. Если австрийцы только о ней и думали, то Салтыкову тем более надлежало заботиться о собственной армии, которая в случае разделения на три части неизбежно погибнет, а также и о Восточной Пруссии, оказующейся в этом случае беззащитной от покушений неприятеля. Впоследствии Конференция вполне одобрила все его решения. Салтыков, в свою очередь, предложил австрийским генералам перейти на правый берег Одера, для чего он уже навел мост у Щетнова.

Известие о появлении Фридриха II в Мерцдорфе не позволяло союзникам безнаказанно оставаться на левом берегу. По этой и некоторым другим причинам пришлось отложить и наступление на Берлин. Самое большее, что представлялось тогда возможным — это послать туда корпус Румянцева для сбора контрибуции, продовольственных припасов и лошадей. Уже во второй раз накануне генерального сражения его хотели отдалить от армии. Однако быстрое приближение прусского короля помешало этому.

Армия союзников охранялась казаками. Тотлебен руководил организацией линии аванпостов и разведкой. Полковник Туровинов произвел набег до предместий Кюстрина, захватил пленных и сжег воинские магазины. Другие отряды мешали сообщению на дороге между Франкфуртом и Берлином. 7 августа гусарский поручик Венцель переправился через Одер у Лебуса, дошел до Мюнхеберга и, посеяв тревогу в неприятельском корпусе, отступил на Щетнов. Он донес, что вся местность на Шпрее между Рауеном и Пильграмом уже занята пруссаками, которые повсюду реквизируют лодки.

Если ранее можно было предполагать, что Фридрих II явился лишь для защиты Берлина, теперь уже явно обозначились его намерения перейти Одер. 9 августа со стороны Вальдова были слышны пушечные залпы — король салютовал победе при Миндене. В тот же день

военный совет с участием Салтыкова, Фермора и Лаудона принял решение идти на Кроссен, однако исполнение его было ненадолго отложено. 10-го стало известно о приготовлениях Фридриха к переходу через Одер у Лебуса, между Франкфуртом и Кюстрином. Поскольку отступление на Кроссен было принципиально решено, не делалось и никаких попыток помешать переправе пруссаков, которая завершилась без малейших затруднений 11 августа. Это событие полностью переменяло всю ситуацию. Уже нельзя было и думать об отступлении. Наименее опасным оставалось только одно — принять сражение.

Русская армия состояла из четырех корпусов: 1-го (Фермора), 2-го (Вильбуа), 3-го (Румянцева) и 4-го (Голицына, или Обсервационного). В ней было 33 полка пехоты, 5 кирасирских полков, 5 конногренадерских, 1 драгунский, 3 гусарских и, кроме того, чугуевские казаки. Всего 45 тыс. чел. при 200 пушках. Вновь прибывшие корпуса лишь восполнили недостачу от потерь на маршах и во время Пальцигского сражения. Почти вся легкая кавалерия, гусары и казаки были разосланы по разведкам и набегам.

Австрийцы имели 6 пехотных полков, 33 эскадрона и конногренадер Лаудона, всего 18 523 чел. при 40 пушках. Этой объединенной шестидесятитысячной армии Фридрих II мог противопоставить только 48 тыс. чел. и 114 больших орудий. Его армия состояла из двух совершенно различных частей: армии Веделя, полки которой были уже испытаны при Грос-Егерсдорфе, Цорндорфе и Пальциге, и войск, пришедших из Силезии и Саксонии (10 тыс. чел.). Следует отметить, что при общем численном преимуществе союзников прусская кавалерия обладала превосходством, имея 93 эскадрона против 71, а артиллерия Фридриха, уступая в количестве, имела преимущество больших калибров.

Утром 12 августа 1759 г., так же как и год назад, 25 августа, восточное крыло русских располагалось вблизи Одера и прусского города, на сей раз занятого ими, — Франкфурта, в то время как в 1758 г. взять Кюстрин так и не удалось. Но теперь битва происходила почти в самых городских предместьях. Здесь, подобно Цорндорфу, линию холмов, ориентированную с востока на запад, перерезали овраги.

Армия Салтыкова расположилась на этих высотах, и если бы ее сбили к востоку или югу, она увязла бы на болотистых берегах Одера. Но и пруссаки имели опасные секторы, поскольку в тылу у них были или Одер, или Варта.

Русская армия построилась на трех высотах: западное крыло (Фермор и Вильбуа) — на Юденберге; центр (Румянцев) — на плато Большого Шпитцберга, а восточное крыло (Голицын) — на Мюльберге. Что касается австрийцев, то они еще не заняли позиции на холмах и были сосредоточены у франкфуртского форта Ротфорверк.

Салтыков не сомневался в атаке неприятеля с севера и прикрыл свой фронт оборонительными сооружениями, которые еще более усложнили профиль холмов, где были поставлены батареи большого калибра. При таком расположении оставалось только два пути к отступлению: дороге из Франкфурта на Кроссен и по четырем наведенным через Одер мостам. Первое неудобство, аналогичное уже бывшему при Цорндорфе, заключалось в том, что русская армия оказалась разделенной на три части двумя глубокими оврагами, и поэтому отдельные корпуса могли лишь с большим трудом приходить друг другу на помощь. Во-вторых, Обсервационный корпус, сократившийся до пяти слабых полков и все еще не изживший свои первородные пороки, стоял на самом низком и наименее защищенном из холмов.

Салтыков перевел тяжелые обозы обеих армий на другой берег Одера у Щетнова, и там был сооружен вагенбург, охранявшийся одним пехотным полком. Для сообщения с ним навели еще и пятый мост с тет-де-поном^[183], занятым тремя австрийскими полками.

В самом Франкфурте Салтыков оставил только двести солдат и пять офицеров для

защиты жителей.

Русская легкая кавалерия сосредоточилась между тет-де-поном и Юденбергом, а также у северного склона горы Шпитцберг. И, наконец, по течению Хюнера (или Хюнерфлюсса — Куринового ручья) располагались аванпосты.

Фридрих II перешел Одер у Лебуса по пяти мостам. Затем, не желая атаковать русских по фронту, он совершил обходной маневр их восточного крыла. Этот маневр оказался чрезвычайно тяжелым, так как пришлось пробиваться через лес и болота да еще тащить за собой большие пушки, взятые в Кюстрине. 11 августа в два часа основная масса его войск заняла позиции между высотами Треттина и прудами Бишофзе. На холмах король поставил батареи и выслал аванпосты к Хюнерфлюссу.

Салтыков уже понял, что Фридрих II выйдет к деревне Кунерсдорф, то есть прямо на тылы союзников, и скомандовал общий поворот кругом для всех войск. Повторялась ситуация Цорндорфа — фланги менялись местами.

Все то время, пока прусские войска были на марше, то есть с 11 часов дня и часть следующей ночи, Салтыков мог заниматься укреплением своей позиции. Пушки крупного калибра он переместил на южную сторону. Юденберг оцетинился тремя большими батареями, одна из которых могла простреливать мосты у Франкфурта и Щетнова. Вторая, направленная на юг, держала под прицелом склоны холмов. Огромная батарея была установлена на господствующей высоте Большой Шпитцберг, а рядом с нею еще одна. На холме Мюльберг расположились две батареи и звездообразный редут для обстрела Малого Шпитцберга и Хюнерфлюсса. Все эти батареи соединялись куртинами^[184], с которых могла вести огонь и пехота, и полковая артиллерия. У подножия холмов были вырыты волчьи ямы против кавалерийских атак. Таким образом, все три холма представляли собой цитадель с замкнутой круговой обороной, где роль бастионов играли большие батареи. Теперь Салтыков не беспокоился ни о Юденберге, который неприятель мог атаковать, лишь имея за спиной ручей, ни о северном склоне, где уже и раньше были укрепления, не говоря о болотах, делавших его неприступным.

Он перевел на Юденберг австрийскую пехоту, а корпус Вильбуа на плато Большого Шпитцберга. Все кавалерийские полки были сосредоточены у подножия холмов.

В течение всего дня 11 августа Фридрих II мог предполагать, что Салтыков, угрожаемый неприятельской позицией между Треттином и Бишофзе, ночью отступит или по франкфуртским мостам, или же по дороге на Кроссен. Однако ничего подобного не произошло, и ему пришлось готовиться к завтрашней битве.

Предполагалось начать ее двойной атакой: Финка и Шорлемера со стороны Треттина и самого короля от Бишофзе. В половине третьего ночи Фридрих начал движение и перешел Хюнерфлюсс. Это не обеспокоило Салтыкова, подумавшего, что дело идет об обычной разведке. На рассвете Лауд он зажег Кунерсдорф, дабы затруднить проход между его прудами.

В 9 часов утра две прусские батареи открыли огонь с высот Треттина, а остальные заняли Малый Шпитцберг и берега кунерсдорфских прудов, так что Мюльберг оказался «в кольце прусских батарей словно при регулярной осаде»^[185]. В 10 часов стали разворачиваться прусская пехота и кавалерия. Король построил пехоту в четыре линии; его кавалерия состояла из четырех дивизий: принца Вюртембергского, Зейдлица, Платена и Шорлемера. Как видно из «Ордера-де-баталии», составленного прусским генеральным штабом в 1860 г., Фридрих не надеялся на войска Веделя, столь часто битые русской армией, и распределил их по всей другим дивизиям, прежде всего своим собственным.

Салтыков, внимательно следивший за всеми передвижениями пруссаков, понял, что Мюльберг будет подвергнут ожесточенному штурму и удержать его не удастся. Он занялся

усилением Большого Шпитцберга и перевел туда австрийские полки, а к оврагам Кунгрунд и Лаудонгрунд подтянул кавалерию. На Юденберг были подняты австрийские гусары, которых он поставил между двумя русскими линиями.

В 11 часов прусский авангард спустился со своей позиции и под командою генерал-майора Юнг-Шенкендорфа, поддержанный огнем 60 пушек, атаковал Мюльберг. Этой атаке благоприятствовало и то, что при прохождении оврага Бекергрунд русские ядра не достигали пруссаков. Пехота князя Голицына, и без того смущенная молчанием своей артиллерии, увидела вдруг прямо перед собой и с обоих флангов атакующего неприятеля. В единое мгновение гренадерский полк был отброшен к северным болотам. Четыре мушкетерских полка, развернувшись направо и налево, пытались атаковать нападающих. Сюда же поспешил и сам Фридрих, чтобы поддержать свой авангард. Привезенные им пушки были поставлены на позицию и стали осыпать картечью эти мушкетерские полки и также сбросили их к болотистой пустоши Эльз-Буш.

Это был уже большой успех. Из трех занимаемых союзниками высот Фридрих II сумел захватить восточную — Мюльберг, что давало прекрасную возможность обстреливать и атаковать Большой Шпитцберг. Кроме того, было выведено из строя 15 русских батальонов и взято 42 пушки. Благодаря этому первому успеху король мог внести и вещественное, и моральное расстройство в русские войска, столь «неопытные в маневрах», оттеснить и сгрудить их на плато Большого Шпитцберга, что позволило бы прусской артиллерии стрелять по сплошной массе, не тратя даром ни одного ядра. «Не было ни единого пункта, — говорится в реляции Салтыкова, — где неприятельская артиллерия не наносила бы ужасающего урона, по каковой причине на нашей стороне взлетало на воздух множество зарядных ящиков, равно как и немалое число лафетов явились поврежденными»^[186].

Фридрих, несомненно, уже мнил себя победителем. В Берлин и к Силезской армии были посланы курьеры, к принцу Генриху тот самый, который привез известие о победе при Миндене.

Но оставалось, однако, куда более трудное дело — пересечь широкий (50–60 шагов) и глубокий овраг Кунгрунд под ядрами большой батареи Большого Шпитцберга и мушкетным огнем пехоты. Салтыков произвел новый маневр, чтобы повернуться фронтом к этому оврагу. Плато Большого Шпитцберга столь тесное, что там можно было построить не более двух полков по фронту, поэтому русские с австрийцами стояли там эшелонами. Командовавший ими Брюс пытался перейти Кунгрунд и снова овладеть Мюльбергом, но был отбит. Тем не менее это задержало атаку Фридриха II. Если бы король сумел сохранить первый порыв наступления и захватить большую батарею, русские были бы разбиты, поскольку огонь именно ее пушек по Кунерсдорфу и проходу между прудами не давал развернуться кавалерии Зейдлица и атаковать правый фланг русских позиций.

Фридрих II заметил, что болота Эльз-Буш не так уж непроходимы, как предполагалось, поскольку бежавшие с Мюльберга, а также русские конногренадеры смогли преодолеть их. Сначала по этим беглецам, которых пытался собрать князь Голицын, палили из пушек, и они, снова поддавшись панике, увлекли за собою и конногренадеров. Теперь пруссаки могли штурмовать плато Большого Шпитцберга с северной стороны. Король решил произвести тройную атаку: справа, через Эльз-Буш, по фронту через овраг Кунгрунд и кавалерией Зейдлица со своего левого фланга.

Правым крылом на штурм шли пехотные и кавалерийские колонны. Почти на уровне Лаудонгрунда и Юденберга прусская пехота столкнулась с Сибирским, Низовским и Азовским полками, поддержанными Углицким и Киевским под командою бригадиров Берга и Дерфельдена. С холма Юденберг австрийская артиллерия вела огонь по пруссакам, которые,

понесся огромные потери, откатились к Эльз-Бушу.

Стоявшая на левом фланге кавалерия принца Вюртембергского атаковала весьма неудачно, по словам Фридриха, единственно из-за нетерпеливости самого принца, который «не выдержал бездействия конницы»^[187] и бросился на штурм северного плато почти прямо против большой шпитцбергской батареи. Сначала атака шла довольно успешно: кирасиры взобрались по склону и ударили во фланг Новгородского полка, а поскольку вся русская пехота уже сражалась с прусской, то им удалось пройти в глубь позиции. Лаудон и Румянцев едва успели подтянуть полк Коловрата, тобольских драгун и Архангелогородский полк. Яростной контратакой они опрокинули прусских кирасир и отбросили их в Эльз-Буш.

Сам Фридрих II атаковал в центре — его авангард, первая линия и резерв генерала Финка гнали русские полки и приблизились на 150 шагов к большой батарее. Но здесь к русским со стороны Юденберга подошел бригадир Берг с Азовским, 2-м Московским и 1-м Гренадерским полками. Русская артиллерия также не бездействовала — генерал Бороздин со своими шуваловскими гаубицами осыпал ядрами слишком плотные ряды прусской пехоты. А русская пехота оборонялась с обычной для нее стойкостью. Атака стала захлебываться. И здесь Фридриху II уже не помогли ни его военный гений, ни изощренная тактика: это была схватка фронт на фронт, рубка саблями и штыковой бой лицом к лицу. Продвижение на каждый метр стоило груды трупов и умирающих.

Болотов пишет:

«Но, наконец, сам Бог надоумил их (наших генералов. — Д. С.) вместо опрокинутых и совсем уничтоженных поперечных коротких линий составить скорее другие, новые, таковые же, схватывая по одному полку из первой, а по другому из второй линии и составляя из них хотя короткие, но многие перемычки, выставляя их одну после другой пред неприятеля. И хотя они сим образом выставляемы были власно как на побиение неприятелю, который, ежеминутно умножаясь, подвигался отчасу далее вперед и с неописанным мужеством нападал на наши маленькие линии и их одну за другою истреблял до основания, однако, как и они, не поджав руки стояли, а каждая линия, сидючи на коленях до тех пор отстреливалась, покуда уже не оставалось почти никого в живых и целых, то все сие останавливало сколько-нибудь пруссаков и давало нашим генералам время хотя несколько обдуматься и собраться с духом; но трудно было тогда придумать какое-нибудь удобное средство к спасению себя и всей армии»^[188].

Тем не менее первой прусской линии удалось овладеть сожженным уже Кунерсдорфом и закрепиться на кладбище. Отсюда, карабкаясь по оврагам, пруссаки могли забраться на плато Шпитцберг и ударить в правый фланг союзников.

Для русских наступил самый критический момент всей битвы. Если верить Болотову, Салтыков совсем пал духом:

«Сам старичок, наш предводитель, находился уже в такой расстройке и отчаянии, что, забыв все, сошел с лошади, стал на колени и, воздев руки к небу, при всех просил со слезами Всемогущего помочь ему в таком бедствии и крайности и спасти людей своих от гибели явной. И молитва сия, приносимая от добродетельного старца, от чистой души и сердца, может быть, небесами была и услышана. Ибо через самое короткое время после того переменилось все и произошло то, чего никто не мог думать и воображать, и чего всего меньше

ожидать можно было»^[189].

К трем часам пополудни Фридрих II занял более половины той территории, на которой утром стояла русско-австрийская армия. Однако в бой была введена уже вся прусская пехота, включая резерв. Силы ее иссякали, требовались все новые и новые усилия, чтобы сбить русских со Шпитцберга и Юденберга. Генерал Финк советовал остановиться на занятых позициях; по его мнению, русские были материально и морально истощены и ждали лишь ночи, чтобы начать отступление, так что необходимый результат может быть достигнут без дальнейшей потери людей. Генерал Ретцов рассказывает, что «все генералы согласились с его мнением, за исключением одного, желавшего подольститься к королю». Болотов называет этого человека: «...король делает ему честь, спросив его сими словами: „А ты, Ведель, как думаешь?“» Сей, будучи столько же придворным человеком, сколько воином, восхотел королю польстить и изъявил совершенное свое согласие с его прежним мнением и желанием, и тогда король, недолго думая, закричал: «Ну! Так марш!»^[190].

Так ли все было на самом деле, но несомненно одно — Фридриха все еще удручал полууспех Цорндорфской битвы, к тому же и оспариваемый, и он хотел на этот раз полностью покончить с русскими еще до конца всей кампании. Ему была нужна полная и несомненная победа.

И он снова бросил в бой свою пехоту. Пруссаки прорвались справа к большой батарее и прошли через нее. Русские дрогнули и побежали. «Вот от чего зависит победа!» — написал впоследствии Фридрих^[191]. Согласно его рассказу подошедший на помощь русским Лаудон отбил батарею и открыл картечный огонь из больших пушек.

Теперь успех могла дать только атака на левом фланге. И для этого король выдвинул кавалерию Зейдлица. Но даже такой неустрашимый воин заколебался. Ведь надо было сначала дебушировать из-за кунерсдорфских прудов, построиться под перекрестным огнем батарей Шпитцберга и Юденберга и только потом идти в атаку вверх по крутым склонам, увенчанным ретраншементами и защищенным волчьими ямами. Даже обзор здесь был не так прост, как на поле Цорндорфской битвы. Поэтому Зейдлиц колебался, но, получая от короля один приказ за другим, не будучи уверенным в своем успехе при новом неповиновении, решил дать сигнал к атаке.

Через интервалы кавалерия дебушировала из-за прудов и, выстроив под страшным огнем артиллерии ряды, кидалась на оборонявшиеся полки (Псковский, 3-й и 4-й Гренадерские, Невский и Казанский). Но все было напрасно — она лишь с большими потерями откатывалась назад. У прошедших четырнадцать часов в седле людей уже не оставалось сил. Главный нерв прусской армии, ее великолепная конница была разбита. Разгром Зейдлица воодушевил слабую кавалерию союзников. Сначала отступавших контратаковали два эскадрона австрийских гусар и два эскадрона кирасир Его Императорского Высочества. За ними в атаку бросилась и вся остальная кавалерия под личным предводительством Лаудона. Зейдлиц был отброшен за пруды Кунерсдорфа. Победоносные эскадроны выстроились по кромке франкфуртского леса, лицом к Большому Шпитцбергу. С этого момента они уже не принимали почти никакого участия в сражении.

Салтыков вновь обрел присутствие духа. С Юденберга, где оставалось всего три полка австрийской пехоты и три гусарских, он непрерывно брал все новые и новые подкрепления для плато Шпитцберга. Туда был переведен весь корпус Фермора, еще не побывавший в бою. Оставленная на какие-то минуты большая батарея была отбита. Под этим неудержимым напором не имевшие свежих войск пруссаки откатились к оврагу Кунгрунд, на гребне которого вновь появились шуваловские гаубицы. Ядра ливнем сыпались на Мюльберг, куда

отошли от Шпитцберга прусские войска. Фридрих II утверждает, будто его солдаты боялись плена и отправки в Сибирь. Возникла паника. Пруссаки стали скатываться вниз по всем склонам. Русские перешли Кунгрунд и штыковой атакой овладели Мюльбергом. Через мгновение этот холм был очищен, а Кунерсдорф и кладбище захвачены.

Фридрих II понапрасну из последних сил старался остановить всеобщее бегство. На нем был разорван мундир, две его лошади убиты. Шальная пуля расплющилась о лежавший у него в кармане золотой футляр. Он беспрестанно пытался ввести в бой все, что хоть сколько-нибудь походило на войска, но пехотинцы, едва построившись, сразу же разбегались.

Уже не было ни одного целого батальона. Только кавалерия Зейдлица и несколько эскадронов гвардейских кирасир оставались в седлах. Однако король любой ценой хотел вырвать ускользающую от него победу. Зейдлиц снова прошел между прудами Кунерсдорфа, атаковал ретраншементы русских, но упал, пораженный картечной пулей. Всё обратилось в бегство. Возвратившийся к драгунам, чтобы возглавить последнюю атаку, принц Вюртембергский оказался в одиночестве и был ранен. Генерал-майор Путкаммер пал, находясь впереди своих гусар. Были ранены генералы Финк и Хюльзен.

Избавившись от страха перед этой кавалерией, русские батальоны начали спускаться с высот. Регулярная конница, казаки, кроаты^[192] — все широко рассыпались по долине.

Фридрих еще пытался оборонять переправы через Хюнерфлюсс, используя для этого полк Лезвица, саперов и два эскадрона гвардейских кирасир. Но чугуевские казаки со своими длинными пиками опрокинули их, захватили штандарт и взяли в плен командира. Теперь бегущие пруссаки давили друг друга в узких проходах между озерами Бишофсзее. Весь саперный полк попал в плен. Фридрих остался почти один, и уже слышалось «Ура!» скачущих прямо на него казаков. Наконец поручику Притвицу удалось собрать 40 гусар, чтобы в сабельном бою прикрыть бегство короля.

Лаудон преследовал Зейдлица, Тотлебен поскакал на Бишофзе и Треттин. Победители собирали повсюду фуры, зарядные ящики и пушки. Всё, что пыталось сопротивляться, было или схвачено, или изрублено, или сброшено в болота. У Бишофзе Тотлебен загнал в топи целый эскадрон, но не пошел далее. Если бы преследование было энергичнее, а русская конница не так измотана или, быть может, не столь отвлечена грабежом, не уцелел бы ни один прусский батальон.

В тот же день корпус генерала Вунша, следовавший по другому берегу Одера, вошел во Франкфурт и пленил там 260 чел., оставленных Салтыковым в качестве охраны. Полковник Брандт, озабоченный защитой вагенбурга, ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать этому ничтожному подвигу, который русская армия даже и не заметила. Однако, если бы не победа союзников, это могло иметь тяжелые последствия. Что касается Вунша, то он сразу же ушел из Франкфурта на Лебус.

На следующий день Салтыков велел отслужить благодарственный молебен и произвести победный салют. Но теперь уже русским пушкам не отвечали, как это было в Цорндорфе, прусские залпы. Первая реляция была послана царице с другим Салтыковым (Николаем Ивановичем), который впоследствии служил гувернером великих князей Александра и Константина, получил титул князя и достиг фельдмаршальского чина.

Главнокомандующий свидетельствовал в своем донесении, «что если найдется где победа ее славнее и совершеннее, то, однако, ревность и искусство генералов и офицеров и мужество, храбрость, послушание и единодушие солдатства *должны навсегда примером остаться*. <...> Артиллерия наша сохранила ту славу, которую при всех прочих случаях приобрела»^[193].

Наконец, Салтыков деликатно похвалил и союзников-австрийцев: «Корпус римско-

императорских войск вместо обыкновенных почти между разнородными войсками зависти и несогласия, казались для того только соединены с армиею Вашего Императорского Величества, что обои войска имели взаимно неустрашимости своей беспристрастных свидетелей и что свету пример подать согласия и единодушия союзных войск...»^[194]

Салтыков написал также и канцлеру Воронцову: «Какой удар для прусского короля, который хотел изничтожить нас! А мы разбили его в пух и в прах»^[195].

Русские потеряли 2614 чел. убитыми и 10 863 ранеными; австрийцы — всего 1399 чел. Потери пруссаков были огромны: 7267 убитых, 4542 раненых и 7 тыс. пленных. Еще больше оказалось беглецов, которые так и не возвратились под знамена. Все прусские генералы были ранены, убиты или контужены; из рядов выбыло 540 офицеров. Неприятелю достались 26 пехотных знамен, 2 кавалерийских штандарта, 172 пушки, в том числе и те крупнокалиберные, которые Фридрих с таким трудом доставил из Кюстрина.

Среди прусских офицеров, погибших при Кунерсдорфе, был и тот, которого до сих пор оплакивает европейская литература — Эвальд фон Клейст^[196], майор полка Гаузена, автор «Весны» и многих других изящных и сильных стихотворений. Ему было 44 года, вместе со своим полком он штурмовал неприятельские позиции, уже имея с дюжину контузий и без двух ампутированных пальцев на правой руке. Невзирая на это, с саблей в левой руке Клейст атаковал австрийский батальон, но пуля поразила и здоровую руку. Все-таки он продолжал сражаться, пока залп картечи не перебил ему правую ногу и не свалил с лошади. Двое солдат подняли его и отнесли к хирургу, которого убило во время операции. Подоспевшие казаки ограбили раненого вплоть до шляпы, парика и рубашки. Они и прикончили бы его, но он стал говорить с ними по-польски, и, подумав, что это поляк, они бросили Клейста совсем голого в болото. К вечеру ему помогли русские гусары — вытащили на сухое место, дали старый плащ и шляпу, обогрели и накормили на своем бивуаке. Один гусар даже пожертвовал ему монету в восемь грошей. Однако другие казаки вскоре отобрали все полученное от гусар. На следующий день в 10 часов утра русский кавалерийский офицер по имени Штакельберг приказал положить Клейста на повозку и отвезти во Франкфурт. Его взял к себе профессор Николаи и ухаживал за ним. К Клейсту приходили многие русские офицеры с предложениями о помощи. Но было уже поздно. 24 августа, через двенадцать дней после баталии, Эвальд фон Клейст скончался от полученных ран. Профессор Николаи принял на себя заботы о похоронах, а русский комендант Франкфурта Четнов приказал отдать ему воинские почести: тело несли двенадцать гренадеров и за ним шли все старшие офицеры русского гарнизона.

Ужасным было отчаяние Фридриха вечером после битвы. Он писал министру Финкенштейну: «К несчастью, я все еще живу. Из сорокавосемьтысячной армии у меня не осталось и трех тысяч. Сейчас всё бежит, и я уже не властен над своими людьми... Это жесточайшее поражение, мне не пережить его. А последствия будут еще хуже. Нет более никаких средств, и, по правде говоря, я почитаю уже все потерянным и не смогу пережить гибель моего отечества. Прощайте навсегда!»^[197]

Два последние слова как будто намекают на то, что Фридрих подумывал о самоубийстве. И в самом деле, потеряна, казалось, последняя надежда. Разве можно было предвидеть, что Салтыков и Лаудон не бросятся преследовать оставшиеся у него какие-то несколько тысяч человек? Что принц Генрих, ослабленный взятыми у него войсками, сможет удержаться против Дауна? Что, наконец, ни для Берлина, ни вообще для Прусского Королевства отнюдь еще не все потеряно? Королю представлялась единственная перспектива — пленение кроатами или казаками. Спасаясь от Салтыкова, он неизбежно наталкивался на Дауна. До полного разгрома оставались считанные дни.

Ночь на 13 августа король провел в Отшере, на северо-востоке от Лебуса. 14-го, переправившись через Одер, он был в Рейтвейне. От усталости, нервного напряжения и контузии Фридрих чувствовал себя настолько больным, что передал командование всеми войсками генералу Финку. У него оставалось не более 3-10 тыс. чел. Полный упадок сил усугублялся для Фридриха еще и приступом подагры — он едва держался на ногах. Король совсем пал духом и уполномочил Финкенштейна просить Англию о посредничестве для мирных переговоров. Голова его омрачалась самыми безрадостными мыслями; вокруг уже не оставалось соратников былой славы: великий Шверин пал под стенами Праги, Кейт и Бранденбург — при Гохкирхене, Воберснор — при Пальциге, Путкаммер — при Кунерсдорфе. Под начало хирургов перешли Зейдлиц, принц Вюртембергский, Хюльзен, Итценплиц, Кноблорх. Все стало намного хуже по сравнению с тем временем, когда он писал: «Мои генералы полным галопом скачут вдоль Ахерона^[198], и скоро у меня вообще никого не будет»^[199]. «Злая война», которую столь упорно вели против него три женщины^[200], уничтожила всех его лучших людей. «Боже! Если бы у меня только было десять батальонов 1757 года! <...> Ведь то, что осталось, не сравнится даже с самым худшим из прежнего»^[201].

Впоследствии Фридрих признался: «Если бы русские сумели воспользоваться своей победой, если бы они преследовали наши декуражированные войска, с пруссаками было бы покончено... Окончание войны зависело только от неприятелей, им оставалось лишь нанести завершающий удар»^[202]. Вечером в день Кунерсдорфской битвы Фридрих уже видел врага, наступающего на его столицу. «В Берлине, — писал он Финкенштейну, — должны позаботиться о безопасности города»^[203]. На следующий день король предписал ему переехать вместе со всем правительством в Магдебург и порекомендовать «под рукою» всем богатым и состоятельным горожанам удалиться в Гамбург, поскольку «неприятель может быть в Берлине уже через два или три дня»^[204].

В Кунерсдорфской битве Салтыков показал себя далеко не заурядным генералом. Он решительно пошел на сражение; избрал наиболее выгодные позиции, усилив их естественные преимущества ретраншементами; делал глубокие рекогносцировки; готовясь к обороне, обеспечил себе и пути к отступлению. В своих диспозициях он сумел учесть намерения противника; отказался от рутинных больших каре времен Миниха; вовремя перемещал войска с западного фланга на помощь восточному, а в критический момент выказал хладнокровие и стойкость. Его можно упрекнуть лишь за то, что при самом начале сражения он не препятствовал переправе неприятеля через Одер, а в конце не довершил разгром пруссаков более энергичным преследованием.

Зато великий полководец совершил серьезнейшие ошибки. Он не позаботился тщательно разведать местность. Может быть, при столь сильных позициях неприятеля вообще не следовало давать битву, тем более что, оставаясь в обороне, он принудил бы союзников спуститься с высот для атаки. Впоследствии Фридрих как будто признал эту свою неосторожность. Де Катт пишет, что, желая утешить короля, он сказал ему: «Государь, разве на войне не приходится неизбежно рисковать?» — «Вы правы, любезный друг, однако сего не следует делать, рассчитывая на слабость или глупость неприятеля». И было ли верным направление главного удара на Мюльберг? Г-н Масловский задается вопросом, что предпринял бы великий Суворов на месте Салтыкова? Точно так же можно сравнивать с Фридрихом II и Наполеона. Русско-австрийская позиция у Аустерлица^[59] в некоторых отношениях повторяла кунерсдорфскую: такая же возвышенность, казавшаяся неприступной и ставшая ключом всей битвы. Наполеон не рассеивал свои силы, ему было нужно плато Пратцен, и он взял его. Правда, лишь после того, как ослабил своих противников. В самом

начале Кунерсдорфского сражения Наполеон скорее всего атаковал бы Мюльберг, но не упорствовал бы в переходе через овраг Кунгрунд. Он достаточно быстро превратил бы эту атаку в простую диверсию для отвлечения неприятельских сил со Шпитцберга и Юденберга. Вероятнее всего, главный удар был бы направлен на Юденберг, сколь бы сильной ни казалась эта позиция, пока пехота не понесла еще тяжелых потерь на второстепенном направлении.

Однако Фридрих II сосредоточил у Мюльберга все свои полки вплоть до последних резервов и поэтому был вынужден, чтобы расчистить для себя пространство, бросить на крутой и сильно укрепленный Шпитцберг конницу Зейдлица. Он безрассудно атаковал кавалерией ретраншементы и батареи. А когда надо было прикрывать отступление, превратившееся в паническое бегство, у него уже не оставалось этих великолепных эскадронов.

Позднее и втайне он не мог горько не упрекать себя, однако попервоначально предпочитал сваливать всю вину именно на эту кавалерию. 16 августа в письме к принцу Генриху Фридрих говорит лишь о том, что «после ранения принца Вюртембергского и Зейдлица конница исчезла с поля битвы»^[205]. Похоже, он все более и более укреплялся в этом несправедливом суждении, поскольку 24-го уже прямо возражает принцу Вюртембергскому: «В ответ на письмо ваше от 22-го числа я, к сожалению, должен сказать, что кавалерия ничем не отличилась в сей баталии и совсем не вовремя атаковала, вследствие чего пришла в совершенное расстройство, и когда она действительно понадобилась, то была уже ни к чему не способна»^[206]. Однако навряд ли и Зейдлиц, совсем не стремившийся к первой атаке, и принц Вюртембергский, и генерал Путкаммер решились бы атаковать вторично без приказа самого короля. И когда это произошло (к тому времени двое из них были ранены, а последний убит), не оставалось уже никакой надежды. Только благодаря их стойкости контратака русской пехоты задержалась и остатки прусской армии смогли отступить.

Если вспомнить ошибки Веделя при Пальциге, за которые его столь резко упрекал Фридрих II, то увидим, что сам король повторил их все при Кунерсдорфе: начатая без настоящей необходимости битва; атака на слишком сильные позиции и упорство в ее продолжении, несмотря на все уменьшающиеся шансы победить; наконец, использование кавалерии против хорошо укрепленных высот с тяжелой артиллерией.

Глава двенадцатая. После Кунерсдорфа. Конец кампании 1759 г.



Кунерсдорфская баталия произвела во всей Европе сильнейшее впечатление. Велика была радость самой царицы: во дворце отслужили благодарственный молебен, на который она пригласила и французского посланника. Этот последний обменялся поздравлениями с канцлером, которые закончились словами: «Всякий добрый русский должен быть добрым французом, как и каждый добрый француз — добрым русским»^[207].

Посланник сообщал, что Елизавета «со смирением и великим благочестием приняла сие великое событие, каковое почитает она за знак божественной протекции в пользу правого дела». Победоносный главнокомандующий получил фельдмаршальский жезл, в его честь была выбита медаль с надписью: «Победителю над пруссаками»^[60]. Царские щедроты излились и на других генералов. Подполковник Волков, привезший трофейные знамена, был произведен в полковники и награжден 2 тыс. рублей. «Прусские знамена и штандарты внесены во дворец с барабанным боем отрядом лейб-гвардии и поставлены в тронной зале» (Лопиталь). 17 сентября, в день рождения императрицы, бригадир Сумароков, поэт и драматург, директор новой русской труппы и один из основателей национального театра, представил на его подмостках пьесу «Прибежище добродетели» с прологом, посвященным великой победе («Новые лавры»)^[208].

Не меньшая радость царицы также при венском и саксонском дворах. Польский король наградил Салтыкова орденом Белого Орла. Мария Терезия прислала ему бриллиантовый перстень, табакерку с бриллиантами и 5 тыс. дукатов. Также получили подарки и драгоценности Фермор, Вильбуа, Румянцев, Панин и Штофельн.

Свои поздравления прислал в Петербург и версальский двор. Но, как мы знаем, во Франции всегда опасались чрезмерных побед России, хотя общественное мнение высоко ставило доблесть русских войск. Некто Тейссерн даже сочинил в честь Салтыкова поэму, переданную нашим посольством самой императрице^[209].

Министр Финкенштейн писал прусскому посланнику в Англии: «Только чудо может спасти нас. Поговорите с Питтом, но не в качестве посланника, а просто как друг. Изобразите сему великому мужу, сколь тяжелы нынешние обстоятельства самого верного союзника Англии. Быть может, ему удастся добиться мира»^[210]. Однако британское министерство отнюдь не пало духом после этого страшного разгрома. Прусского посланника заверили, что, пока сам Фридрих II жив и здоров, еще ничего не потеряно, а для переговоров о мире сейчас совсем неподходящее время.

Теперь уже никто не сомневается в том, что на другой день после битвы, в полной неразберихе, постигшей Прусское Королевство, было достаточно 20–25 тыс. русско-австрийских войск для того, чтобы занять Берлин и сразу же положить конец войне. Через два дня корпус Гадика снова соединился с Лаудоном. Тем не менее никто не пошел на Берлин. Даун, Лаудон и Гадик сразу же взялись за старое, заботясь лишь о том, как бы помешать Салтыкову воспользоваться плодами своей победы и направить его в Силезию. Их претензии и эгоизм прорывались наружу по любому поводу. В это трудно поверить, но они осмелились требовать передачи им трофейных пушек и даже военнопленных. Фельдмаршал отказался и приказал бригаде Бенкендорфа сопровождать эти пушки, пленных и своих раненых до

Позена.

Вследствие потерь, понесенных 12 августа, усугубленных к тому же отправкой этого отряда, у Салтыкова оставалось не более 20 тыс. чел., но зато Лаудон имел 15 тыс., а Гадик должен был привести к нему еще 12 тыс. Таким образом, численное превосходство оставалось на стороне австрийцев, и без них сделать что-либо было невозможно. Однако Гадик отказался идти на Берлин, отговариваясь самыми пустячными причинами: недостатком провианта, приближением осени (стоял конец августа) и риском нападения прусского короля на Саксонию.

Даун не двигался с места, опасаясь слабых сил принца Генриха, расположенных в Шмттзайфене и Лёвенберге, и вообще не намеревался нападать на него, оставляя для себя лишь наблюдение за передвижением пруссаков и воображая, будто принц хочет вклиниться между обеими императорскими армиями. Этим и ограничивались действия австрийцев, хотя Фридрих II еще 24 августа ожидал соединения союзников у Франкфурта, чтобы нанести Пруссии смертельный удар. Но Даун посылал к Салтыкову друг за другом князя Лобковица, генерала Ласи, затем русского военного агента Шпрингера все с одними и теми же предложениями: не имея возможности продолжать военные действия, надо уже думать о зимних квартирах. Русских он просил прикрывать его операции в Силезии или Саксонии.

Но мог ли Салтыков и без австрийцев идти на Берлин, предоставив своим союзникам совершать «по всем правилам науки» марш-маневры и бесплодные осады? К сожалению, это было невозможно, во-первых, из-за инструкций, предписывавших ему во всем советоваться с Дауном и не уклоняться от его просьб и предложений. Ведь даже две победы над пруссаками не избавили Салтыкова от мелочной опеки Конференции. Впоследствии куда более энергичный Суворов испытал на себе те же самые помехи: предписания из Петербурга, обязательность согласия на все союзников, эгоистический и подозрительный надзор из Вены. Даже после Кассано, Треббии и Нови^[61], после полного разгрома трех республиканских армий Суворов не смог перенести военные действия на территорию Франции. Ему пришлось внять призыву австрийцев и погубить свою победоносную армию в лабиринтах швейцарских гор^[62].

Однако и по чисто военным соображениям Салтыков не мог в одиночку действовать против Берлина. Для этого требовалось 25–30 тыс. чел., но, хотя у него и было около того же числа, многие из полков, в особенности Обсервационного корпуса, были дезорганизованы, не имели надежных солдат и хороших офицеров. И если после Пальцигской битвы он жаловался на поврежденные лафеты и непригодные пушки, недостачу для них тягловых лошадей, то можно представить себе, насколько все это усугубилось потерями, понесенными 12 августа!

После сражения Салтыков оставался у Кунерсдорфа еще четыре дня. 16 августа зловоние трупов стало невыносимым и уже грозило распространением заразы. Поэтому он снял лагерь и перешел Одер у Лоссова, направляясь на юг для соединения с австрийцами. 22-го он встретился в Губене с Дауном. Встреча прошла без свидетелей, и о ней стало известно лишь то, на что пожелали намекнуть сами главнокомандующие. Даун, конечно, отверг даже мысль о диверсии на Берлин, требуя от Салтыкова не переходить Одер и прикрывать австрийские войска при осаде Дрездена, после чего можно было бы совместно вторгнуться в Силезию. На это последнее предложение Салтыков ответил категорическим отказом — его слишком заботила безопасность Восточной Пруссии. Французский военный агент маркиз де Монталамбер в письме к герцогу Шуазелю сообщал о своем разговоре с Дауном:

«Фельдмаршал уведомил меня, что во время встречи с графом Салтыковым он

заручился от сего последнего обещанием оставаться по сю сторону Одера с условием предоставления для него потребного хлеба и фуража. После же взятия Дрездена обеим армиям надлежит идти в Силезию, где русские останутся на винтер-квартирах, ежели предполагаемая осада Нейссе завершится вожделенным успехом. Он настоятельно рекомендовал мне всячески поддерживать графа Салтыкова в сих намерениях»^[211].

Фридрих II, со своей стороны, так оценил эту знаменитую встречу двух фельдмаршалов:

«После настоятельных притязаний фельдмаршала Дауна в том смысле, чтобы г-н Салтыков энергически продолжал свои действия, сей последний отвечал ему: „Милостивый государь мой, я уже достаточно сделал за этот год — одержал две победы, кои стоили России 27 тыс. чел. Посему, прежде чем возобновить действия, я подожду, пока и вы дважды победите. Несправедливо, что войска моей государыни воюют в одиночку“»^[212].

Здесь Фридрих II был не очень далек от истины. Маркиз де Монталамбер так пишет о своих разговорах с русским фельдмаршалом и о тех настроениях, которые преобладали в его главной квартире:

«В лагере Либерозе, Лузация,
31 августа 1759 г.

...По прибытии сюда я нашел русских генералов изрядно подавленными всеми тяготами войны. Граф Салтыков неоднократно повторял мне, — и, кажется, всем вокруг тоже, — что русская армия сделала уже вполне достаточно; ... что теперь фельдмаршал Даун должен со своими свежими войсками завершить столь хорошо начатое дело. Сам же он готов его поддерживать и снова сражаться, ежели фельдмаршалу потребуется помощь. Но пока он намерен дать отдых своим войскам, ... поелику твердо решил сохранить уцелевших сих храбрецов, столь доблестно бившихся у Пальцига и Франкфурта^[213].

Я безуспешно представлял ему, что, не преследуя короля прусского, он отдаст австрийцам плоды всех своих побед. На сие он отвечал, будто несколько не ревнив к славе и желает им от всего сердца совершеннейших успехов, а сам сделал уже вполне достаточно.

Находясь еще в Петербурге, и в еще большей мере здесь, при армии, заметил я, что всё, почитающееся русским, глубоко убеждено в пренебрежении со стороны венского двора их интересами и единственном стремлении союзников переложить на них все тяготы сей войны. Вообще, после своих побед сделались они чрезвычайно заносчивыми и говорят об австрийцах в малопрстойных выражениях. На шведов же смотрят с презрением и ничего об оных не желают даже слышать. Граф Салтыков прямо сказал мне, что ни в коем случае не хотел бы иметь их в своей армии: „Прежде это были храбрецы, но время шведов прошло...“»^[214]

Когда впоследствии австрийцы окончательно вывели его из терпения, он еще более резко выразился в своем письме к канцлеру Воронцову:

«Не мое дело в политические дела вступать, но ежели изволите по прошедшим

временам посмотреть, надеюсь, много экземпелей сыщется, да и прошлого года Цорндорфская баталия довольно доказывает, какая помощь нашим подана, а и поближе, под Франкфуртом, король прусский за полторы сутки стал Одер переходить, чтоб нас атаковать; г. Даун был в девяти милях; к нему курьер за курьером, Гадик был в шести; я спросил у Лаудона, где Гадик, он может еще к нам послать?; тот сказал: не знаю. Король перешел — к нему курьер, король стал батареей делать — другой; баталия началась; полковник, который и возвратился, еще баталия не окончилась, и у своего полку ранен, стало не далеко были: могли бы послать, когда бы хотели; баталия сомнительна — еще курьер, баталия выиграна — курьер; король в конфузии реку перебрался; Гадик близко был, для чего не атаковал и всех не побрал? Лаудоновых всего два полка были в деле, а семь с места не тронулись; у нас осталось только три полка, кои не были в деле, и те при обозе, при артиллерии, у раненых и больных; ружья переломаны, а амуниция вся передрана и растеряна, побитые тела насилу в трое суток похоронили, раненых разбирали, артиллерию отправляли, вся армия была не в состоянии; у них все было цело и свежо. Я не попрекаю, а меня попрекают, для чего таки я совсем короля не потребил; кто отведал, тот знает, каково его величество легко потребить. Король стоял при Фирстенвальде и много в двадцати тысячах, не имея двадцати пушек. Я посылал генералом Карамелли к Дауну: атакуем; я с вами, сказал, не прочь; увидим; стой, поддержи короля, я только от вас требую; я все в его угодность, что я под Франкфуртом, в Лосоу, Гогенвальд, Либерних (?); Гадик был впереди, а наши гусары и казаки всякий день шармицели^[215] имели, где и граф Гордт взят; кто же был впереди и действовал. Даже что фураж почти на шпагах получали и рвали из рук, король же стоял в лесах, болотах, приступить было не можно. <...> Господин Даун меня всячески уговаривал, чтоб я стоял, он пойдет атаковать принца Генриха, я бы короля тут держал; потом прислал, что нельзя, не атакует короля; вот я того и ждал, и хотел также приступить, хотя и не требовали; вдруг слышу: поворотил в Саксонию;... Я, милостивый государь, поступок графа Дауна не хую, может быть, он поступил по указам, видно, что чужими руками жар загребать хотел, а своих людей берег... я хочу ведать ныне, в чем их желание состояло? Короля атаковать? — для чего сами не атаковали с такой великой армиею, почти дома; Богемия и Моравия в заду, магазины везде и крепости, в случае несчастья везде ретирада надежная. Ежели в чем бы я мог быть виновен, то для чего так далеко зашел, ибо ежели бы под Франкфуртом баталию проиграли, то бы могла вся армия пропасть, так быв отдалена не только от границ, от Вислы и Познани...»^[216]

Дрезден не сдавался Дауну, а Салтыкова обуревало нетерпение. 26 августа через австрийского генерала Карамелли он возобновил переговоры о совместной диверсии на Берлин, заявив при этом, что, если союзники не пожелают помочь ему, он отойдет к Губену. Однако после получения из Петербурга инструкций прикрывать осаду Дрездена он перешел в Либерозе и занял позицию на правом фланге Гадики, имея у себя в арьергарде Лаудона и оказавшись таким образом словно под надзором австрийцев. Салтыков оставался там до 16 сентября в полном бездействии.

Из его письма к канцлеру Воронцову видно, насколько тяжела была ему такая трата времени и как он раздражался на своих требовательных, но столь мало предприимчивых союзников:

«Окончание войны, мир или как изволите только конец были в наших руках: король прусский так разбит и разгромлен был, что не более 30 тысяч имел человек и около двадцати пушек в такой робости, коя всем известна; фамилия побежала в Магдебург, Берлин ждал себе гостей, нас или австрийцев. Господин Даун все то пропустил, в чем же, в пустых прожектах, пересылках, намерениях, в рассылках разных корпусов; что из того вышло? Все упустил из рук, стыда довольно получил, наконец и все потеряет; с такой великой армией, свежей довольно, не мог ни малого дела сделать, ниже на готовое; уже лучше этого случая не могло быть как мы ему дарили, разбив, разоря короля, подчивали, он ничего не сделал; вот я теперь две недели праздну стою, терпим нужду, не смею прогневить свою государыню, уже принужден отселе выступить; ежели еще стоять, то лошадей поморим, а нам разве придется пешим идти и провиант на себе везти, да и того нет; я, не надеясь на их обещание, велел свой изготовить; ежели все так манить будет, то пойду к своим магазинам. Милостивый государь, этаких храбрых людей право жаль терять напрасно, такой уже армии заводить трудно; дай Боже им здоровья, еще есть к чему прибавить, хотя рекрут, между стариками такие же будут. А от союзников нам добра ждать нечего, хотят, чтоб все мы делали, а они бы были целы, во всю кампанию еще неприятеля не видали...»^[217]

Во Франции также были недовольны Дауном. Герцог Шуазель дал это понять посланнику Штарембергу, когда в присутствии русского посланника Михаила Бестужева с аффектацией восхвалял доблесть русских при Кунерсдорфе и ограничился лишь упреком за их излишнюю мягкость в Восточной Пруссии: ведь можно было бы поправить свои финансы, наложив на нее чрезвычайную контрибуцию, как это сделал сам Фридрих II в Саксонии и Мекленбурге. Воронцов отвечал ему через того же Михаила Бестужева:

«По неведению прямого состояния доходов в Пруссии всяк может о собирании контрибуции сравнение полагать с Саксониею и Мекленбургиею, токмо мы ныне искусством удостоверены, что наложенные контрибуции прусские жители не в состоянии заплатить как за неимуществом своим, так и за недостатком ходячей монеты, которая из земли королем прусским вывезена; а употребленные отсюда великие суммы денег на содержание здешней армии почти все в Польше к немалому обогащению поляков издержаны. Впрочем, худому примеру короля прусского последовать не должно»^[218].

После того как 4 сентября пал Дрезден, Даун все еще отказывался идти на Берлин и отошел к Бауцену. Разъяренный его бездействием Салтыков все-таки принужден был подчиниться букве данных ему инструкций и вошел в Силезию со стороны Глогау, но за отсутствием артиллерийского парка мог произвести против этого города лишь обыкновенную демонстрацию. Он послал к Дауну Румянцева с требованием прислать пушки, а также денег взамен обещанного провианта. 22-го австрийский фельдмаршал пообещал артиллерию, но отказал в деньгах, предложив своим союзникам добывать себе пропитание реквизициями. Рассыпаясь в любезностях, он оправдывал свое бездействие против Фридриха II угрозою со стороны принца Генриха.

Однако никаких пушек прислано не было, и в результате потерянных на «пустопорожние прожекты» шести недель судьба снова повернулась лицом к прусскому королю и позволила ему начать наступление в Силезии на русские войска.

С 14 по 17 августа Фридрих находился в Лебусе, словно приклеенный к левому берегу Одера, не осмеливаясь даже пошевеливаться и ежеминутно ожидая переправы русских у Франкфурта, чтобы отбросить его на равнины Бранденбурга до самой Померании.

Однако с течением времени он начал приободриваться и даже впадать в неумеренное бахвальство: уверял, например, будто уничтожил 24 тыс. русских и 9 тыс. австрийцев. Его письма пересыпаны корнелевскими тирадами^[219], которые в сущности вполне искренне отражают возвышенное и героическое состояние души. «Ежели русские и вправду покушаются на Берлин, — писал он 16 августа Финкенштейну, — мы сразимся с ними, хоть и не надеясь победить, единственно ради того, чтобы погибнуть у стен Отечества»^[220]. «Положение наше ужасающее, — сообщал он Фердинанду Брауншвейгскому, — хотя неприятель и дает мне время. Может быть, его ошибки спасут меня... Рассчитывать же на наши подвиги — значит, хвататься за соломинку. И, я боюсь, теперь уже слишком поздно начинать переговоры о мире... Что касается меня, то я готов погибнуть ради всех вас»^[221].

1 августа Фридрих II был в Фюрстенвальде и писал все тому же Фердинанду Брауншвейгскому: «Боюсь, что завтра или, самое позднее, послезавтра произойдет баталия. И я, и все офицеры готовы или победить, или умереть. Дай Бог, чтобы так же думали и солдаты <...> Мои поздравления Зейдлицу и всем честным людям, достойно сражавшимся, и проклятие тем за...цам, которые обретаются у вас, не получив даже малейшей царапины»^[222]. 20-го он извещает Финкенштейна, что скоро у него в лагере будет 33 тыс. чел.: «Этого вполне достаточно при моих лучших офицерах и, конечно, ежели мои ребяташки соизволят исполнить свой долг. Скажу вам откровенно — я боюсь собственных войск более, нежели неприятельских»^[223].

Мало-помалу, с поразительной энергией он собирается с силами, вывозит из крепостей пушки и заново создает артиллерийский парк из 60 орудий; ставит в строй беглых и легкораненых; отзывает 4 батальона из Померании; несмотря на протесты Фердинанда Брауншвейгского, берет у него целый корпус пехоты и кавалерии. Пламенем своего гения и патриотизма он воодушевляет всю эту разнородную армию и вселяет в нее надежду на победу, хотя «наши храбрецы пали в битвах, и у меня остались только одни за...цы». Фридрих клянет судьбу, которая «подобна молодым девицам, избирающим для себя в любовники тех, кто е...т лучше других»^[224]; жалуется, что вынужден сражаться с «постоянно возрождающейся гидрой врагов»^[225]. Недоумевая, где взять войска против стольких неприятелей, он поражается, «как до сих пор голова его уже сто раз не свихнулась»^[226].

Но эта чудодейственная голова никогда не свихивается. Кампания 1759 г. еще раз доказывает, что великий полководец не тот, кто не проиграл ни одной битвы, а кто при тягчайших неудачах не отчаивается и умеет не дать неприятелю воспользоваться плодами побед.

Тринадцать дней, проведенные в фюрстенвальдском лагере, не были потеряны даром: если по мере отдаления рокового 12 августа союзники все более и более растрчивали впустую время и упускали плоды своего триумфа, то у Фридриха II уже накапливались новые силы для реванша.

30 августа король сообщает Финкенштейну неожиданную и радостную новость об уходе австрийцев в Лузацию: «Я полагал, что они пойдут на Берлин, а они двинулись в противоположном направлении»^[227]. 1 сентября разделение русских и австрийцев казалось уже совершившимся, и Фридрих с восторгом пишет принцу Генриху: «Возглашаю вам о чуде, осенившем Бранденбургский дом»^[228].

Действительно, чудо, которое одно только и могло спасти его, совершилось. Фельдмаршалу Дауну и Конференции удалось остановить натиск русских орлов, устремившихся к Берлину. Победоносная армия, опутанная невидимыми узами, подчиняясь зловещим чарам, оставалась недвижимой в своем лагере у Либерозе.

Однако все последствия Кунерсдорфской битвы еще не были исчерпаны. Она тяжким бременем придавливали Фридриха II, и если он не смог ни наказать Дауна за его бахвальство, ни спасти от капитуляции Дрезден, ни выкинуть «этих подлых шведов», которые, пользуясь его несчастиями, снова захватили Померанию^[229], то все это лишь потому, что его связывало присутствие русской армии.

Эта армия не шла на Берлин, но она оставалась в Бранденбурге. Фридрих II не мог ничего сделать до тех пор, пока он не «избавится» от русских. Только тогда, по его словам, «мы сможем хотя бы пошевелиться». Он высчитывал, насколько не хватало их армии провианта и фуража, и надеялся, что голод прогонит ее^[230]. Король был принужден играть при ней роль соглядатая, следовать за ней и во всем зависеть от нее.

Наконец, 16 сентября, изнуренный собственным бездействием, Салтыков, окончательно потеряв всякое доверие к союзникам, перешел из Либерозе в Губен, а Фридрих II в параллель ему — из Вальдова в Форете, куда он прибыл 19-го и догадался, что, «несомненно, русские нацеливаются на Глогау». Король пишет Финкенштейну: «Я спешу, как черт, чтобы опередить их». Он издевается над «смехотворными маневрами» Дауна и его действиями за всю кампанию, а заодно и над Лаудоном, намертво приклеившимся к Салтыкову, «загоняющим русских в Силезию» и «исполняющим роль обер-проводника медведей в Священной Римской Империи»^[231]. 20 сентября он пишет барону де ла Мотт-Фуке из Зорау:

«Русские намереваются осадить Глогау. Я лечу как на крыльях, чтобы опередить их, но у меня мало сил — всего 24 тыс. чел., дважды битых ... Однако я не допущу сей осады и скорее стану драться, будь что будет. Таково обыкновение доблестных рыцарей и мое тоже»^[232].

Как видно, он внутренне готовился к сражению, которое могло произойти в любой день. Но если Салтыков осознавал, в каком плохом состоянии находится материальная часть русской армии, и к тому же не доверял своим союзникам, то и прусский король отдавал себе отчет, насколько плохи дела у его «оборванцев». Он не препятствовал переходу русско-австрийцев через Бобер 21 сентября у Лангмеерсдорфа и тоже перешел эту реку, направляясь к Загану. Заняв там позицию, он перерезал тем самым все сообщения между Салтыковым и Дауном.

23 сентября во Фрейштадте собрался русско-австрийский военный совет, где было решено идти на Бейтен. Но вскоре пришла депеша Дауна, предлагавшего русским возвратиться в Саксонию. Лаудон и другие австрийские генералы заявили о намерении воссоединиться со своим главнокомандующим. Салтыков отвечал им, что в таком случае он отказывается от каких-либо действий в Силезии и сразу же отступит к магазинам на Висле. Австрийцы остались. 24-го русская армия в порядке баталии выступила на Бейтен, прикрываемая кавалерией Штофельна и Тотлебена. Лаудон ехал вместе с Салтыковым. В Бейтене (25 сентября) намеревались переправиться через Одер, однако разведчики Штофельна заметили прусский авангард, за которым шли пехотные колонны. Таким образом, чтобы достичь Бейтена, надо было сначала сразиться с Фридрихом II. Салтыков предпочел повернуть на север. Король писал принцу Генриху из Баунау: «Сегодня в 6 часов утра неприятельские генералы пожелали произвести рекогносцировку наших позиций. Судя по

всему, сии господа все еще почитают нас достаточно сильными, поелику армия их отступила и встала лагерем у Нейзальца»^[233].

Это был еще один «несомненно критический день». Может показаться удивительным, что Фридрих II не атаковал, поскольку, прижатые к Одеру и болотам, русские оказались бы тогда в худшем положении, чем при Фридланде в 1807 г.

Так прошло еще три дня. Салтыков колебался в выборе переправы: у Королата, Нейзальца или Кёльцена. Наконец он выбрал Кёльцен, и 28 сентября все прошло благополучно, хотя Тотлебен и предрекал неминуемую атаку. Возможно, маскированная завесой легкой кавалерии операция ускользнула от Фридриха, поскольку 28-го он писал барону де ла Мотт-Фуке: «Варвары все еще стоят насупротив меня, и я готовлю им знатный презент. Если все удастся, они быстро вылетят отсюда. Признаюсь откровенно, мне не терпится избавиться от них, и не ради себя, а ради страны, где они все жгут и всех убивают»^[234]. Нам неизвестно, что это был за «знатный презент». 30-го утром король напал на кавалерию Тотлебена, оставленную на левом берегу для охраны тет-де-понов. Атака была отбита, и Тотлебен переправился на другой берег. «И тако, по благополучном переправлении, — говорится в реляции Салтыкова, — в виду всей неприятельской армии, да еще такой, которою командовал сам их король, сняты были понтонные мосты ...», а мост на судах сожжен.

1 октября русская армия продолжала марш на Глогау. Она заняла позицию у Гросс-Оштейна и Куттлау, где ей пришлось оставаться до 22-го. Салтыков сразу же понял, что не сможет не только захватить Глогау внезапным приступом, но и вести правильную осаду крепости из-за нехватки необходимых для этого средств.

2 октября Фридрих II вошел в Глогау и в течение всего октября стоял лагерем в окрестных деревнях. Ожесточение его против неприятеля только возрастало, и он писал принцу Генриху: «Вы не можете представить себе, какие зверства совершили и совершают эти подлые русские. У нас словно оживает история Синея Бороды^[63]. Никогда еще не бывало народа столь варварского, бессмысленного и зверского»^[235].

Бессмысленность состояла, очевидно, в том, что ему приходилось сидеть в этой дыре — Глогау, когда было столько дел в Богемии, Саксонии и Померании. С первого же дня он не просто надеялся, а буквально вождедел отступления русских. Ведь их тяжелый обоз уже направился в Польшу и, несомненно, армия должна была последовать за ним. Мы увидим, что Салтыков весьма нелюбезно держал Фридриха в бездействии у Глогау целых пять недель — до 5 ноября!

Обе армии, основательно укрепившись, следили друг за другом. Только 5 октября, когда пруссаки попытались поставить батарею перед Шофзенем, началась перестрелка через Одер, продолжавшаяся два дня. Было убито 15 чел. и 10 лошадей. Но затем уже ничто не нарушало тусклую скуку лагерной жизни.

Из этого Богом забытого места король продолжал поддерживать свою обширную корреспонденцию — его заботили дела в Канаде и Индии, и он надеялся, что потеря двух колоний^[64] заставит наконец французов заключить мир; одно за другим следовали приказания берлинскому правительству, войскам в Саксонии, Вестфалии и Померании. 1 ноября был произведен торжественный салют, чтобы русские поверили в победу принца Генриха над Дауном. Фридрих развлекался также стихами и философскими опытами. В Кёбене он вспомнил, что именно в этих местах знаменитый Шуленбург совершил прославившее его отступление после победы Карла XII при Гурау^[65], и у него родилась «идея написать о военных талантах и характере сего государя»^[236].

Досуги Салтыкова были не столь разнообразны и литературны. Он не баловался с

музами, а беспокоился более всего о том, почему Даун не спешит на помощь, пока русские сковывают Фридриха, хотя и знал, что австрийский фельдмаршал продолжал бездействовать, боясь принца Генриха и даже короля, который мог «внезапно свалиться на него». Салтыкову было известно и то, что Кауниц, Эстергази и Сент-Андре не переставали жаловаться на русскую армию и обвиняли его самого в пассивности под Глогау и за отказ отпустить Лаудона вместе с русским подкреплением в 20–30 тыс. чел.

Он с горечью доказывал в своих письмах и донесениях^[237], что от него требуют не только невозможного, но и бессмысленного, чуть ли не предательства. Штурмовать Глогау в присутствии прусской армии под командованием самого Фридриха II? Пытаться вести правильную осаду, не располагая для этого никакими наличными средствами? Отправить с австрийцами 20 тыс. русских, имея всего 40 тыс.? Пожертвовать интересами России ради великих проектов того самого тактика, который упускал все представлявшиеся ему возможности?

22 октября Салтыков снял лагерь и направился к Герренштадту, где после отказа коменданта Клейста сдать город подверг его бомбардировке. Лаудон предложил ему возвратиться для осады Глогау, заверяя, что король будто бы уже ушел в Саксонию. Салтыков не возражал, однако на самом деле Фридрих оставался на своей позиции, не обманувшись ложным отступлением русских. В таком положении никто не мог предпринять каких-либо действий. Лаудон еще раз просил подкрепление в 30 тыс., и Салтыков опять твердо отказал ему, однако Конференция, не столь заботившаяся о русских интересах, предписала отправить 20 тыс. чел. Салтыков в принципе не возражал, но сопровождал свое согласие такими оговорками, что Лаудон сам не принял их.

Теперь уже ничто не мешало отходу русской армии на свои привисленские винтерквартиры. Кампания 1759 г. завершилась.

5 ноября Фридрих II, избавившись от столь длительного соседства с русскими, снял наконец свой лагерь и ушел на запад. 14-го он писал Финкенштейну: «Русские, до отвращения пресытившись австрийцами ... несомненно, согласятся на сепаратный мир»^[238].

Он был прав относительно первого, но заблуждался во втором, петербургский двор, недовольный бездействием Дауна, отвечал Эстергази, что августовские предложения Лаудона «истощили бы самое невозмутимое терпение» и недовольство фельдмаршалом Салтыковым основано на оскорбительных предубеждениях. В беседах с Лопиталем снова возвратились к идее о непосредственном и более тесном союзе с Францией, хотя бы только для того, «чтобы противостоять усилению Австрийского дома». Впрочем, и эта попытка не увенчалась успехом. Но русские не падали духом, и, как писал наш посланник, «одержанные победы еще более увеличили их надежды».

В кампанию 1759 г. Салтыков одержал две блистательные победы и заставил прусского короля отчаяться в своей удаче. Затем, когда его подталкивали идти в Силезию, он показал, что не хуже Дауна *Кунктатора* владеет искусством оборонительной войны. Перейдя Одер на виду у прусской армии, он занял под Глогау столь сильную позицию, что Фридрих II не осмелился напасть на него. Величайший полководец XVIII столетия был вынужден бросить все только ради того, чтобы в течение трех месяцев следить за этой главной неприятельской армией. Салтыков вынудил короля настолько ослабить другие корпуса своей армии, что после его ухода из Силезии герой Кунерсдорфа генерал Финк был окружен у Максена австрийцами и 20 ноября вместе с 12 тыс. солдат и 540 офицерами при 71 пушке положил оружие, отдав неприятелю 120 знамен и штандартов. «Значит, я принес и в Саксонию уготованные мне несчастья», — воскликнул Фридрих II^[239]. Он прекрасно понимал, что именно Кунерсдорф тяготеет над ним и катастрофа 20 ноября лишь хвост поражения 12

августа. Полковник Масловский отдает должное Салтыкову и в другом отношении: он не дал австрийцам обмануть себя, не подставил свою армию под удар у Глогау, не согласился раздробить русские войска в угоду Дауну или Лаудону. Он сумел устоять против несправедливой критики и безрассудных предписаний собственного правительства: «Граф Салтыков, будучи на месте, ясно видел, к чему дело клонится, и, несмотря на многие напрасные обиды Конференции, сумел удержать свое достоинство на должной высоте и предупредить самые тяжкие последствия, могущие быть, например, от дробления сил или от маневров в Силезии совместно с Лаудоном»^[240].

И, наконец, г-н Масловский заключает, что Салтыков «нисколько не повинен в столь малой результативности своих блистательных побед». «На это ... могущественно влияли как чисто стратегические требования обстановки, так и крупные ошибки русской дипломатии, которая, находясь в полной зависимости от графа Кауница, не дала главнокомандующему ... исходных данных политической обстановки, нужных ему для правильного решения своей специальной задачи»^[241].

Но все-таки царица могла гордиться этой кампанией: ведь Фридриха II крепко поколотили. Он и сам признавал свое поражение, а впоследствии, подзуживаемый демоном версификации, переложил это и на стихи, которые адресовал Вольтеру:

La fortuna inconstante et fière
Ne traite pas ses courtisans
Toujours d'égale maniere.
Ces fous nommes héros et courent les champs,
Couverts de sang et de poussière,
Voltaire, n'ont pas tous les ans
La faveur de voir le derriere
De leurs ennemis insolents.
Pour les humiler, la quinteuse déese
Quelquefois les oblige eux-mêmes á le montrer.
Oui, nous l'avons tourne dans un jour de detresse.
Les Russes ont pu s'y mirer.^[242]

Глава тринадцатая. Кампания 1760 г. В Силезии



Война уже начинала тяжело отзываться на некоторых державах: и не только на короле прусском, на чьих глазах последовательно уничтожались все его ресурсы, или на Австрии или России, неистово вцепившихся одна в Силезию, а другая в Восточную Пруссию, но более всего на Франции, которая то побеждала в Германии, то терпела там поражения, а за пределами Европы теряла все свои колонии.

Попытка сепаратного мира между Англией и Францией не удалась, британцы еще не прибрали к своим рукам все владения в Индии и Америке, и поэтому Питт считал долгом чести защищать дело Фридриха II.

Франция продолжала истощать свои силы в Европе и окончательно губить себя за ее пределами ради австрийских интересов. Что касается России, то Людовик XV не только отклонил все ее предложения о более тесном союзе, но у него сохранялись и все предубеждения против этой державы, о чем свидетельствуют инструкции, врученные 16 марта 1760 г. барону де Бретейлю, направлявшемуся в Петербург в качестве полномочного посланника и помощника маркиза де Лопиталья, а также как агента «Секретной корреспонденции» и негласного наблюдателя за официальным посланником:

«Здравая политика не позволяет допустить того, чтобы петербургский двор воспользовался всеми преимуществами его ныне авантажного положения для увеличения своего могущества и расширения границ империи. Располагая территорией, почти столь же обширной, как и земли всех великих государей Европы вместе взятые, и не нуждаясь в большом количестве людей ради поддержания собственной безопасности, сия страна способна выставить за своими пределами грозные армии; торговля ее простирается до границ Китая, и с легкостью, равно как и за короткое время, она может получать оттуда товары, кои другие нации добывают для себя лишь посредством длительных и опасных плаваний; русские войска ныне уже закалились в битвах. Абсолютное и почти деспотическое правительство России вполне основательно внушает опасения своим соседям и тем народам, кои могут подпасть под таковой же гнет после ее завоеваний. <...>

Когда московитские армии впервые явились в Германии^[166], все просвещенные дворы почувствовали, сколь важно внимательно следить за видами и демаршами сей державы, чье могущество становилось уже угрожающим. <...> Кто знает, не раскаются ли императрица-королева^[243] и ее наследники за выбор такового союзника? <...>

Зверства русских в Польше в 1733–1734 гг., их осада противу всех законов справедливости вольного города Данцига, каковой подвергся жестокой каре за одну только попытку защитить свои права; содержание в унижительном и жестоком плену французского посланника^[244] и трех французских батальонов вопреки условиям капитуляции; непристойное обращение с другим королевским посланником^[245]; высокомерные требования для своих государей императорского титула; ее неверность в исполнении последнего договора с турками^[167] ...; вмешательство во внутренние дела Швеции; то, как она обращается с поляками уже в течение трех лет; виды, провозглашенные ею относительно разграничения

Российской империи и Польши; наконец, все устройство и сами действия России, форма ее правления и состояние войска — все сие заставляет каждого государя, заботящегося о безопасности и общественном спокойствии, опасаться усиления сей державы^[246].

Вышеизложенного более чем достаточно, чтобы король полагал весьма желательным отказ российской императрицы от претензии на Герцогскую Пруссию^[247] ...»^[248]

Недоверие и зависть Людовика XV к постоянно возрастающей мощи России были столь сильны, что, когда в своих июльских «Инструкциях» 1759 г. герцог Шуазель рекомендовал маркизу де Лопиталю изыскать какой-либо способ восстановления мира между Австрией и Пруссией при вооруженном посредничестве России, король категорически осудил действия своего министра иностранных дел и предписывал барону де Бретейлю: «Надобно почитать весьма благоприятным для интересов короля, что маркиз де Лопиталь ... упустил ту возможность, каковая была столь настоятельно ему рекомендована»^[249].

На фоне подобной холодности версальского двора Россия делала робкие попытки сближения с Веной. В тайне от французов обе державы подписали в Петербурге трактат и конвенцию^[250]. В отдельных и секретных статьях последней предусматривалось, что оба императорских двора будут стремиться получить для себя возмещение за счет прусского короля: один — возвращением Силезии и графства Глац, другой — окончательным присоединением Восточной Пруссии.

В плане новой кампании, подписанном Елизаветой 11 мая 1760 г., решимость продолжать войну изложена с категорической определенностью: «Необходимость заставляла нас рано или поздно самим начать эту войну, если бы даже король прусский не начал ее, ибо этот прежде от всех своих соседей зависевший государь^[251] захотел наконец все дворы привести в зависимость от себя; он всего от всех требовал, а сам никогда ни в чем не хотел удовольствоваться и начатием настоящей войны показал, что не позволит, чтоб венский двор сделал малейшее движение в собственных землях своих»^[252].

Елизавета сказала австрийскому посланнику графу Эстергази: «Я не скоро решаюсь на что-нибудь, но если я уже раз решилаась, то не изменю моего решения. Я буду вместе с союзниками продолжать войну, если бы даже я принуждена была продать половину моих платьев и брильянтов»^[253].

Решение продолжать войну требовало средств. Три тяжелые кампании, проводившиеся по большей части более чем за тысячу километров от границ империи, множество боев и четыре генеральные баталии явились для русской армии нелегким испытанием. А восполнение потерь составило в 1759 г. всего 8–9 тыс. рекрутов, хотя только после Кунерсдорфа Салтыков просил 30 тыс. 29 сентября вышел указ о рекрутском наборе, однако призванные под знамена не могли сразу же прибыть к армии. Были опустошены внутренние резервы и гарнизонные полки. Командовавший в 1760 г. на Украине генерал Бутурлин заявил, что для охраны этой обширной страны, имеющей весьма протяженную границу с турками и татарами, в наличии всего 3651 драгун и 7 тыс. чел. ландмилиции.

Вновь возникла идея брать рекрутов в Восточной Пруссии. Генерал-губернатору Корфу опять пришлось защищать своих подопечных. Ссылаясь на более или менее точные вычисления, он доказывал, что вся провинция не может выставить свыше 500–600 чел. Стоит ли при столь незначительном числе идти на риск, принуждая пруссаков сражаться с их собственным королем? Военская обязанность была заменена для новых подданных царицы

необременительным налогом и гужевыми повинностями.

Другие меры касались реорганизации самой армии. Решились наконец покончить с Обсервационным корпусом, столь скверно проявившим себя при Цорндорфе и Кунерсдорфе. Составлявшие его полки были расформированы, а из лучших солдат образовали как раз те артиллерийские полки, о которых столь пекся граф Шувалов и которых не существовало еще в большинстве европейских армий. Согласно первоначальному плану генерал-фельдцейхмейстера сформировались три артиллерийских полка усиленного состава: два полка артиллерийских фузилёров^[254] и один канонирский. Впоследствии появились еще и другие, так что к концу 1760 г. в армии насчитывалось 14 тыс. артиллерийских солдат, в то время как при Цорндорфе их было всего 1576. Остатки Обсервационного корпуса влились в пехотные полки действующей армии.

Поскольку Салтыков пожелал довести число донцов до 6 тыс., на Дону был объявлен новый набор, однако весь наличный штат удалось пополнить всего до 5 тыс. Фельдмаршал просил также 2 тыс. малороссийских казаков для охраны путей сообщения в тылах армии, и под командою Чеснокова начали формироваться украинские «полевые полки».

В армии распространялись неблагоприятные слухи о новой шуваловской артиллерии. Генералу Глебову и полковнику Тютчеву было поручено ехать на привисленские винтерквартиры и в присутствии самого фельдмаршала, всех генералов, офицеров и некоторого числа солдат произвести испытания пушек, чтобы окончательно подтвердить превосходство новых орудий над старыми.

«Граф Салтыков, приняв все меры к производству этих опытов, не согласился только с тем, чтобы на них участвовали нижние чины, предусматривая „худые следствия“ от „пересказа присутствовавшего при том солдатства“, которое должно быть воспитано „в безмолвном послушании, а отнюдь повода и случая к рассуждениям о подобных делах им не подавать“. Конференция не противоречила этому, но приказала только, чтобы г.г. офицеры всех родов оружия, присутствовавшие на опытах, после оных „рядовым при всех случаях толковать и внушать старались для вкоренения в них большей на новую артиллерию надежды, и что она действительно в их собственную пользу и по своему действию, конечно, превосходнее неприятельской, — под опасением за неисполнением им строгого взыскания“»^[255].

Испытания состоялись в Мариенвердере 8-11 января 1760 г., после чего в Петербург был отправлен отчет за подписями всех присутствовавших генералов со следующим заключением:

«Хотя новоизобретенная артиллерия пред старою натурально преимуществва имела, когда трехфунтовая пушка с двенадцатифунтовым единорогом, да потому-ж и прочие орудия сравниваемы были: но как между тем искусство (опыт) минувших кампаний доказало, что как одна, так и другая артиллерия в своем роде нужна и полезна, следовательно, и впредь с успехом употребляема быть может, то в сем рассуждении, равно как и по долговременной привычке к прежней артиллерии не только артиллерийских нижних служителей, но в случае нужды и солдат, нижеподписавшиеся за полезно находят содержать при армии как прежние пушки и мортиры, так и новоизобретенные орудия»^[256].

Полевая артиллерия была сформирована по бригадам из 30 пушек в каждой. Бригады разделялись на батареи весьма неравной силы, поскольку, например, принадлежавшие к первой линии имели до 24 орудий, во второй — до 18, а в третьей — только 5. Первая линия имела 68 орудий, то есть три четверти наличного состава, из них половина пушек, а половина гаубиц и единорогов^[257]. Весь этот парк имел 11 различных калибров. Большие пушки стреляли на 1500 м, малые и полковые — до 800 м. Благодаря специальным войскам орудия хорошо охранялись и хорошо обслуживались. Прогресс русской артиллерии после начала войны вполне очевиден.

Однако постоянно не хватало офицеров. Пытались возместить эту недостачу путем обмена пленных с пруссаками. В Бютове между линиями аванпостов начались переговоры русских и немецких делегатов, продолжавшиеся с 10 июля до 12 октября. С той и с другой стороны приводили партии пленных и обменивали по принципу равного соответствия: чина и тяжести ран. Если у кого-либо пленников оказывалось больше, то их надо было выкупать по особому обменному тарифу. Генерал-аншеф стоил 3 тыс. солдат, или 15 тыс. флоринов; бригадир — 200 солдат, или 1 тыс. флоринов; полковник и подполковник соответственно — 130 чел. (650 флоринов) и 60 чел. (300 флоринов). Простой солдат оценивался всего в 5 флоринов. Для волонтеров цифра определялась не в людях, а только в деньгах: 1500 за принца, 800 за графа, 400 за барона, 200 за обыкновенного дворянина и 50 за простолюдина.

Также было решено, что в будущем пленных не только не будут принуждать к службе в неприятельской армии, но будут еще и выплачивать им полагавшееся по чину жалованье, возмещение которого отлагалось до особой договоренности между правительствами. Дезертиры не подлежали ни обмену, ни выдаче. Сроком действия этого *картеля* или правил обмена были положены шесть лет.

Среди русских, освобожденных благодаря этому соглашению, упомянем генералов Чернышева и Ивана Салтыкова. Первый вернулся на службу, второй, уже отставленный по выслуге лет, уехал в Россию.

Наконец, оставалось составить план кампании на 1760 г. С этой целью фельдмаршал Салтыков, назначив временным главнокомандующим графа Фермора, отбыл в Петербург для совещаний с Конференцией.

Предлагавшийся им план сводился к следующему: захватить Померанию вплоть до Одера и прочно утвердиться там, имея в виду винтер-квартиры на конец года. В качестве подготовки занять Данциг, воспользоваться всеми ресурсами этого города: продовольственными припасами, лошадьми, людьми, звонкой монетой, а также создать там плацдарм и главную базу снабжения армии. Затем осадить всеми силами Кольберг и не переходить Одер до тех пор, пока австрийцы не добьются какого-либо большого успеха. Салтыков полагал бесполезным снова рисковать генеральным сражением, поскольку ни одна из предыдущих побед не дала таких политических результатов, которые соответствовали бы принесенным жертвам.

Его план был скромнен, но разумен. Если бы ему следовали с самого начала войны, русские, захватив Восточную Пруссию, Данциг и Прусскую Померанию, получили бы преобладающее положение в Германии, все удобства снабжения и зимние квартиры на главном театре военных действий.

Но Конференция отклонила этот план и 11 мая (30 апреля) подала императрице на подпись совсем иной: русская армия силою до 70 тыс. чел. идет на соединение с одной из двух австрийских армий для совместных действий в Силезии; местом встречи назначались по обстоятельствам Франкфурт-на-Одере или Глогау. Австрийские войска в Саксонии должны прикрывать силезские операции и угрожать тылам Фридриха II, если бы ему вздумалось

оказывать сопротивление.

Несомненно, что этот план был составлен под давлением венского кабинета, а также австрийских посланника и военного агента в Петербурге. Единственно ради интересов Австрии русскую армию обрекали на бесплодную осадную войну в Силезии. Всем этим, несомненно, заправлял сам Кауниц. План буквально кишел несоответствиями и невозможностями: Салтыкову, например, запрещалось давать битву Фридриху II до соединения с австрийцами, но что если такое соединение будет возможно лишь ценой битвы?

Впрочем, царица, подписавшая эти инструкции, согласилась с пожеланием Салтыкова избегать генеральных сражений:

«... прошлогодние примеры научают нас, что теперь тем менее надобно опасаться генеральных сражений, чем кровопролитнее и отчаяннее они тогда были. Тогда король Пруссии имел совершенно иное понятие о наших войсках. Ему казалось невозможным, чтоб они могли стоять против прусских, потому что или давно в настоящей войне не были, или воевали больше с необученными народами, тем более что австрийские войска, бывшие в постоянной войне и часто победителями, очень редко, однако, стояли против прусских. Поэтому при начале войны он не сомневался, чтоб одной Левальдовой армии не было достаточно для сокрушения всех наших сил. <...> Всегда с огорчением вспоминаемое Цорндорфское сражение внушило ему другую идею о нашей армии. Он основательно по нем заключил, что армия наша допускает так на себя напасть, как неприятелю хочется; что есть множество способов причинить ей крайний вред, но трудно или невозможно одержать совершенную победу: так велика храбрость и разбитых солдат ... Оставалось ему успокоить себя, что при Пальциге было не генеральное сражение: довольно одной Франкфуртской битвы для уверения его и всего света, что наша армия и тогда еще не побеждена, когда получены над нею все выгоды. Действительно, какая армия не пришла бы в смятение и не обратилась в бегство, когда и во фланг взята, и знатная ее часть сбита, артиллерии много потеряно, а наибольшая часть ее находится в бездействии! <...> После Цорндорфа и Франкфурта король прусский убедился, что нападать на нашу армию бесполезно, тем более что она сама никогда не нападет на его армию, следовательно, предупреждать нападение нет надобности: при наступлении осени русская армия возвратится на реку Вислу, какую бы победу ни одержала, — зачем же отваживаться на битву с нею? Верьте нам, что неприятельская смелость происходит наиболее от того, что он никак не ожидает нападения и что он так назойливо и нахально никогда не приблизился бы к нашей армии, если бы хотя однажды какой-нибудь его корпус подвергся нападению»^[258].

Это отнюдь не было панегириком царицы для русской тактики. Конечно, Елизавета могла бы упрекнуть свою армию за пассивную, а не наступательную войну, за то, что она сама никогда не искала сражения и оказывалась грозной для неприятеля только при непосредственном столкновении, оставляя, таким образом, за прусским королем выбор — принимать сражение или нет, то есть в определенном смысле верховное руководство всеми действиями. И тем не менее царица предписывала именно эту тактику, которой она же была и недовольна. Отсюда несколько неожиданное заключение: «По нашему мнению, теперь меньше, чем когда-либо, надобно ожидать таких сражений, каких нельзя было бы

избежать»^[259].

Таким образом, мы видим не что иное, как рекомендацию выжидательной системы Дауна и вообще сведения русской армии на чисто вспомогательную роль, которую Австрия отводила России не только на войне, но и в политике. К этому документу как бы незримо была приложена австрийская печать. Уже заранее предопределялось, что проектируемая в Силезии кампания превратится в войну маршей, маневров и перемены позиций.

Разделенным надвое армиям Франции и Священной Римской Империи^[68] (125 тыс. чел.) Фридрих II мог противопоставить 70 тыс. Фердинанда Брауншвейгского, а 10 тыс. шведов, 180 тысяч австрийцев и 70 тыс. русских всего лишь 120 тыс. солдат, разделенных между ним самим, принцем Генрихом и генералом де ла Мотт-Фуке. В общем, 190 тыс. чел. против 385 тыс.

Катастрофы предыдущей кампании, истощение армии, финансов и всех провинций вынуждали его к чисто оборонительной тактике, чтобы обезвреживать марши и контрмарши неприятеля аналогичными же маневрами. В своих расчетах он учитывал, что Даун не будет особенно мешать ему, и значительно больше его беспокоили русские. Однако в конце концов он пришел касательно них к такому же заключению, которые царица приписывала ему в инструкциях для Салтыкова. В письме к барону де ла Мотт-Фуке от 17 февраля 1760 г., перехваченном и переведенном для императрицы, он пишет:

«Что же мы можем противу всего того употребить? Одна армия в Саксонии, а другая в Шлезии. Употребляемая в Шлезии армия имеет сначала прикрывать Глогау или Бреславль, пользоваться наималейшими погрешностями россиян и нанести им, если можно, какой-нибудь удар, прежде нежели главная армия начнет свои операции, занимать трудные места и оставлять чистые поля, ибо россияне имеют такое правило, чтоб самим не атаковать и маршировать лесами, а не полями; естли же случится им идти через поля, то, может быть, и удастся их побить. Главное примечание против них должно быть сие, чтоб препятствовать им, дабы они не могли брать крепостей и в оных утвердиться; а от сего главнейше надлежит остерегать Колберг и Глогау»^[260].

Таким образом, Фридрих II составлял свой план кампании, как будто уже зная, о чем шла речь в Петербурге. Может быть, он не только догадывался? Г-н Масловский убежден, что король знал об этом непосредственно, то есть уже получил русский план. Но кто мог это сделать? Какой-нибудь офицер из окружения Салтыкова или некий «наблюдатель», обосновавшийся в Данциге?

Пока Фридрих II и петербургский кабинет обдумывали свои планы новой кампании, генерал Тотлебен с 4–5 тыс. легкой кавалерии вдали от них прикрывал на Нижней Висле зимние квартиры русской армии. Наблюдая за происходящим в Померании, он доносил, что там почти нет прусских войск: слабый гарнизон в Штеттине; небольшой корпус кавалерии и пехоты в Старгарде; в Дамме всего лишь один пехотный полк. Ему предписали переместиться в Прусскую Померанию и пресекать там набор рекрутов и подвоз провианта для армии Фридриха II.

Авангарды легкой русской кавалерии угрожали уже всей провинции по линии Кольберг-Глогау. 30 января 1760 г. начались небывало дерзкие набеги. Луковкин с тремя казачьими полками обрушился на Милич (Силезия), атаковал прусских гусар, взял в плен 30 чел., а в феврале напал на Фрауштадт, Лиссу (Лешно) и Гернштадт. Другой отряд из 100 гусаров и казаков достиг Ландсберга, прогнал из него ополчение, взял контрибуцию в 2622 талера и

еще 41 лошадь. Подгоричани с молдавскими гусарами занял Штольпе, Кёслин и разорял местность почти на виду у Кольберга. Русские аванпосты продвинулись до Штольпе и Ней-Штеттина в Померании, Арнсвальде и Ландсберга в Бранденбурге и Фрауштадта и Лиссы в Силезии. Тотлебен устроил свою главную квартиру в Бромберге.

22 февраля капитан Дековач дошел до Шведта на Одере, пленил там принца Вюртембергского и его семейство, но ограничился векселем от жителей и реверсом^[261], подписанным семьей принца — то есть бумагами вместо звонкой монеты. При отступлении этот отважный партизан был атакован у бранденбургского Кёнигсберга, и ему пришлось пробиваться саблями. Прусским гусарам достались 18 солдат, 53 лошади и вдобавок чемодан с векселем и реверсом. Другой такой же отряд был рассеян и частично пленен у Пиритца, при этом двух казаков завербовали в прусские солдаты. Впрочем, неудача Дековача не помешала Луковкину переходить Одер, чтобы опустошать левый берег.

Однако занятая провинция стала защищаться, и к ней начали подходить подкрепления. 10 марта произошел бой у Арнсвальде, где русские потеряли 52 чел. Сильная прусская колонна под командою генерал-майора Штутергейма и майора Подевильса подошла к Ней-Штеттину и укрепились в нем.

Тотлебену пришлось двинуть всю свою кавалерию для поддержки его смельчаков. Он расположил аванпосты на линии Руммельсбург-Прёйсиш-Фридланд. Подевильс хотя и оттеснил русских от Руммельсбурга и Штольпе, но вместо того, чтобы наступать дальше, внезапно отошел к Кольбергу и усилил его гарнизон. Тотлебен направился к этой крепости и занял позицию в ее окрестностях.

Все эти подвиги начинали уже беспокоить временного главнокомандующего графа Фермора, и он задавался вопросом: какая, собственно, польза от подобных набегов легкой кавалерии? В конце концов, Тотлебен так и не смог помешать прусскому набору рекрутов в Померании. Учитывая же расплывчатый характер его донесений, одобренных бахвальством, их никак нельзя было считать вполне достоверными. А для поддержки этой авантюрной кавалерии приходилось выдвигать полки с винтер-квартир. Фермор был недоволен и старался держать Тотлебена в узде и к тому же жаловался на его непочтительность — присылку неподписанных рапортов и похвальбу какими-то особыми инструкциями Салтыкова, с которым он переписывался через голову Фермора. Наконец, Тотлебен дерзко отвечал своему начальнику, предлагая назначить на свое место «...другого генерала, который мог бы лучше, как управление в угодность вашему высокографскому сиятельству оказывать, а сверх того (доносит Тотлебен) я болен и по-русски говорить не в состоянии, и письменных дел так умножилось, что уже рассматривать времени недостает...». Тотлебен указывал главнокомандующему, что он «во всяком ордере [такие] выговоры получает, каковых во всю мою (Тотлебена) продолжаемую службу и ни от одного командующего генерала подобных оным репрошам^[262] объявлено не было»^[263]. Через несколько дней Тотлебен предложил передать командование гусарами Зоричу, а казаками — Краснощекову. В конце концов терпение Фермора кончилось, он заменил Тотлебена Еропкиным и донес об этом Конференции, которая не согласилась с ним, и ему пришлось вернуть командование Тотлебену. Подобные разногласия не предвещали ничего хорошего, Салтыкову надо было уже возвращаться, чтобы взять управление армией в свои руки.

20 мая из Петербурга пришел приказ сосредоточиться на Нижней Висле и готовиться к выступлению. Салтыков приехал в Мариенвердер только 11 июня, когда было потеряно уже много времени, прежде всего по вине Конференции, задержавшей фельдмаршала в Петербурге и непрерывно требовавшей от него планов кампании, которые затем сама же заменяла на противоположные.

Армия была разделена на авангард под командою Захара Чернышева и три корпуса: 1-й Фермора, 2-й Броуна и 3-й Румянцева. Кроме того, князь Волконский командовал кирасирами, генерал Олиц — конногренадерами и драгунами, Глебов — полевой артиллерией. Тотлебен возглавлял легкие войска. Не считая этих последних, общие силы русских составляли 74 батальона и 44 эскадрона, всего 65 тыс. чел. первой линии и 15 тыс. для охраны операционной базы на Нижней Висле.

29 июня Тотлебен направился к Кёслину. Прусский генерал Бекендорф вывел войска из города и построил их в ордер баталии. Тотлебен атаковал пруссаков с таким напором, что они едва успели скрыться под защиту городских пушек, потеряв при этом около 300 чел. Затем начался обстрел города, и Бекендорфу пришлось сдаться на капитуляцию с почетными условиями, «как из уважения к храбрости гарнизона, так и по состраданию к жителям града». Пруссаки получили свободный выход со всем своим имуществом: пушками, зарядными ящиками, фурами, лошадьми и запасом провизии на один день. Было договорено, что обе стороны оставляют у себя взятых в плен, и таким образом Бекендорф мог увести с собой русских военнопленных.

Главная армия продолжала свой марш к Варте. 13 июня авангард Чернышева был уже у Позена, к которому вскоре подошли один за другим и прочие корпуса. Однако Конференция приказала считать главным пунктом наступления на Одере уже не Кроссен, а Бреслау. Чтобы подготовиться для соединения там с русскими, Даун приказал Лаудону взять Ландсгут и осадить Глац.

Фридрих II из своего лагеря в Мейсене не переставал слать одну за другой инструкции к де ла Мотт-Фуке, напоминая, что необходимо помешать этому соединению и разбить неосторожно двигавшиеся поодиночке русские корпуса^[264].

Фуке, испуганный наступлением Лаудона, отошел к северо-востоку, сообщив королю о своем намерении защищать Бреслау. На это последовало новое повеление Фридриха II: возвратиться в Ландсгут, что и произошло 19 июня. Однако 23-го Лаудон атаковал пруссаков и заставил весь корпус Фуке положить оружие, а самого его взял в плен. Для Фридриха это явилось повторением катастрофы при Максене. В Силезии у него почти не оставалось теперь войск, и вся эта провинция была открыта для союзников.

Силезию спасло лишь то, что, во-первых, Лаудон потерял много времени после своей победы — целый месяц он недвижимо стоял между Лигницем и Пархвицем, прежде чем решиться на осаду Бреслау. Второй причиной оказались медлительные марши русской армии: магазины, устроенные генералом Суворовым в Калише и Шримме еще не были готовы; Конференция не велела рисковать переходом Одера до соединения с австрийцами. Однако Лаудон не подавал признаков жизни, а, с другой стороны, принц Генрих стоял в Цюллихау, Гольц — в Мезерице, Вернер — в Дризене. Разведка и аванпосты русских уже почти соприкасались с пруссаками.

До тех пор, пока войска находились в Польше, они шли как в мирное время. Авангард и все три корпуса двигались колоннами, не опустошая поля с зерном; Салтыков заботился о поддержании строжайшей дисциплины и исполнительности по службе. Ему пришлось бороться с дурными привычками, появившимися в корпусе Тотлебена, что побудило последнего^[265] принять некоторые меры. В его приказе от 17 августа читаем: «Усмотрено, что многие имеют здесь с собою и возят женский пол ... Того ради оных жен ... с сего числа, через 24 часа сроком отвезть прочь от полков...». Характерны меры Тотлебена за нарушение этого приказания: «А ежели за тем сроком усмотрено будет (присутствие женского пола. — Д.М.), то как оные грабежу казакам отданы быть имеют...». 28 августа встречаем указание на то, что «полковники казачьи ... водят компанию с неприятелем и гуляют и предаются

(временно) на пароли ...»^[266]. Последнее означает, что они ходили друг к другу на пирушки. «...Граф Чернышев ... приказал Тотлебену присылать к себе всех провинившихся, предупредив, что виновные офицеры (не исключая казачьих полковников) будут тотчас же разжалованы в рядовые, а виновные в беспорядках нижние чины — подвергнуты наказанию кнутом^[267]. Вообще, эти войска, имеющие специально легкую экипировку, начали отягощаться обозами, чтобы перевозить добычу. Салтыкову пришлось строго наказывать за все эти злоупотребления».

Приблизившись к прусской территории, армия шла уже единой колонной, соблюдая все предосторожности военного времени.

7 июля она была в Вилькенсдорфе, где задержалась, чтобы получить хоть какие-либо известия об австрийцах. Даун сообщил, что намерен преградить путь неприятелю из Верхней Силезии в Богемию и не может оставить свой лагерь в Рейхенбахе. Салтыков доносил Конференции 30 июня: «Не имея никакого вспомоществования от австрийцев, армия может оказаться в величайшей опасности»^[268]. Для овладения Бреслау ему была нужна осадная артиллерия, которую он просил у союзников. 14 июля генерал Шпрингер доносил фельдмаршалу, что Лаудон занят осадой Глаца, а сам Даун переместился из Рейхенбаха в Бунцлау, чтобы воспрепятствовать соединению Фридриха II с принцем Генрихом, шедшим на Глогау.

В ожидании прошел еще целый месяц. Тотлебен и Чернышев беспрестанно передвигались, наблюдая за тем, что происходит на Среднем Одере, и охраняя пути сообщения с Позеном.

Наконец Глац пал. Это произошло 26 июля, и корпус Лаудона, казалось бы, мог теперь освободиться. Однако австрийский генерал просил Салтыкова оставить в Вилькерсдорфе Чернышева для прикрытия со стороны Бреслау, а самому идти на Лебус к одной из переправ через Одер. Салтыков отвечал, что ему самому нужны все войска и он пойдет к Бреслау, где по инструкциям назначено общее рандеву. Лаудон согласился и сообщил, что направится туда же, поскольку гарнизон в Бреслау весьма слаб и его может поддержать только принц Генрих. Он снова просил содействия русских, подтверждая, что без их подхода к Бреслау будет вынужден отступить.

Салтыков, опасаясь принца Генриха, выслал на его пути эскадроны легкой кавалерии, а сам направился к Бреслау, и 6 августа казаки уже появились на расстоянии одного пушечного выстрела от него. Таким образом, было сделано буквально все, о чем просил Лаудон.

Но в конечном результате австрийцы оказались далеко, а пруссаки совсем близко. Принц Генрих решительно двинулся по левому берегу Одера на помощь Бреслау. Лаудон, даже не побеспокоив, пропустил его. Казаки Перфильева и Попова, а затем и весь корпус Тотлебена спешно поскакали к Лебусу, перешли мост и рассеялись по левому берегу. Но они застали лишь арьергард принца, убили 104 чел. и взяли сотню пленных. Обогнав русскую армию, брат Фридриха II 6 августа вступил в Бреслау. Когда в полдень у стен крепости появились русские разведчики, их встретили прусские гусары, и они были вынуждены отступить к Гундсфельду.

Салтыков закрепился в этом городке, имея по фронту реку Вейде, на левом берегу которой поставил батареи. Он понял, что внезапное нападение на Глогау с его слабым гарнизоном не удалось, хотя было совершенно непонятно, как Лаудон, обещавший идти форсированными маршами к Лебусу и Бреслау, мог пропустить принца Генриха и не загородить ему путь. Все прояснилось, когда разведчики донесли, что австрийцы ушли с тех пунктов, где должны были находиться. И теперь Лаудон не только не ускорит марш к Бреслау, но, напротив, отойдет к югу.

В соответствии с договоренностью русские подошли к этой крепости, но оказались там

без союзников, и, таким образом, только ради них одних так старался принц Генрих.

Салтыков переменил свои позиции и, оставаясь на правом берегу Вейде, занял Вейгельдорф и Гундсфельд. Брюс, командовавший отрядами на левом берегу, на следующий день, 7 августа, был атакован пруссаками и отброшен на противоположный берег, но с помощью подошедшего Кексгольмского полка и артиллерии успешно контратаковал. Подкрепленный еще шестью полками, он снова закрепился на левом берегу. Принц Генрих не продолжал свою попытку, вспомнив о рекомендациях брата: в эту кампанию прусские войска обречены на оборонительную войну.

Еще через день, 9 августа, получились наконец известия от Лаудона — оказывается, он отступил до Стригау! И теперь просит о соединении значительно выше Бреслау, у Лебуса, и, кроме того, о сооружении там русскими мостов. Фельдмаршал и на этот раз откликнулся на призыв о помощи. Но от него требовали опасных операций: сначала, имея позади реку (Вейде), совершить в присутствии неприятеля фланговый марш, а затем рисковать атакой на арьергард пруссаков. Получив послание Лаудона, он начал с того, что перевел тяжелый обоз под защиту кавалерии Тотлебена. Затем армия выстроилась в колонну: впереди три полка кирасир и три пехотных полка, затем основная масса войск и, наконец, арьергард, состоявший из одного кирасирского и три пехотных полков.

Принц Генрих ничем существенным не помешал этой операции; вместо того, чтобы перейти Вейде и ударить в левый фланг русской колонны, он лишь послал немного кавалерии для преследования неприятельского арьергарда.

Салтыков достиг Аураса, где разведчики сообщили ему, что прусский король прибыл в Бунцлау, Даун отступил на Гольдберг, а Лаудон идет ему навстречу. Фридрих II продолжал свой марш к Одеру и, судя по всему, намеревался перейти его у Штейнау, то есть ниже Аураса. Если так, это означало, что он хочет перерезать русским путь на левом берегу, зажать их между своей армией и корпусом принца Генриха и уничтожить.

Видя себя окруженным неприятелем и не получая никаких известий от союзников, Салтыков ушел из Аураса к Кунцендорфу. Здесь ему доставили депешу Лаудона, где тот сообщал, что по согласованию с Дауном идет на Лигниц, намереваясь остановить Фридриха перед Одером, поэтому русским остается лишь твердо удерживать свои позиции. Салтыков собрал военный совет, где было решено дожидаться развития событий в Кунцендорфе. Если Даун пропустит короля через Одер, тогда следует предложить Лаудону соединиться на правом берегу, поскольку русские не могут обороняться одновременно против двух неприятельских армий. Но если король не перейдет Одер, нужно послать Чернышева на левый берег для соединения с Лаудоном и для нападения у Бреслау на принца Генриха. Чтобы быть готовым ко всем неожиданностям, необходимо отправить весь тяжелый обоз в Милич. Наконец, следует разрушить мост у Лебуса и построить такой же в Аурасе на случай переправы всей армии.

12 августа войска возвратились в Аурас, и там были наведены два моста, а на другой день получено новое послание Лаудона: король сделал крюк из Лигница на Гольдберг; австрийские генералы хотят дать ему сражение и просят прислать к ним корпус Чернышева, который имел уже приказ перейти реку и ждать дальнейших распоряжений. Следующие два дня не было никаких новостей; затем выяснилось, что Даун не захотел атаковать короля под тем предлогом, будто перебежчики открыли Фридриху секрет всей комбинации; король сам перешел в наступление и 15 августа поколотил Лаудона у Плаффендорфа, уничтожив и взяв в плен 3 тыс. австрийцев (а по его собственным словам — 8 тыс.). Затем Лаудон сообщил, что король всего лишь преследовал его, не подходя ближе, чем на мушкетный выстрел, и потом быстро ушел. Но в каком направлении? Из донесений казаков можно было заключить, что он

возобновил свой марш к Одру, намереваясь напасть на русских. Поэтому фельдмаршал приказал Чернышеву возвратиться на правый берег и разрушить мост у Аураса.

Таким образом, то ли из педантизма, то ли по малодушию Даун позволил разбить Лаудона. Но если он вел себя так по отношению к своему соотечественнику, то чего могли ждать от него союзники? Однако Салтыков, выполняя приказания Конференции, все еще стремился к соединению с Лаудоном, столько раз обещанному, долго готовившемуся и всегда не удававшемуся.

15 августа русские восстановили аурасские мосты, но в тот же день другие известия заставили их спешно отступить.

Фридрих стоял лагерем на левом берегу Одера. Все говорило о том, что он будет переправляться у Лебуса. Было перехвачено его письмо к брату, в котором он сообщал о полном поражении Лаудона с громадными потерями и о смертельном ранении этого генерала; сам же он будто бы готовится теперь к нападению на русских. Впрочем, все эти грубые преувеличения были вполне обыкновенны для Фридриха. Салтыков полагал, что перехват письма преднамеренно подстроен^[269].

Тем временем положение русских становилось слишком опасным между двумя неприятельскими армиями, которые то ли у Бреслау, то ли у Лебуса могли соединиться на берегу Одера. Лаудон возвратился в Штрайгау и уже не вспоминал о соединении, а лишь настаивал на присылке к нему корпуса Чернышева. Военный совет не согласился с этим, полагая слишком большим риск его уничтожения. 17 августа началось отступление к Миличу.

Таким образом, все попытки русских и австрийцев соединиться закончились двойным отступлением в противоположных направлениях. Тем не менее Салтыков сделал все возможное, чтобы выполнить имевшиеся у него распоряжения. Трижды австрийцы подставляли его под прусские пушки и трижды не выполняли договоренность о соединении; если они так уж хотели его, то было бы легче, имея магазины и все ресурсы страны в своем распоряжении, вкупе со знанием местности, самим пойти навстречу русским, а не призывать их к себе в Силезские горы, так далеко от оперативной базы. И если мы видим у них столько робости и несогласованности, то всяческой похвалы заслуживают хладнокровные маневры Салтыкова, угрожаемого с левого фланга принцем Генрихом, а по фронту — самим «скоропостижным» королем.

Все дальнейшие действия не представляют никакого интереса. Даун или Лаудон присылают курьера с запросом о намерениях русских. Салтыков отвечает: «Если принц Генрих будет преследовать нас, мы нападём на него». Но ведь занятый русскими принц освобождал Дауна для действий против короля. 6 сентября австрийский фельдмаршал предлагал Салтыкову идти на Штейнау и Кёбен, навести там мосты и привлечь к себе и принца Генриха, и Фридриха, а сам он пошел бы тем временем к Швейдницу. Иначе говоря, Даун хотел, чтобы русские в одиночку сразились с двумя неприятельскими армиями. Тогда же Лаудон требовал от них идти на Глогау, обещая соединиться там с ними для осады этой крепости. Австрийские генералы не могли даже согласовать свои требования, доведя до крайности и военную, и дипломатическую неразбериху.

24 августа русские отошли к Трахенбергу, 25-го они были в Геррнштадте, где переправились через Барч, и оставались там недвижимо до 12 сентября. Салтыков заболел, выздоровел, но болезнь снова возвращалась. Несколько раз он передавал командование Фермору, но с 12 сентября до 30 октября совершенно отошел от дел, хотя и оставался при армии. Болезнь Салтыкова была, несомненно, одной из причин неудачи всей Силезской кампании.

Глава четырнадцатая. Взятие Берлина (октябрь 1760 г.)



Итак, целых десять недель, с 4 августа по 12 сентября, в самое драгоценное для военных действий время, ничего, кроме маршей и контрмаршей, не происходило. Многочисленная австрийская армия (180 тыс. чел.) и великолепная русская армия (70 тыс.) лишь наблюдали за маневрированием двух небольших прусских армий и провокационными демонстрациями Фридриха II, скрывавшего таким образом свое твердое решение не отступать от оборонительной стратегии. Русские, отнюдь не по их вине, не имели возможности ни дать сражение, ни взять какую-нибудь крепость. Что касается австрийцев, то они могли похвастаться лишь двумя стычками и захватом ничтожного Глаца^[270].

Недовольство было велико и в Петербурге, и в русской армии. Барон де Бретейль вполне справедливо писал Людовику XV, что русские провели «самую ничтожную из всех кампаний»^[271]. Болотов пишет о чувствах молодых офицеров: «Оба главнокомандующих сами стыдились того, что они сделали». Однако наибольший позор падал на Конференцию, которая, вопреки мнению Салтыкова, упорно стремилась загнать армию в Силезию.

Теперь они вспомнили про отвергнутый ею в самом начале план фельдмаршала, предлагавшего провести кампанию в Померании, имея в виду взятие Кольберга и диверсию на Берлин. Осаду Кольберга предполагалось производить отдельным корпусом главной армии и морским десантом. Нападение на Берлин поручалось легким войскам при поддержке со стороны главных сил. От австрийцев требовалось только удерживать Фридриха II и принца Генриха в Силезии — демонстрацией Дауна на Швейдниц и осадой Глогау (Лаудон).

14 сентября Фермор сообщил Конференции решения Салтыкова, принятые еще до передачи командования: о необходимости занять главными силами Королат; о направлении Тотлебена на левый берег Одера для поддержания сообщений с Лаудоном и, наконец, о подготовке «секретной» экспедиции против Берлина. Конференция возражала — ей во что бы то ни стало был нужен Глогау. Однако Фермор не уступал, он лично произвел рекогносцировку этой крепости и убедился, что без тяжелой артиллерии там нечего делать. Лишь после этого Конференция возвратилась к плану Салтыкова.

18 сентября основные силы сосредоточились у Одера между Королатом и Бейтеном и оставались там в течение всего времени, необходимого для подготовки операций против Берлина и Кольберга. 21 сентября на военном совете было решено направить к Кольбергу корпус Олица для соединения с десантным отрядом адмирала Мишукова; против Берлина выделялся корпус Чернышева и кавалерия Тотлебена. Основные силы должны были идти вниз по обоим берегам Одера до Кроссена, а затем действовать «по обстоятельствам». 22 сентября Олиц выступил из Королата в Померанию.

Готовилась и экспедиция Тотлебена, который в своей промемории утверждал, что успех зависит от трех условий: правильно избранного времени и быстроты действий (а не численности); прикрытия кавалерийской колонны; прочих мер для воспрепятствования подхода к Берлину неприятельских подкреплений. Он просил усилить свои 7–8 тыс. гусаров и казаков двумя полками драгун, двумя тысячами конногренадер и отрядом конной артиллерии. Ничего, кроме конницы для обеспечения быстроты и неожиданности. Корпус Чернышева, состоявший из всех трех родов войск, должен был следовать через Кроссен на Франкфурт, и

уже оттуда из него выделялась для Берлина пехотная бригада.

Единственное изменение этого плана заключалось в том, что Чернышеву предписывалось идти через Бейтен, Фрейштадт, Христианштадт, Зоммерфельде и Габен, а далее вслед за Тотлебенем.

В арьергард был поставлен Фермор с 1-м и 2-м корпусами, а 3-му корпусу (Румянцева) надлежало прочно занять Средний Одер.

Таким образом, вся русская армия оказывалась эшелонированной от Королата в направлении прусской столицы для трех последовательных ударов: Тотлебена, Чернышева и главной армии.

Но Берлин уже не впервые подвергался угрозе. Еще 16 октября 1757 г. австрийский генерал Гадик с четырнадцатитысячным корпусом ворвался в его пригород Кёпеник, изрубил в куски два прусских батальона и принудил генерала Рохова очистить город (королева и министры укрылись в Шпандау). На магистрат была наложена контрибуция в 600 тыс. талеров. Из этих денег Гадик успел собрать только 185 тыс., поскольку утром 17-го почел за наилучшее отступить, увозя наличность, 6 знамен (из арсенала) и 426 пленных. В 1758 г., еще до Цорндорфа, захват столицы был одной из предписанных Фермору целей. И, как мы видели, после Пальцига и Кунерсдорфа сам Фридрих II ожидал взятия Берлина победителями.

В полученных Тотлебенем инструкциях предписывалось взять с Берлина большую контрибуцию, а в случае нехватки наличности принимать вексели, гарантированные заложниками, в списке которых значились два ратмана и несколько самых богатых купцов. Кроме того, предстояло полностью разрушить все королевские учреждения, арсенал, литейный двор, воинские и провиантские магазины, пороховые мельницы и мануфактуры мундирных сукон. И это должно было стать лишь «справедливым возмездием за жестокости прусского короля в Саксонии, особенно в Лейпциге».

16 сентября без труб и барабанов выступили корпуса Тотлебена и Чернышева. Тотлебен шел очень быстро, посадив свою пехоту на телеги, и 2 октября прибыл в Вустерхаузен, почти под самые стены Берлина. Там он узнал, что в берлинском гарнизоне генерала Рохова всего лишь три пехотных батальона и два эскадрона гусар, однако на помощь им шли Хюльзен из Торгау и с севера принц Вюртембергский.

Тем не менее Тотлебен отнюдь не отказался от внезапного штурма и просил Чернышева прикрыть его, чтобы иметь «свободную спину».

Берлин располагался тогда на двух островах Шпрее, и его предместья занимали оба берега этой реки^[272]. Один из островов был древним Берлином — Веролином славян-венедов^[273], возникшим из поселения рыбаков. На другом острове, Кёлльне, в древности также находилась рыбацья деревня. В 1452 г. маркграф Бранденбургский Фридрих Железный Зуб построил здесь замок, послуживший основой будущей столицы.

Оба острова были обнесены стеной с бастиянами, для которых рукава Шпрее служили естественными рвами. Предместья на правом берегу опоясывал более обширный земляной вал, а на левом — каменная стена. Из всех десяти городских ворот только одни (Котбуские) были защищены флешью^[274] очень слабого профиля, вооруженной всего одной трехфунтовой пушкой.

Таким образом, в военном отношении Берлин представлял собой почти открытый город. С архитектурной точки зрения это было скопление маловыразительных строений и пригородных домишек. Тогда еще ничто не предвещало то художественное, хотя и неоригинальное величие, которое прославило его впоследствии благодаря промышленному процветанию и военным победам. Не было ни триумфальных ворот, ни колонн воинской славы, ни героических статуй, ни музеев, наполненных награбленным в

Греции. Фридрих I построил королевский замок на месте старого маркграфского, а также Арсенал, Академии Наук и Изящных Искусств. Фридрих Вильгельм I распланировал площади, проложил новые улицы и выстроил дворцы на Вильгельмштрассе. Берлин был тогда прежде всего городом военных, чиновников и придворных. Однако благодаря Фридриху I и отчасти Фридриху II он мало-помалу становился интеллектуальной столицей Германии, и его уже называли *Intelligenz-Stadt* и «Афинами на Шпрее». Сюда трижды приезжал Лессинг, которому в 1758–1760 гг. довелось быть свидетелем русской оккупации. Моисей Мендельсон стоял здесь во главе литературной и философской жизни.

Поскольку берлинская торговля и промышленность, столь развившиеся впоследствии благодаря положению столицы в центре целой сети озер и рек, были еще в зачаточном состоянии, город не мог похвастаться большими капиталами. Он был просто беден, как и вся Пруссия и ее король. Что касается населения, то к концу Тридцатилетней войны ^[69] оно сократилось до 6 тыс. чел., но при первом короле возросло до 50 тыс., а при втором ^[70] до 90 тыс. К концу царствования Фридриха II в Берлине обитало уже 145 тыс. душ. Не боясь ошибиться, можно сказать, что ко времени русского вторжения в нем было 120 тыс. жителей.

При появлении неприятеля генерал Рохов почти совсем потерял голову. Три его батальона, всего 1200 чел., отнюдь не возмещали свое малое число качеством — в них было немало пойманных дезертиров и даже военнопленных: саксонцев, шведов, французов и русских. Рохов уже подумывал об уходе из города. Но в Берлине находились тогда и отставные генералы, например Левальд, и получившие ранения (Зейдлиц, Кноблах). Они стали стыдить его за малодушие и уговорили сопротивляться. Он приказал спешно соорудить флешу перед воротами предместий по образцу Котбуских и поставил там пушки с инвалидной прислугой. В стенах были пробиты бойницы, а 30 солдат заняли Кёпеникскую цитадель, чтобы защищать переправу через Шпрее. Рохов разослал повсюду курьеров с просьбой о помощи: Хюльзену в Торгау, на границе Саксонии, и в Темплин, к принцу Вюртембергскому, который собирался напасть на шведов. Оба генерала отозвались на его призыв: когда Тотлебен входил в Вустерхаузен, Хюльзен был не далее чем в семи милях от Берлина, а принц в шести.

Приготовления военных властей посеяли панику среди жителей: богатые горожане бежали в Магдебург и Гамбург со всеми деньгами и ценностями. Правда, на какой-то момент все успокоилось, приняв авангард Тотлебена за подошедшие подкрепления. Здесь-то и началась выдающаяся деятельность Готцковского, «купца-патриота», который оставил драгоценные воспоминания о происшедших событиях ^[275]. Он призвал жителей собирать деньги для провианта войскам-защитникам, и на них были закуплены хлеб, пиво, *branntwein* ^[276] и мясо. Этим и ограничилась роль населения в обороне Берлина. Дом самого Готцковского, об отношении которого с Тотлебенем было известно, послужил убежищем для всех, опасавшихся за свое имущество. Евреи прятали там даже золото.

В ночь на 3 октября Тотлебен перешел в Вустерхаузен. Утром 3-го он послал кроатских гусар в Потсдам для уничтожения там воинских магазинов. Сам же пошел на Берлин ^[277], имея в авангарде казаков Туроверова.

К 11 часам им были уже заняты высоты против Котбуских и Галльских ворот. Он послал к генералу Рохову поручика Чернышева с требованием о сдаче, но получил отказ, после чего начались приготовления к бомбардировке города и штурму ворот в предместьях.

В 2 часа был открыт огонь, но, поскольку в наличии оказались только гаубицы малого калибра, зажечь сколько-нибудь сильных пожаров так и не удалось. К тому же снаряды не проламывали городскую стену. Тогда прибегли к каленым ядрам, которые вызвали

продолжавшийся до утра пожар. Рохов, со своей стороны, отвечал пушечным огнем, и в течение дня русские так и не смогли добиться господства своей артиллерии.

В 9 часов вечера Тотлебен решился на одновременный штурм обоих ворот. Князь Прозоровский с тремя сотнями гренадер и двумя пушками должен был атаковать Галльские ворота, а майор Паткуль такими же силами — Котбуские. Каждая из этих колонн имела в резерве 200 пеших и два эскадрона конных гренадер.

В полночь был дан сигнал атаки, несмотря на очень слабую артиллерийскую подготовку. Князь Прозоровский все-таки взял Галльские ворота и закрепился там, но, не получив поддержки, к рассвету был вынужден отойти. Что касается Паткуля, то атака на Котбуские ворота оказалась неудачной.

После этого возобновилась бомбардировка, продолжавшаяся до утра. Было выпущено 655 снарядов, в том числе 567 бомб. Днем стало известно, что в город вошел авангард принца Вюртембергского (7 эскадронов), а его пехота идет к Берлину форсированными маршами. Это подкрепление составляло 5 тыс. чел.

Тотлебен отошел к деревне Кёпеник, и вечером 4 октября у Котбуских и Галльских ворот оставались только казаки Цветиновича и Туроверова. Но к утру под натиском принца Вюртембергского им тоже пришлось отступить.

В этом неудавшемся набеге у русских вышло из строя 92 чел. и они потеряли 8 гаубиц. Ответственность за неудачу лежит прежде всего на Тотлебене. Почему, имея столь мало пехоты, он еще и разделил ее на две штурмовые колонны? Пытаясь оправдаться, в своих рапортах он то преувеличивал собственные потери, то утверждал, будто по городу было выпущено 6,5 тыс. снарядов, и обвинял Чернышева в неоказании ему помощи, хотя прекрасно знал, что этот генерал мог прийти в Кёпеник только 5 октября, да и сам Тотлебен просил лишь о том, чтобы «прикрыть ему спину». Поспешный штурм произошел, несомненно, от нежелания делить с кем-либо славу успеха. Впоследствии Тотлебен утверждал, будто не форсировал штурм, опасаясь, что солдаты рассыплются по городу и ему не удастся собрать их. Впрочем, все его рапорты, относящиеся к этой осаде, являют собой смесь лжи и противоречий. По словам нашего военного агента при русской армии маркиза де Монталамбера, Тотлебен «расквасил себе нос о берлинские стены».

3 октября Чернышев занял Фюрстенвальде и, осознав все предстоящие трудности, запросил у главной квартиры в качестве подкрепления кавалерию Гаугревена, сообщая при этом, что со стороны Берлина слышна сильная канонада. 4-го он получил от Тотлебена просьбу о помощи людьми, пушками и снарядами. Все это было отправлено к нему той же ночью в сопровождении двух пехотных полков. 5-го вечером Чернышев соединился в Кёпенике с Тотлебенем и принял на себя общее командование — сомнительное и оспариваемое, если учитывать трудный характер этого последнего. Одновременно была получена депеша от Фермора, сообщавшего, что к нему форсированными маршами идет дивизия Панина.

Весь день 6-го ждали Панина, поскольку Фермор предписал ничего не предпринимать до его подхода. Кроме того, сообщалось и о скором прибытии австро-саксонского корпуса под командою Ласи. Поэтому русский генерал ограничился лишь рекогносцировкой правого берега Шпрее.

Принц Вюртембергский, в свою очередь, приказал генералу Хюльзену ускорить движение к Берлину через Потсдам, и вскоре казачьи разъезды обнаружили приближение первых прусских отрядов силою в 5 батальонов и 12 эскадронов.

7 октября Чернышев получил депешу Панина, который после перехода в 30 верст прибыл в Фюрстенвальде и в тот же вечер должен был подойти к Берлину. Чернышев решил

атаковать принца Вюртембергского и в случае успеха штурмовать восточные предместья. Тотлебену он отводил лишь вспомогательную роль для отвлекающего маневра на левом берегу. Но Тотлебен ради сохранения своей независимости воспользовался тем обстоятельством, что между ним и его непосредственным начальником, Чернышевым, текла Шпрее. В тот же день, не дожидаясь прибытия Ласи, он возобновил штурм западных предместий и снова разделил свои эскадроны и батальоны между Котбускими и Галльскими воротами. Однако господствующие над ними высоты были уже заняты принцем Вюртембергским. Тем не менее после трехчасовой канонады Тотлебен принудил его укрыться за городскими стенами.

Как раз в этот момент со стороны Потсдама подошел Хюльзен, и Тотлебен атаковал его своей кавалерией и гренадерами, оставив часть войск для наблюдения за городскими воротами. В боевом порыве он далеко опередил свою пехоту и, не имея ее поддержки, был отброшен. Тотлебен уже намеревался возобновить атаку, когда одновременно появились авангард Клейста и корпус Ласи. Но он не хотел ждать помощи австрийцев и бросился на Клейста. Неподалеку от Темпельгофа завязалась беспорядочная схватка, не принесшая перевеса ни одной из сторон. Русские потеряли четыре пушки, которые потом были отбиты казаками, однако исход боя решили австрийские эскадроны, отбросившие Клейста.

Тотлебен пришел в ярость, увидев появление Ласи — получалось, что, хотя ему и удалось действовать почти независимо от Чернышева, он получал себе в качестве командира австрийского генерала, поскольку этот последний, имея 14 тыс. чел., вполне естественно становился старшим начальником и отнимал у него славу покорителя Берлина. Ему оставалось только возвратиться на свои позиции перед воротами предместий и не обращать внимания на первые приказы Ласи. Благодаря этому весь корпус Хюльзена смог уже к вечеру войти в город.

Тем временем Чернышев действовал на правом берегу Шпрее. Заняв высоты Лихтенберга, он поставил там шестипушечную батарею и начал обстреливать пруссаков, которые под угрозой кавалерийской атаки не стали ждать штыкового удара и укрылись в восточных предместьях.

Вечером появился Панин, приведший 5 эскадронов кирасир и 6 гренадерских рот. Он сообщил, что его главные силы подойдут только к утру 9 октября.

8 октября молдавские гусары и казаки Краснощекова заняли позиции на лесистом и болотистом правом берегу Шпрее. На левом берегу оставался Тотлебен, все там же, перед Котбускими и Галльскими воротами. 14 тыс. австрийцев расположились лагерем у Лихтенфельде.

В этот день Чернышев намеревался атаковать принца Вюртембергского и штурмовать восточные предместья. Однако прибытие корпуса Клейста увеличило силы пруссаков до 14 тыс. чел., из которых 16 батальонов и 20 эскадронов принца находились на правом берегу, а 10 батальонов и 21 эскадрон под командою Хюльзена — на левом. Союзники имели против них 15,5 тыс. русских на правом берегу, а по левому — еще 4,4 тыс. русских вместе с 14 тыс. австрийцев и саксонцев. Обладая Берлином, пруссаки могли легко перебрасывать свои войска с одного берега на другой, так что союзники, разделенные рекой, всегда оказывались перед неприятелем в равном числе. Кроме того, их ослабляли разногласия русских и австрийцев, а также соперничество командиров — Тотлебена с Ласи и Чернышевым.

Чернышев был совершенно подавлен. Он собрал военный совет, на котором присутствовали только генерал Панин, генерал квартирмейстер барон Эльмпт и французский военный агент маркиз де Монталамбер. У этого последнего мы и заимствуем описание того, что происходило во время заседания совета. Чернышев, обеспокоенный усилением пруссаков

и опасаясь на завтра же нападения всеми их силами при затруднительном сообщении с русскими и австрийцами, стоявшими на левом берегу, «предложил тотчас же ретироваться к Кёпенику, дабы выиграть время для договоренности с графом де Ласи; кроме сего, у него оставалось провизии всего на один день. В заключение он спросил, каково на сей счет мое мнение». Вот что отвечал ему маркиз:

«Я сказал, что дальнейшее пребывание на позиции перед Берлином, по моему мнению, сопряжено с множеством неудобств, особливо после прихода генералов Хюльзена и Клейста. Однако же ретирада к Кёпенику представляется мне куда более невыгодной, не говоря уже о постыдности такого маневра, поелику оный поставит графа де Ласи под удар всех неприятельских сил и неизбежно вынудит его ретироваться во избежание слишком неравного сражения. И в таком случае подвергается риску вся сия операция. Наконец, я присовокупил, что полагаю за наилучшее атаковать неприятеля на рассвете, упредив о таком решении графа де Ласи ... Мнение же двух других участников было скорее в пользу ретирады, нежели сражения, без окончательной, однако, определенности. Сие заставило меня несколько раз возвращаться к своему мнению, и в конце концов мне удалось все-таки доказать свою правоту. Граф Чернышев решился на штурм и тут же написал о сем графу де Ласи ...»^[278]

Чернышев изготовился к завтрашнему штурму, разделив войска правого берега на четыре колонны: 1-ю Пальменбаха, 2-ю Лебеля, 3-ю князя Долгорукого и 4-ю Нуммерса. Во главе каждой колонны, построенной как во времена фельдмаршала Миниха и осады Данцига, стояли гренадерские роты. Сначала надо было захватить соседние с крепостной стеной ворота и затем штурмовать восточные предместья. Кавалерии надлежало прикрывать колонны против атак прусских эскадронов, а полевой артиллерии — вести интенсивный огонь по всем неприятельским позициям; полковые пушки должны были следовать за своими полками. Тяжелый обоз и все нестроевые части укрылись в лесу Фридрихсфельде, лошади в полной готовности были запряжены в фургоны и телеги на случай поспешного отступления. Сигнал атаки тремя брандкугелями^[279] назначался на семь часов утра. Всем командирам корпусов рекомендовалось «сию атаку наисовершеннейшим образом произвести и *всякой в своей части наиспособнейшее к тому промыслить и исполнить ...*», заслужить тем высочайшую милость императрицы и «удержать ту славу и честь, которую оружие монархини российской чрез долгое время сохранило»^[280]. И командиры, и солдаты были преисполнены боевым духом. «Невозможно довольно описать, — пишет Чернышев в своем рапорте, — с какою нетерпеливостью и жадностью ожидали войска сей атаки; надежда у каждого на лице обозначалась ...»^[281] Солдаты подходили к причастию с глубоким чувством благоговения, после чего доставали из мешков белые рубахи, чтобы «встретить смерть по русскому обычаю».

Совершенно противоположная перемена произошла на совете прусских генералов. 8 октября принц Вюртембергский решил начать сражение с Чернышевым. Но в последующую ночь он и его коллеги испугались численного превосходства неприятеля при невозможности получить какие-нибудь новые подкрепления, а также всех ужасов для города в случае успешного штурма. Было решено, что войска, приведенные Клейстом, Хюльзеном и принцем Вюртембергским, отступят под покровом ночи к Шпандау и Шарлоттенбургу. Генералу Рохову поручались переговоры о военной капитуляции, но лишь в отношении его собственного слабого гарнизона. Судьба гражданского населения и принадлежащего ему

имущества была оставлена на попечение ратуши.

Тотлебен все еще занимал позиции перед Котбускими и Галльскими воротами, служа как бы заградением между городом и австрийской армией, и отнюдь не оставлял мысль о реванше у графа Ласи, который мог отобрать у него славу единственного победителя. Пользуясь своим благоприятным положением, без ведома австрийского генерала и даже самого Чернышева, он вступил в переговоры о капитуляции. Несомненно, у него были свои люди в городе, не говоря уже о его приятеле, богатом купце Готцковском. Но, казалось, подход Хюльзена и принца Вюртембергского лишал его всякой надежды на успех, ведь он еще не знал о решении, принятом на прусском военном совете. Разве мог он предположить, что Хюльзен и принц шли так далеко (из Саксонии и Померании) единственно ради того, чтобы признать невозможность защищать Берлин?

В ту же ночь на 9 октября Тотлебен послал Рохову новое требование о сдаче города, но излишне поторопился, поскольку комендант должен был держаться до полного ухода всех подкреплений. Поэтому к часу ночи трубач возвратился с новым отказом. Тотлебен, придя в полное недоумение, приказал сделать несколько пушечных выстрелов по городу. В три часа майор Вегер и ротмистр Вагенгейм подошли к Котбуским воротам с предложениями Рохова — к этому времени подкрепления уже покинули город. Остается вопрос: каким образом командовавший разведкой и передовыми отрядами Тотлебен мог ничего не видеть и ничего не знать о всех этих передвижениях?

Тем временем предупрежденные комендантом горожане собрались в ратуше. Военный совет оставил муниципалитету право выбора — перед кем капитулировать, австрийцами или русскими. Именно тот самый купец Готцковский, похвалявшийся своими хорошими отношениями с Тотлебеном, склонил всех в пользу последних. Тотлебен действительно долго жил в Берлине, и у него было там немало друзей. Более того, прусская столица послужила убежищем для многих раненых и пленных русских, в том числе не только солдат и офицеров, но даже генералов. Жители гуманно обращались с ними, и они были помещены в домах самого Готцковского и других знатных горожан. Надеялись, что это послужит как бы охранной грамотой в глазах их соотечественников.

В четыре часа утра Роховом была подписана военная капитуляция: он сдавался в плен вместе со всем своим гарнизоном и военным имуществом. Все пленные, независимо от национальности, освобождались. Сложившие оружие пруссаки также оставались на свободе под залог или на слово, хотя из 1200 чел. 700 было отправлено в Россию.

В пять часов пришел черед гражданской капитуляции. Сначала Тотлебен оглушил горожан своими требованиями денег — 4 миллиона талеров или, как говорит Готцковский, «40 больших бочек золота». Но он уступил сначала до 1,5 миллиона, а потом до 500 тыс. наличными и одного миллиона векселями под гарантию заложников. В обмен на это послабление горожане выложили, 200 тыс. талеров в качестве *douceur-geld*, то есть награждения для солдат. Ратуша покорилась, послушавшись Готцковского, который обещал использовать все свое влияние у русских генералов, чтобы добиться еще большего уменьшения контрибуции ввиду крайней бедности жителей Берлина. Кроме того, Тотлебен гарантировал им личную безопасность и сохранность частного имущества, свободу торговли и пересылки почты, освобождение от постоев. К тому же было обещано не размещать столь страшные для обывателей нерегулярные части даже в предместьях.

Тотлебену удалось успешно завершить эти переговоры благодаря соблюдению величайшей тайны и посредничеству генерала Бахманна. Это был воистину триумф его ловкости и искусства интриги. В лагере Чернышева, как и в лагере Ласи, совершенно ни о чем не подозревали, когда в пять часов утра гренадеры Бахманна заняли Котбуские, Галльские,

Потсдамские и Бранденбургские ворота.

Первыми почувствовали, что происходит нечто новое, стоявшие на левом берегу австрийцы. Заметив русских часовых у ворот западных предместий, они в ярости побежали туда, и им удалось вытеснить русский пост у Галльских ворот. Затем Ласи направил Чернышеву жалобу с требованием уступить ему еще Потсдамские и Магдебургские ворота, а также выделить австрийскую долю контрибуции и *douceur-geld*. Как мы увидим, его раздражение зашло еще дальше. Он посчитал для себя капитуляцию недействительной, ввел войска в город и расположил их по домам жителей.

К Чернышеву почти одновременно прибыли курьер от Тотлебена и требования Ласи. Его войска стояли уже под ружьем, построены в штурмовые колонны, ожидая трех брандкугелей — сигнала к приступу. Около 5 часов командиры колонн прислали к нему своих адъютантов за последними распоряжениями. Армия трепетала от нетерпения. Приближались 7 часов — время штурма. Внезапно по фронту пораженных войск пронеслась весть — Берлин капитулировал!

Одной из первых забот Чернышева была та, которой пренебрег Тотлебен — преследование прусской армии. Он приказал графу Панину вместе с молдавскими гусарами и казаками Краснощекова скакать по дороге на Шпандау. Но основная масса пруссаков была уже далеко, Панин догнал только обоз и арьергард Клейста, состоявший из 10 кирасирских эскадронов, одного пехотного полка, батальона волонтеров и нескольких егерских рот, — всего 3 тыс. чел. Гусары и казаки отважно бросились на кирасир, опрокинули их, но были задержаны прусской пехотой, засевшей в придорожных дефиле. Здесь наконец появились присланные Тотлебеном сербские гусары, а затем и кирасиры с конногренадерами. Неприятель был сбит со всех позиций, а окруженный батальон волонтеров сдался в плен. Победенных преследовали до стен Шпандау. У русских было 25 убитых и 21 раненый; пруссаки потеряли 2 тыс. павшими или ранеными, тысячу пленными (из них более дюжины офицеров), 2 пушки, 30 фур и много лошадей. Весь арьергард Клейста был уничтожен. И если бы Тотлебен вовремя предупредил своего старшего командира, та же судьба постигла бы и корпус Хюльзена.

Переломом кампании 1760 г. стало взятие Берлина — столицы маркграфов Бранденбургских и первых трех королей Пруссии. Тем не менее радость в войсках была омрачена иными чувствами. Поведение Тотлебена выглядело весьма сомнительным. Раздраженные австрийцы считали его успех обманом; саксонцы негодовали на столь благоприятные условия капитуляции, жалуясь, что не смогут теперь добиться справедливого возмездия за жестокости Фридриха II в Саксонии. Даже русские генералы и офицеры считали, что Тотлебен был слишком снисходителен к прусской столице. Подобное взятие совсем не походило на победу: не было ни благодарственного молебна, ни торжественного вступления войск. Чернышев ограничился лишь тем, что вместе с графом Ласи объехал пикеты в восточной части города, а в остальном как будто предоставил Тотлебену поступать по своему усмотрению. Ласи жаловался, что Тотлебен стал хозяином Берлина, отведя австрийцам роль то ли зрителей, то ли прислужников. Тотлебен следующим образом разделил *douceur-geld* (200 тыс. талеров): 75 тыс. экспедиционному корпусу, 25 тыс. корпусу Панина и по 50 тыс. для войск Чернышева и Ласи. Австрийцы и саксонцы остались недовольны, и в городе у них стали возникать конфликты с солдатами Тотлебена. Подобные раздоры ослабляли дисциплину. Вопреки запрету в город вошли войска всех армий. Вот что рассказывает Болотов:

«Солдаты, будучи недовольны ествами и напитками, вынуждали из обывателей

деньги, платье и брали все, что только могли руками захватить и утащить с собою. Берлин наполнился тогда казаками, кроатами и гусарами, которые посреди дня вламывались в дома, крали и грабили, били и уязвляли людей ранами. Кто опаздывал на улицах, тот с головы до ног был обдираем, и 282 дома было разграблено и опустошено. Австрийцы, как сами говорили берлинцы, далеко превосходили в сем ремесле наших. Они не хотели слышать ни о каких условиях и капитуляции, но следовали национальной своей ненависти и охоте к хищению, чего ради принужден был Тотлебен ввести в город еще больше российского войска и несколько раз даже стрелять по хищникам. Они вламывались, как бешеные, в королевские конюшни, кои по силе капитуляции охраняемы были российским караулом. Лошади из них были повытасканы, кареты королевские ободраны, оборваны и потом изрублены в куски. Самые гошпитали, богадельни и церкви пощажены не были, но повсюду было граблено и разоряемо, и жадность к тому была так велика, что самые саксонцы, сии лучшие и порядочнейшие солдаты, сделались в сие время варварами и совсем на себя были не похожи. Им досталось квартировать в Шарлоттенбурге, городке за милю от Берлина отлежащем и славным по королевскому увеселительному дворцу, в оном находящемся. Они с лютостью и зверством напали на дворец сей и разломали все, что ни попадалось на глаза. Наидрагоценнейшие мебели были изорваны, изломаны, исковерканы, зеркала и фарфоровая посуда перебиты, дорогие обои изорваны в локутки, картины изрезаны ножами, полы, панели и двери изрублены топорами, и множество вещей было растаскано и расхищено; но всего более жаль было королю прусскому хранимого тут и прекрасного кабинета редкостей, составленного из одних антик или древностей и собранного с великими трудами и коштами^[282]. Бездельники и оный не оставили в покое, но все статуи и всё перековеркали, переломали и перепортили. Жители шарлоттенбургские думали было откупиться, заплатив 15 тыс. талеров, но они в том обманулись. Все их дома были выпорожнены, все, что не можно было учесть с собою, переколото, перебито и переломано, мужчины избиты и изранены саблями, женщины и девки изнасилованы, и некоторые из мужчин до того были избиты и изранены, что испустили дух при глазах своих мучителей.

Такое ж зло и несчастье претерпели и многие другие места в окрестностях Берлина, но все более от цесарцев^[283], нежели от наших русских, ибо сии действительно наблюдали и в самом городе столь великую дисциплину ...»^[284]

Берлин пострадал меньше, чем его предместья. Тотлебену удалось установить некоторый порядок благодаря усилению русских караулов. Одни только королевские учреждения были преданы грабежу, но и те не разорены до основания, как предписывалось инструкциями Салтыкова и Фермора. Арсенал оспаривали друг у друга русские и австрийцы, причем последние хотели забрать все только для себя. Тотлебен отдал им лишь 12 пушек и еще возвратил захваченные у них пруссаками орудия. Всего там оказалось 143 пушки и 18 тыс. ружей. Ласи намеревался взорвать арсенал, но Тотлебен воспротивился этому, чтобы не нанести вреда городу. Он уже разрушил пороховые мельницы и затопил запасы пороха. Королевские мануфактуры мундирного сукна были опустошены, а сукна проданы по бросовым ценам. Уничтожены также монетный и литейный дворы. В королевской казне обнаружилось 60-100 тыс. талеров. «Были и такие негодяи, которые указывали неприятелю складочные места воинского имущества, однако значительно большее число горожан ревностно стремились уберечь королевскую собственность»^[285].

Тотлебен совершенно явно покровительствовал берлинцам. Не было никакого сомнения в том, что он находился под влиянием Готцковского. Когда в день капитуляции генерал Бахманн въезжал в город через Котбусские ворота, он встретил там депутацию ратуши; «купец-патриот» сохранил для нас происшедший любопытный диалог:

«Офицер, ехавший впереди полка, вступил в ворота, спросил нас, кто мы такие, и, услышав, что мы выборные от Думы и купечества и что нам велено сюда явиться, сказал: „Тут ли купец Гочковский?“. Едва опомнившись от удивления, выступил я вперед, назвал себя и с вежливой смелостью обратился к офицеру: что ему угодно? „Я должен, — отвечал он, — передать вам поклон от бывшего бригадира, ныне генерала Сиверса. Он просил меня, чтобы я по возможности был вам полезен. Меня зовут Бахманн. Я назначен комендантом города во время нашего здешнего пребывания. Если в чем я могу быть вам нужен, скажите“»^[286].

Когда Готцковский смог продолжить этот разговор в другом месте, он попросил, чтобы адъютанта Тотлебена поселили в его доме, и благодаря этому получил легкий доступ к самому коменданту Берлина. Однако он употреблял свое влияние лишь для предотвращения эксцессов, поддержания дисциплины, защиты жителей и их собственности. Готцковский добился наказания одного русского офицера, укравшего 100 талеров, — виновного на 48 часов привязали к жерлу пушки. По его ходатайству удалось сохранить охотничьи ружья, которые хотели конфисковать вместе с боевым оружием. Было отдано всего несколько сотен, да и то самых худших. Он спас от наказания розгами двух неосторожных журналистов — ограничились только сожжением их писаний рукою палача. Он же отговорил Тотлебена от особой контрибуции для евреев. Готцковский добился также того, чтобы заложниками вместо двух ратманов и знатных купцов для гарантии миллионного векселя были взяты чиновники, кассиры и два бедных еврея, Ицка и Эфраим. Болотов рассказывает, что «купец-патриот» день и ночь проводил на улицах или в прихожей Тотлебена. Влияние его было таково, что он мог склонить этого генерала к нарушению большинства имевшихся инструкций. Быть может, за все свое снисхождение Тотлебен получил от прусского короля круглую сумму? Далее мы увидим, что это представляется весьма вероятным.

В своих записках Готцковский пишет лишь о том, что этот генерал вел себя скорее как друг, а не как неприятель. Но об уходе русской армии он говорит все-таки с радостным чувством освобождения: «12 октября вечером граф Тотлебен и войска его выбыли наконец из города и освободили дом мой, более походивший на скотный двор, нежели на жилище, после того, как русские наполняли его денно и нощно. Все время должен был я довольствоваться питьем и едою всякого, кто ко мне являлся. Прибавить надо еще многие подарки, без которых не удалось бы мне исполнить то, что я исполнил. Чего все это мне стоило, остается записанным в книге забвения»^[287].

Весьма существенно помог смягчить тяготы оккупации еще один человек — голландский посланник Дитрих Верельст. Он пристыдил русские и австрийские власти за беспорядки первого дня и остановил грабежи. Впоследствии Фридрих II благодарил его и даже удостоил графского титула^[288].

Вернемся, однако, к Фермору и главной русской армии.

28 сентября она перешла Одер и двинулась на Берлин. Еще на пути Фермор послал кавалерию Гаугревена в подкрепление корпуса Чернышева. 29-го Румянцев вышел из Королата на Цюллихау, а 8 октября он соединился во Франкфурте с Фермором, который через два дня передал командование Салтыкову.

Фельдмаршал, обеспокоенный слишком рискованным положением своего экспедиционного корпуса в Берлине и сообщением о марше Фридриха II с семидесятитысячной армией к Шпрее, опасаясь, что его войска будут разбиты по частям, предписал Чернышеву отступить к Франкфурту. В ночь на 12 октября корпус Панина выступил из Берлина, а на следующий день за ним последовали Чернышев и Ласи под прикрытием Тотлебена. Последним ушел генерал Бахманн. Вот что пишет об этом Болотов:

«... жители берлинские при выступлении наших и отъезде бывшего на время берлинским комендантом бригадиру Бахману подносили через магистрат 10 тыс. талеров в подарок, в благодарность за хорошее его и великодушное поведение; но он сделал славное дело — подарка сего не принял, а сказал, что он довольно награжден и тою честью, что несколько дней был комендантом в Берлине».

Во время отхода Салтыков пребывал в постоянном страхе — у него самого во Франкфурте было не более 20 тыс. чел. Наконец 14 октября вся армия со всеми берлинскими трофеями собралась в этом городе.

Взятие прусской столицы произвело фурор во всей Европе. Вольтер писал графу Ивану Шувалову: «Приход вашей армии в Берлин производит значительно большее впечатление, чем все оперы Метастазии»^[289]. Союзные дворы и посланники не замедлили представить Елизавете свои поздравления, впрочем, навряд ли искренние. Австрийцы возлагали надежды на то, что ради чести и славы императорской армии она останется в Берлине и на великолепных винтер-квартирах в Бранденбурге. Поздравления приходили и после того, как город был оставлен русскими войсками.

Впрочем, у русских сохранилась некоторая гордость этой рискованной кампанией. В Зимнем дворце одна из картин, посвященных Семи летней войне, изображает вступление армии в Берлин, а в Казанском соборе можно видеть ключи этого города. Маркиз Лопиталь в своей депеше от 5 ноября пишет, что «после набега на Берлин двор сей восприял тон излишней смелости, если не сказать дерзости». По его мнению, шансы на заключение мира еще больше отделились. Канцлер Воронцов охотно склонился бы к этому, однако молодой фаворит Иван Шувалов и Конференция увлекали царицу в противоположном направлении.

Фридрих II понес тяжелые потери: арсенал, литейный двор, наконец, магазины — все это, стоившее стольких трудов и денег, было разорено. Его особенно унижало и раздражало то, что сам он сначала никак не верил в возможность взятия своей столицы. Катт не напрасно писал: «Можно просто помереть от его недоверчивости».

Тот же Катт дает понять, что в окружении короля остро ощущали это несчастье. «Берлин стал лишь печальной тенью того, что было прежде». Хвалили Тотлебена: «Командир казаков, к счастью, держал в узде генералов Чернышева и Ласи»; еще более превозносили голландского посланника; король говорил о нем со слезами на глазах: «Вся королевская фамилия, я сам и все пруссаки должны воздвигать достойнейшему сему министру алтари»; наконец, дифирамб купцу Готцковскому, «который с опасностью для жизни, рискуя тюрьмой, сделал все возможное, чтобы предотвратить эксцессы». Впрочем, отдавали справедливость и русским: «Они спасли город от тех ужасов, которыми угрожали австрийцы». Именно на австрийцев был направлен гнев короля за «совершенные в столичных окрестностях неслыханные безобразия», к примеру, загрязнение нечистотами покоев короля и королевы в Шарлоттенбурге. Они даже разбивали статуи: «Варвары-готы творили то же самое в Риме»^{[290]^[71]}. Но еще больше возмущались саксонцами, наперед оправдываясь их зверствами в Берлине за то, что сами намеревались опять делать в Саксонии и Польше.

Петербургский двор возгордился берлинским успехом. А когда сочли уместным оправдаться в обвинениях Фридриха II, жаловавшегося на варварство русской армии^[291], то в ноте «г-ну Кейту, чрезвычайному посланнику Его Британского Величества» с иронией и некоторой аффектацией были изображены преступления самого обвинителя, противопоставленные столь умеренным и человечным действиям России. И все это с чувством некоторого злорадства своим триумфом и над королем Пруссии, и над его союзницей Англией:

«... Саксония лишилась большей части своих жителей, силою взятых в рекруты или уведенных по иным причинам в Бранденбургские Владения. Противоположно сему, ни единый человек не был взят из Пруссии (Восточной. — А.Р.), и обитателям сего Королевства платили даже из казны Ее Императорского Величества за падший скот, дабы не было ни малейшей остановки в производстве работ.

Король Пруссии битьем, голодом и прочими жестокостями принуждает пленных переходить на его службу в нарушение исконной их присяги. Ее Императорское Величество, напротив того, отпускает сих насильно взятых людей на волю и возвращает оных законным властям.

Взятие Берлина, каковое, по всей видимости, снова рассердило короля Пруссии, еще раз отличает армию Ее Величества и служит памятником ее щедрости и благоволения, равно как и побуждением для короля Пруссии явить таковое же, как и Ее Величества, великодушие и не помышлять о возмездии. Несомненно, все сие население заслуживало кары за предпринятое оным напрасное сопротивление, но оно было пощажено, и солдатам не разрешили даже постой в обывательских домах, не считая той охраны, каковая давалась по собственным их просьбам. В противоположность сему, Лейпцигу, никогда не защищавшемуся от пруссаков, так и не выпала столь счастливая судьба.

Действительно, в Берлине были разрушены арсеналы, литейные дворы и ружейные мануфактуры, но ведь именно с таковою целию и была предпринята сия экспедиция.

Взятие контрибуции лишь повторяет общепринятые обычаи, и, по правде говоря, не стоит труда даже говорить об этом после тех огромных сумм, взятых пруссаками в Саксонии и в одном только граде Лейпциге.

До сего времени Всевышний неизменно благословлял оружие Ее Императорского Величества, и хотя Императрица всецело полагается на божественную помощь, однако же и сама она никогда до сих пор не позволяла использовать свои войска для разрушения градов, у неприятеля взятых. Но ежели король Пруссии, не желая последовать таковому примеру Ее Императорского Величества, вздумает злоупотребить каким-либо кратковременным своим успехом ради отмщения и особливо станет принуждать подданных своих, в военной службе не состоящих, братья за оружие, в таковых случаях последствия могут оказаться весьма пагубными и, несомненно, будут отдалять, а не приближать восстановление толико вожделенного спокойствия.

А поелику г-н посланник при всех к тому оказиях выказывал достохвальное рвение к воцарению мира, здесь надеются, что из всего вышеизложенного он сделает соответственное употребление, как при своем, так и при прусском дворе, дабы предотвратить, по крайней мере, превращение и без того столь пагубной сей войны в еще более жестокую»^[292].

3 ноября 1760 г. Фридрих II взял у австрийцев реванш в кровавом сражении при Торгау.

Другая экспедиция русских — против Кольберга, оказалась не столь блестящей, как берлинская. 12 августа генерал Олиц с двенадцатитысячным корпусом вышел из Королата и должен был остановиться в Дризене в ожидании дальнейших приказов. Тем временем адмирал Мишуков привел на кольбергский рейд флотилию транспортов с пятитысячным десантом. Крепость защищал полковник Гейде, против 17 тыс. русских у него было два батальона ландмилиции и 800 чел. гарнизона. Однако русской эскадре, которая 27 августа начала высадку десанта и бомбардирование Кольберга, препятствовал жестокий шторм. 6 сентября обстрел возобновился и была открыта траншея. Совершенно неожиданно под стенами крепости появился генерал Вернер (5 батальонов и 8 эскадронов). Он маневрировал с такой смелостью и искусством, что сумел пройти в город. Обескураженные русские сняли осаду и погрузились обратно на суда, оставив неприятелю 22 пушки. Это настолько рассердило Конференцию, что она предала русских командиров военному суду. Впрочем, 21 ноября все они были оправданы.

После сосредоточения русской армии во Франкфурте 13 и 14 октября Салтыков перевел ее обратно на правый берег Одера. Он ожидал нападения Фридриха II, раздраженного разорением его столицы. Однако, как мы уже видели, король оборотился против Дауна. Напрасно прождав его на выгодной позиции у Циленцига, Салтыков 17 октября решился отдать приказ об отступлении на Варту, а затем и на Вислу. Это вызвало протесты со стороны польского короля и Дауна: они настаивали на том, чтобы, по крайней мере, к австрийской армии в Саксонии был направлен корпус Чернышева. Однако Конференция не согласилась с этим. Во время кампании 1760 г. русская армия претерпевала большие тяготы. Как обычно, недоставало фуража. Из-за крайней нехватки лошадей пришлось сжечь 55 фургонов и 54 понтона, так как их лошади были отданы артиллерии. 26 октября войска остановились на другом берегу Варты. 30-го вновь заболевший Салтыков опять передал командование Фермору. Однако уже был назначен его преемник — граф Александр Борисович Бутурлин. Весьма приближенный к царице, он не достиг, однако, высоких чинов и имел лишь первое старшинство среди генерал-аншефов. Поскольку не хотели назначить Фермора, а Румянцев считался слишком молодым, не оставалось никого другого. Бутурлин был членом Конференции и командующим на Украине. Впрочем, назначила его, конечно же, не сама Елизавета, а Конференция.

14 октября Бутурлин уведомил Фермора о своем намерении занять винтер-квартиры в Силезии и Померании. Однако, прибыв к армии, он все-таки понял, что это невозможно, и приказал продолжать отступление на Нижнюю Вислу, где армия остановилась зимовать, как и в предыдущие годы.

Но не одна только российская армия была измотана прошедшей кампанией. Война отягощала весь мир и особенно короля Франции. В Индии 10 января пал Пондишери. На Американском континенте остатки французских сил капитулировали в Монреале. В Германии успех сопутствовал только герцогу де Кастри при Клостеркампе^[72] (16 октября). Зимой французы смогли остаться на винтер-квартирах в самом центре Вестфалии, на Верре и Фульде — не столь уж большое возмещение всех наших несчастий. 18 декабря Людовик XV направил маркизу Лопиталю «Декларацию для союзных дворов». Король давал в ней понять, что полагает поставленную в этой войне цель уже достигнутой: «Ныне прусское могущество ослаблено настолько, что в будущем можно не опасаться более амбициозного духа того государя, который с излишней смелостью рассчитывает на свои силы». Что касается возмещения для Австрии, курфюрста Саксонского и шведской короны, то Людовик XV приглашал своих союзников поразмыслить о реальной возможности получить его: «Король

не предполагает, что будущая кампания сделает положение альянса существенно отличным от нынешнего». Наконец, касаясь самого животрепещущего, Людовик еще раз обращал внимание на тяготы и истощение народов. Он никак не мог «скрыть от верных своих союзников, что принужден уменьшить предоставляемую для них военную помощь», а если война будет продолжаться и далее, для него станет невозможным «гарантировать неукоснительное исполнение всех взятых на себя обязательств».

Это означало отступничество Франции в ближайшем будущем, по крайней мере, от германских дел. Герцог Шуазель считал необходимым направить последние ресурсы на морскую оборону.

Глава пятнадцатая. Кампания 1761 г. в Силезии и Померании



Начиналась кампания 1761 г. После французской декларации 18 декабря в Петербурге не могли больше рассчитывать ни на продолжение особенно активных действий в Германии, ни тем более на упрочение русской власти в Восточной Пруссии.

Елизавета, уже поддававшаяся настояниям Людовика XV и отвергшая планы Салтыкова касательно Данцига, делала уступки и в отношении этой провинции Прусского королевства. Осенью 1760 г. она просила передать французскому королю, что здесь не может быть никаких препятствий для заключения мира. «Инструкции» для барона де Бретейля от 31 января 1761 г. свидетельствуют о неизменном стремлении Людовика XV обуздать русские амбиции:

«Барону де Бретейлю надлежит представить императрице России, ежели случится у него к тому надлежащая оказия, все те причины, основанные на принципах справедливости и человечности, кои должны побудить сию государыню к восприятию благотворного плана, направленного на прекращение кровопролития стольких воюющих народов и предупреждение, по мере возможности, новой кампании. <...> Здравое рассуждение показывает, что уже невозможно добиться мира ценой войны, предоставляющей большее вероятие опасностей, нежели успехов ... Столь великой государыне, вполне доказавшей свою приверженность взятым на себя обязательствам, не пристало ныне искать иной славы, кроме той, каковая соединена со спокойствием и счастьем народов»^[293].

Первым следствием таких настроений у союзников явился *совершенно секретный* рескрипт царицы, направленный 2 февраля главнокомандующему Бутурлину: «Теперь миновались или скоро могут миноваться те обстоятельства, для которых мы были принуждены стараться о охранении Пруссии в хорошем состоянии; наступают такие обстоятельства, при которых надобно заботиться только о том, чтоб армия наша была снабдена всем потребным и королю прусскому была страшна»^[294]. Поэтому Бутурлину надлежало ужесточить отношение к сей провинции в соответствии с требованиями военного времени. Он должен был заменить всех русских — извозчиков, служителей рабочих команд и прислугу крестьянами, взятыми в Пруссии, вместе с их собственными повозками и лошадьми. Было велено обещать им только освобождение после конца войны.

Та же самая причина привела к парижской конференции 25 марта с участием Австрии, России, Швеции, Саксонии и Польши, в результате которой появилась декларация пяти дворов, обращенная к королям Англии и Пруссии. Им предлагалось назначить какой-нибудь из городов, например Аугсбург, где собрались бы полномочные представители для переговоров о мире. Одновременно такие же консультации должны были проводиться в Париже и Лондоне. Кроме того, высказывалось пожелание прекратить военные действия «во всех частях света, где пылает огонь войны». 8 апреля Питт ответил, что на заморских территориях война может закончиться лишь после окончательного установления мира в Европе. Таким образом, он оставлял за собой возможность довершить завоевание французских колоний. И Аугсбургский конгресс, и конференции в Париже и Лондоне не

состоялись. Марии Терезии была нужна Силезия, а Фридрих предпочитал скорее «сражаться за целостность моих владений, даже если бы у меня осталось с десяток поварят», чем отказаться от сей провинции.

Повсюду с прежним ожесточением возобновилась война, главным образом на заморских территориях. Елизавета пыталась воспользоваться неудачей Людовика XV для заключения с ним непосредственного и официального союза. Однако все старания посланника Дмитрия Голицына и переговоры канцлера Воронцова с бароном де Бретейлем не смогли переломить принятого королем Франции решения. Герцог Шуазель с радостью согласился бы на такой союз, но Людовик XV упорно отказывался от него. Барон де Бретейль был связан жесточайшими инструкциями: если с ним начнут говорить о союзном трактате, он должен уклоняться и рассуждать только о торговом договоре. В Англии хорошо понимали это нежелание короля и только усугубляли свои требования к изолированной Франции. Именно это и привело к провалу всех попыток начать переговоры и к возобновлению ожесточенной войны на море и в колониях.

Поскольку Людовик XV не разрешал Шуазелю протянуть руку России, герцог обратился в сторону Испании. Он сумел успокоить ее колебания и по Парижскому трактату 15 августа 1761 г. заключил «Фамильный договор», к которому присоединились также и итальянские Бурбоны. Этот новый союз еще более усилил вожделения Англии: покончив с французскими колониями, она могла теперь покуситься и на владения Испании. Морская война продолжалась, принося для нас и наших союзников новые катастрофы.

На Европейском континенте сбывались пессимистические предвидения Людовика XV. Вынужденный вследствие истощения своих сил к обороне, Фридрих II нашел, казалось, некое средство, чтобы внушить подобную же стратегию и своим врагам. Против 385 тыс. чел. у него было не более 190 тыс., но он сумел избежать больших сражений и не отдать ни русским, ни австрийцам сколько-нибудь значительной части своей территории. Кампания 1760 г. уступила, таким образом, свой титул «наижалчайшей» для кампании 1761 г.

У австрийцев оказался всего один хоть сколько-нибудь существенный успех — взятие Швейдница, зато у французов — только поражение при Виллигхаузене (15 июля)^[173]. Для русских это была новая кампания марш-маневров, скрашенная взятием Кольберга.

Мы уже говорили о главнокомандующем Бутурлине. Похвала Конференции после кампании 1760 г. весьма характерна. В докладе императрице, подписанном всеми членами, говорится:

«... дабы отдать ему и своему долгу справедливость, чрез сие всенижайше засвидетельствовать, что доныне все учиненные им распоряжения основаны сколь на прямой ревности, столько ж и на осторожном благоразумии, а трудолюбие его и попечение простирается на все без изъятия. Походом обратным на зимние квартиры обыкновенно изнурялась армия и пропадали лошади; его старанием, напротив того, армия сим походом поправляется, и получены вместо худых хорошие лошади. Одним словом, когда усердие и подчиненных ему генералов будет согласоваться с его ревностью, то можно уповать хороших плодов и славы от будущей кампании»^[295].

Из этого свидетельства явствует, что Бутурлин был хорошим администратором и умел щадить людей и лошадей, но здесь ничего не говорится о его талантах стратега. Как мы увидим, в этом отношении Истории, равно и членам Конференции, остается только сохранять молчание.

По словам Болотова, главнокомандующий страдал одним весьма существенным изъяном. Возможно, Болотов пересказывает лишь армейские сплетни или сильно преувеличивает, однако по существу его свидетельство совпадает с мнением Фридриха II. Он уверяет, что в самые критические периоды Бутурлин предавался почти непрерывным оргиям:

«То и дело привозились к нам о сем вести, и с одной стороны смешные, а с другой найдосаднейшие анекдоты. Ибо генерал сей при сих куликаньях своих^[296] делал бесчисленные глупости и нередко просиживал целые ночи в кружку с гренадерами, заставляя их с собою пить, петь песни и орать, и полюбившихся ему жаловать прямо в офицеры и даже в майоры, а проснувшись, прашивал их просьбою сложить с себя чины и сделаться опять тем же, чем были»^[297].

В то же время маркиз де Лопиталь в своем донесении от 26 января 1761 г. весьма высоко оценивает реорганизацию русской армии Бутурлиным: «Ныне она находится в превосходном состоянии. Сам он постоянно производит смотры рекрутам. Ему недостает всего лишь тысячи лошадей для кавалерии»^[298].

Кампания 1761 г. началась, как обычно, с передвижения легкой русской конницы. «Вот уже 8 тыс. русских опять в Померании, — писал Фридрих II. — Согласитесь, я обречен на труд Пенелопы^[74]. Боже! Как я устал!»^[299] 29 января по дороге на Кольберг у русских произошла стычка с пруссаками, они одержали верх и захватили немало пленных. Тотлебен воспользовался этим, направился к Кольбергу и занял сетью своих аванпостов большую часть Прусской Померании. 17 февраля он сообщил, что Кольберг уже блокирован. Вместе с подкреплениями, приведенными бригадиром Бекетовым, у него было 14 тыс. чел.

В конце февраля Тотлебен вступил в переговоры с принцем Брауншвейг-Бевернским и генералом Вернером и заключил с ними четырехдневное перемирие для обмена пленными. Затем последовали и другие перемирия, но его никто не винил за это, поскольку он получил сначала одобрение главнокомандующего, а потом и самой Конференции. Последняя даже уполномочила Тотлебена продлить перемирие до 27 мая.

Тем временем между петербургским и венским дворами шли переговоры о плане кампании 1761 г. Даун намеревался действовать в Саксонии, а для операций в Силезии предназначал Лаудона и хотел, чтобы его усилил корпус Чернышева. Что касается армии Бутурлина, то он не находил для нее какого-то определенного применения и соглашался отправить ее «куда угодно». Конференция, со своей стороны, адресовала главнокомандующему самые несуразные инструкции: войти в Силезию и осадить Козель; или же действовать против Кюстрина, для взятия которого будто бы достаточно обычной бомбардировки. Г-н Масловский пишет: «В стратегическом отношении более несчастного плана кампании нельзя себе и представить. Никакой цели главнокомандующему не указывалось; многоречивое же рассуждение Конференции о выгодах и недостатках разных операционных линий окончательно путало и без того неопытного Бутурлина»^[300].

Кампанию 1761 г. открыл принц Фердинанд Брауншвейгский: он отбросил герцога Брольи к Ганау, однако французский маршал получил подкрепления и возвратил свою позицию у Касселя. Затем в Руре с ним соединился маршал Субиз. Первые действия Фердинанда Брауншвейгского несколько развязали руки Фридриху II. 14 мая он соединился в Швейднице с корпусом генерала Гольца и благодаря этому занял ту самую линию, на которой могло бы произойти соединение русских с австрийцами.

Бутурлин, связанный заключенным Тотлебенем до 27 мая перемирием, еще не сдвигался с места. Однако 14 мая он получил в своей главной квартире в Мариенвердере приказ вступить в Силезию и соединиться там с Лауд оном, который был назначен самостоятельным командующим австрийскими силами в этой провинции. У Дауна оставалась только армия, находившаяся в Саксонии.

Бутурлин вел переговоры со шведским главнокомандующим генералом Лаутингсхаузенем о содействии со стороны его десяти тысячного корпуса, но так и не добился никаких практических результатов.

17 и 19 июня на военном совете было решено: предоставить Румянцеву полную свободу действий в Померании и против Кольберга; направить главную армию к Бреслау для соединения с Лаудоном под прикрытием кавалерии Тотлебена, отозванного из Померании.

27 августа в Штригау встретились русские и австрийские аванпосты. Здесь Бутурлин стоял до 9 сентября, после чего возвратился к Одеру у Лебуса. Однако австрийцы запротестовали; Конференция потребовала у главнокомандующего объяснений — она знала, что отвечать на их обвинения: «Зачем русские заставили венский двор передать командование от Дауна к Лаудону? И зачем было вводить их в столь тяжкие расходы по устройству магазинов для русской армии и т. п.?»

Дело, однако, заключалось в том, что Бутурлин испугался. Ведь в Силезию пришел сам Фридрих II, оставивший войну в Саксонии для своего брата Генриха. На протяжении от Швейдница до Одера у короля было 70 тыс. чел., и ему не приходилось считаться ни с Конференцией, ни с гофкригсратом. Он был сам себе и военным советом, и главнокомандующим, внушая своим противникам ужас той быстротой, с которой его решения претворялись в действия. Фридрих мог по собственному усмотрению напасть на русских или на австрийцев. Однако он отличал их друг от друга и, как сам говорит в своих мемуарах, «решил при благоприятной okazji сразиться с австрийцами, а по отношению к русским скрупулезно придерживаться оборонительной тактики, поелику после победы над австрийцами русские сами ретировались бы, а при поражении русских г-н Лаудон все равно продолжал бы свои действия»^[301].

Русские же, потратившие столько усилий для соединения с Лауд оном, не только не видели осуществления намеченных планов, но и не получали от своих союзников никакой помощи. Прусский король маневрировал с поразительной быстротой и смелостью, хотя и соблюдал осторожность. При этом он жаловался на «невозможность увидеть хоть что-нибудь из-за полчищ казачьей сволочи» (1 августа). Тем не менее благодаря умелым маневрам Фридрих сумел прервать сообщение между австрийцами и русскими и принудить последних уйти за Одер.

17 августа король разделил свои силы: сам с 40 тыс. чел. оставался в Вальштадте, а против Лаудона послал маркграфа прусского Карла с 30 тыс. В русской главной квартире посчитали, что он чрезмерно рискует, оказавшись в некотором роде между двух огней, и было решено атаковать его позиции. Оставив достаточное охранение своего лагеря, русские за один ночной марш утром 19-го вышли к Яуеру, но не обнаружили неприятеля. Что касается Лаудона, обещавшего следить за Фридрихом, то он, опасаясь обходного маневра пруссаков, отступил на Фрейбург. Таким образом, русские оказались словно подвешенными в воздухе, не встречая среди этой неведомой для них страны ни врагов, ни союзников. А прусский король со своими 70 тыс. беспрепятственно маневрировал между двумя армиями, каждая из которых равнялась его собственной, поскольку у Лаудона было 75 тыс. чел., а у Бутурлина — 50 тыс.^[302] Такое попустительство, конечно, менее простительно австрийцам, как более сильным.

Русские были раздражены и утомлены столь бесславной войной. Бутурлин относил на

свой счет слова Салтыкова: австрийцы хотят, чтобы другие таскали для них каштаны из огня. В связи с этим уместно привести свидетельство самого Фридриха II, хотя и несколько сомнительное: «Чтобы не подвергать себя опасности, г-н Лаудон никогда не выходил за пределы предгорий, и ему всегда удавалось оставлять для союзников Австрийского дома самые опасные предприятия»^[303].

Тем не менее 24 августа Бутурлин занял Яуер, а 25-го под Хохенфридбергом соединился с частью австрийской армии. Лаудон приехал к нему собственной персоной и, как младший по чину, поступил под его команду. Теперь оставалось только совместно и всеми силами идти на Фридриха.

Король занимал сильную позицию у Бунцельвица. Речка Штригау защищала его лагерь с севера и запада, а ручей Швайденвассер — с востока. Лагерь был укреплен со всех сторон ретраншементами, палисадами, редутами, батареями, рогатками и поваленными деревьями^[304]. Кроме того, Фридрих мог получать из Швейдница подкрепления людьми и снаряжением.

Позиции австрийской армии находились с южной стороны, позади деревни Кунцендорф, а Бутурлина — с западной, к югу от Штригау, по обеим сторонам одноименной реки. На северной стороне разместились корпуса Чернышева и Берга и один австрийский корпус. Только восточная сторона оставалась свободной, поскольку для ее занятия пришлось бы окружить крепость Швейдниц, на что у Бутурлина даже совместно с Лаудоном не имелось и половины необходимых сил.

Не было возможности ни блокировать столь обширный лагерь, защищенный речками и болотами, ни штурмовать его. Таким образом, Фридрих имел все преимущества на своей стороне. Если бы он не положил себе за правило придерживаться оборонительной тактики, то сам мог бы напасть на одну из осаждающих армий, прежде чем другая смогла бы прийти к ней на помощь. Теперь именно он определял все передвижения своих противников.

Сначала Лаудон решил произвести штурм 27 августа. 29-го Бутурлин собрал военный совет, на котором присутствовал и австрийский командующий. Он весьма настойчиво заявлял, что именно сейчас можно завершить войну одним ударом. Русские генералы колебались. 30 августа, как пишет шевалье Менаже, военный агент Франции, «при появлении г-на Лаудона все приветствовали его и изъявили полное с ним согласие, однако каждый день происходят какие-то отдельные советы, отменяющие вечером то, что было решено утром»^[305]. Рассказ самого Фридриха II как будто подтверждает это свидетельство — по его словам, оба командующих решили назначить штурм на 1 сентября: «Г-н Бутурлин, проводивший много времени за столом, где вино текло рекой, в минуту веселья и с бокалом в руке согласился с предложением г-на Лаудона. Была написана диспозиция, которую послали всем старшим начальникам, и г-н Лаудон возвратился к себе весьма довольный русскими, а г-н Бутурлин улегся спать. Проснувшись и спросив собственное свое чувство осторожности, он отменил уже отданные приказы, не без оснований опасаясь, как бы австрийцы не принесли в жертву его армию, тем паче что ежели все предприятие завершилось бы конфузней, то вина и позор пали бы исключительно на русских»^[306].

Свидетельства, представленные недавно г-ном Масловским, показывают все это дело в совершенно ином свете. По его мнению и в соответствии с «Журналом военных действий» (запись от 4 сентября), атаковать намеревались русские; Лаудон, прибывший в главную квартиру Бутурлина 2 сентября, напротив, возражал. Он говорил, «что, *хотя и постановлено было с общего согласия неприятеля атаковать и крепость Швейдниц бомбардировать ...* но, находя в том великое затруднение и мало пользы, к тому же видя невозможность обеим

армиям быть в соединении за крайним недостатком фуража ... Лаудон требовал оставить ему до десяти пехотных полков, два конных (один гусарский и один кирасирский), под командою генерал-поручика графа Чернышева, а остальной нашей армии предложил, отделясь, и особо свои операции производить, напротив чего он, барон Лаудон, отдает генерал-поручика Бека в его (Бутурлина) команду, придав ему к оной еще 30 эскадронов конницы с тем, однако ж, чтобы сей деташемент за реку Одер не заводить ...»

Трудно понять, какая могла быть польза от всей этой торговли батальонами и эскадронами. С другой стороны, рассуждения, приписываемые Лаудону русскими составителями «Журнала военных действий»,^[307] не согласуются одно с другим: недостаток фуража скорее должен был побуждать к наступлению, невзирая на риск, что явилось бы наилучшим из желаемых результатов соединения обеих армий.

Но, как бы то ни было, вплоть до 10 сентября они оставались недвижимы, ограничиваясь лишь случайными выстрелами, даже не достигавшими неприятельских укреплений. Артиллерия бездействовала, поскольку прусские батареи повсюду занимали господствующее положение. 10 сентября Бутурлин дал Лаудону просимое подкрепление (об обмене его на 30 австрийских эскадронов ничего не говорится) и ушел в направлении Яуера. Лаудон, со своей стороны, «почитая для себя опасным оставаться в долине после ухода русских»^[308], отступил к горам на свою прежнюю позицию у Кунцендорфа.

Прусский король, оказавшись в одиночестве на необагренном кровью поле сражения, приказал генералу Платену угрожать русским магазинам в Познанском воеводстве, в результате чего было взято в кублинском магазине 5 тыс. телег и 7 пушек.

Фридрих II старался как можно дольше занимать сильную позицию у Бунцельвица: «Если бы запасы провианта позволили армии короля удерживать ее, кампания в Силезии обошлась бы без потрясений, несмотря на грозные приготовления неприятеля; однако швейдницкий магазин, снабжавший армию продовольствием в течение почти всего года, уже приближался к полному истощению»^[309]. Припасов оставалось всего на один месяц. 26 сентября король приказал взорвать все укрепления лагеря и оставил в Швейднице 5 батальонов, 100 драгун и выздоравливающих раненых, а сам перешел к Носсену у Мюнстерберга (29 сентября).

Главная русская армия, ослабленная на 18 тыс. чел. уходом корпуса Чернышева, возвратилась за Одер и шла к Познанскому воеводству. Отступление Бутурлина было настоящим подарком для Фридриха II. Никто из его противников так не досаждал ему и не нанес такого вреда, как русские. Ненавистью к ним дышат даже его письма к Вольтеру, например, по поводу книги «История России при Петре Великом»: «Скажите на милость, с чего это вам вздумалось сочинить историю сибирских волков и медведей? <...> Я и не подумаю читать про сих варваров и предпочту ничего не знать о том, что они обитают на нашем полушарии»^[310]. Однако русские никак не позволяли ему забыть об их существовании. Именно в этот момент происходило самое важное событие этой «жалкой» кампании. Хотя Лаудону и недоставало решимости для фронтальных атак, и он даже утрировал «кунктаторскую»^[311] осторожность Дауна, ему была присуща назойливость мухи — потерпев неудачу, он отступал на недалекое расстояние и быстро возвращался к прежнему месту. Фридриху II никогда не удавалось полностью и надолго избавиться от него. Пока король шел к Мюнстербергу, надеясь приманить за собой Лаудона, австрийский генерал сделал обходной маневр, подошел к Швейдницу и в ночь на 1 октября внезапным штурмом взял его. Из крепости не успели сделать и десяти выстрелов, и потери австрийцев были бы ничтожны, если бы не взрыв порохового склада. Фридрих приписывает большое значение действиям майора Роки, содержавшегося в качестве пленного вместе с 500 итальянскими

солдатами австрийской армии. Рока вошел в доверие к командиру гарнизона генералу Застрову и, пользуясь этим, доставил Лаудону сведения, решившие исход штурма. Впрочем, сопротивление, судя по всему, оказалось более серьезным, чем пишет Фридрих: у австрийцев было выведено из строя 63 офицера и 1394 солдата (400 вследствие взрыва). Русские потеряли только 5 офицеров и 92 солдата. Правда, их участие было невелико: из 18 тыс. чел. корпуса Чернышева для штурма отрядили только 800 чел., но зато они шли во главе колонн. Как пишет историк Н. Сухотин, при последовавшем грабеже только русские солдаты соблюдали дисциплину и оставались на бастионах, в то время как их союзники бросились грабить дома и лавки.

Похоже, что Лаудон был очень доволен уходом главной русской армии — после отказа штурмовать лагерь Фридриха II оба главнокомандующих как будто стыдились друг друга. Лаудону, который не планировал никаких крупных операций, были совершенно не нужны 50 тыс. русских. Он вовсе не хотел оставаться даже в номинальном подчинении у Бутурлина и тем более делиться с кем-нибудь возможными успехами, как, например, в Швейднице.

Что касается русского командующего, то для него, если он не хотел растратить попусту всю кампанию, оставалось только торопить Румянцева со взятием Кольберга, издавляя ему посылную помощь.

Осада Кольберга была уже четвертой за эту войну.

Предполагалось, что вся экспедиция будет *секретной*, однако это не помешало Фридриху II с самого же ее начала быть в курсе всех дел. Румянцев разделил свои войска на две колонны под командою генералов Ельчанинова и Бибикова. 9 июня он, имея всего 8 тыс. чел., достиг Руммельсбурга, где ему было предписано ждать подкреплений.

Из Руммельсбурга он писал Бутурлину, представляя о недостаточности столь малого корпуса для подобного предприятия. К тому же батальоны не имели штатного состава, ему отдавали солдат из самых слабосильных и плохо экипированных, многие офицеры страдали от увечий и полученных ран. Из артиллерии в наличии были только полковые пушки. Бутурлин, соглашаясь с приведенными резонами, побуждал Румянцева не падать духом — придя под Кольберг, он будет иметь 20 тыс. чел. и 60 пушек (включая полковые).

Укрепления Кольберга со времени первых штурмов несколько не усилились. Комендантом оставался все тот же полковник Гейде, выдержавший уже три предыдущие осады. Его гарнизон состоял всего из четырех батальонов. Но с самого начала Фридрих послал ему на помощь принца Фридриха Евгения Вюртембергского, раненного при Кунерсдорфе и неоднократно уже нами упоминавшегося. Этому младшему брату правящего герцога Вюртембергского было уже тридцать лет, впоследствии ему предстояло и самому занять герцогский трон (1795–1797 гг.). Его сын Фридрих стал первым королем Вюртемберга (1797–1816), а дочь — российской императрицей^[75]. Он был не только дедом двух царей (Александра I и Николая I) и вице-короля Польши (великого князя Константина Павловича), но еще и дедом вестфальской королевы Екатерины и прадедом принца Наполеона и принцессы Матильды^[76].

Фридрих Евгений привел в Кольберг 16 батальонов и 20 эскадронов отборной кавалерии, всего 12 тыс. чел. Поскольку сама крепость невелика, принц устроил к юго-востоку от города укрепленный лагерь, упирившийся справа в реку Персанту, а слева — на укрепленную деревню Балленвинкель. По периметру он имел не более 1,5–2 тыс. шагов. Было сооружено 11 редутов, отстоящих один от другого на ружейный выстрел. Остальные укрепления находились по берегу Персанты или защищали Балленвинкель. Таким образом, русским предстояла двойная осада: города и лагеря.

Кроме того, 5 июня корпус генерала Вернера занял Кёрлин, и теперь у пруссаков на берегах Персанты насчитывалось уже 26 батальонов и 45 эскадронов против 8 или 9 и соответственно 10, которые привел Румянцев.

Вместе с корпусом Тотлебена он мог бы иметь 11–12 тыс. чел., но командир легких войск отнюдь не спешил встать под его команду. Он держался на достаточном удалении, объясняя это такими помехами, как река и неприятельские отряды. Впрочем, Тотлебен отправил к Румянцеву бригаду Бекетова в составе Муромского, Киевского и Вятского полков.

Стычки становились все чаще и чаще. Уже 19 июня генерал Вернер выслал на разведку в сторону Кёслина отряд кавалерии, который столкнулся с донцами, и прямо на глазах самого Румянцева произошла лихая схватка. Казаки сокрушительным натиском отбросили неприятеля. В донесении царице Румянцев писал: «... поставляя сам сие за *неимоверное*, буде бы очевидным свидетелем не был и честью моею засвидетельствовать не мог»^[312]. Кроме того, он отдавал должное дисциплине, соблюдавшейся в армии Бутурлина на всем пути ее следования: «Жители, как в сем городе (Кёслине), так и во всех других и в деревнях, даже кои в последних моих форпостах, что и сам очевидно видел, — спокойно в своих домах живут, но истощены и в убожестве находятся ...»^[313]

Теперь Румянцев занимал уже весь правый берег Персанты, от Бельгарда до самого устья. Для начала осады ждали только прибытия флота, который должен был доставить 6,5 тыс. солдат десанта и осадный парк.

28 июня случилось происшествие, вызвавшее сильное волнение всей русской армии, — в Бернштейне был арестован генерал Тотлебен с сыном и оба отправлены в Петербург как государственные преступники. «Дело Тотлебена» явилось одним из самых странных эпизодов всей русско-прусской войны. Чтобы разобраться в нем, нужно вернуться немного в прошлое.

Тотлебен, по происхождению тюрингский немец, пользовался когда-то большими милостями при дворе Августа III. Попытав счастья самыми разными путями, он в 1757 г. поступил на русскую службу и в первых кампаниях выступал, судя по всему, лишь в роли отважного партизанского командира, любителя рискованных набегов. Не очень заботясь о дисциплине и весьма снисходительный к грабежам, Тотлебен давал волю своим казакам и гусарам, которые обожали его. Неусыпно бдительный и неутомимый, всегда заставлявший неприятеля врасплох, но никогда сам не попадавшийся, нетерпимый ко всякой над собою власти, он умел находить для себя высоких покровителей через голову непосредственных начальников, мало заботясь при этом о точности донесений своей разведки. Взятие Берлина принесло ему известность. Правда, его атаки были малоуспешны, но зато в высшей мере проявилось искусство интриги: он перемежал тайные переговоры с видимыми для всех наступательными действиями, одурачивал и австрийского генерала Ласи, и собственного своего командира графа Чернышева, одним словом, превратил осаду Берлина как бы в частное предприятие. Войдя в эту столицу чуть ли не как желанный гость, почти как друг, он старался представить себя благодетелем побежденных, смягчающим строгость имевшихся у него инструкций, вплоть до того, что, действительно, своими хитростями спасал даже королевские учреждения. Тотлебен стал ненавистен австрийцам и вызывал раздражение самих русских, которые не могли простить ему, что он лишил их славы победного штурма и немалой части добычи, равно как и его чрезмерную заботливость о резиденции того самого короля, который отнюдь не проявил ее по отношению к саксонской столице.

В Петербурге поражались неточностям и несуразностям донесения, которое Тотлебен послал прямо командующему, даже не подумав передать его через Чернышева. В Вене всех возмутили нападки на австрийских генералов. Такова была первая часть «дела Тотлебена».

Конференция прислала ему от имени императрицы обвинение по пяти пунктам: 1 — неправильный способ подачи рапорта, что является тяжелейшим дисциплинарным проступком; 2 — дерзость, с которой он присвоил себе и экспедиционному корпусу всю славу и честь сего предприятия, обвиняя при этом главную армию не только в неказании ему помощи, но даже и в чинимых помехах; 3 — его обвинения против вышестоящего начальника графа Чернышева; 4 — его жалобы на австрийскую армию, которые способствовали замалчиванию оказанных сей последней услуг и создавали в Европе впечатление о недоразумениях между союзниками и взаимной холодности императорских дворов; 5 — его «хитрое и прямой искренности весьма противное охуление» русской артиллерии.

Это обвинение было подписано всеми членами Конференции: князем Никитой Трубецким, канцлером Воронцовым, Александром Шуваловым, Иваном Неплюевым и князем Яковом Шаховским^[314]. Тотлебен отказался давать требовавшиеся от него объяснения касательно обвинений в его рапорте против австрийских генералов и даже против графа Чернышева. Он поднял страшный вопль, угрожая «раскрыть более полные подробности, разоблачить многих персон и уведомить Ее Императорское Величество о тех причинах, кои препятствовали успехам и славе ее оружия».

Мы уже указывали на ту странную похвалу, которую Тотлебен заслужил в лагере Фридриха II: «Командир казаков держал в узде Чернышева и Ласи». Подозревали, что его снисходительность к прусской столице не осталась без вознаграждения. Отношения Тотлебена с «купцом-патриотом» Готцковским, завязавшиеся еще до взятия Берлина, продолжались и впоследствии, а это уже могло показаться подозрительным.

Все его начальники имели к нему претензии. Он настолько злоупотреблял доверием к себе, которое сумел внушить в 1759 г. Салтыкову, что даже не подчинился приказам Фермора во время померанской кампании 1760 г., и Фермор был вынужден лишить его командования легкими войсками, хотя впоследствии Конференция и возвратила Тотлебена на прежнее место. Чернышев жаловался на него еще в силезскую кампанию 1761 г. и во время берлинской операции. Именно в войсках Тотлебена офицеры, обменявшись паролями, ходили на неприятельские квартиры и устраивали пирушки с пруссаками. Фельдмаршал Бутурлин при своем вступлении в должность сначала благосклонно принял тюрингского авантюриста, но вскоре оказался перед необходимостью дать ему самостоятельность, как в партизанской войне, которая, впрочем, не приносила существенных результатов, так и в интригах, уже вызывавших подозрения. Получив столь тяжкие обвинения Конференции по поводу его сношений с Берлином, Тотлебен явился в главную квартиру Бутурлина и подал рапорт об отставке, ссылаясь на плохое здоровье и желание провести остаток дней «в одиночестве и покое». Фельдмаршал просил Конференцию не соглашаться на отставку, но приводил в пользу этого чрезвычайно странные аргументы:

«... еще более опасаясь, чтоб он (Тотлебен), получа сей указ с гневом Вашего Императорского Величества, не меньше ж и побеленное ему испрошение прощения у генерал-поручика графа Чернышева, не токмо по своей горячности и безрассудности команду с себя при толь нужном времени не сложил, но еще при том, паче чаяния, какого вредного поступка с вверенным ему корпусом не учинил и тем, по посланным ему от меня секретным ордером с примечаниями, наипаче же о поиску над неприятелем и о расположении всего его корпуса — все подробности оные тогда в пользу неприятеля не обратил»^[315].

Было бы трудно сказать с большей ясностью о том, что Тотлебен способен на все, даже на умышленно предательскую и катастрофическую авантюру, вплоть до передачи Фридриху II наисекретнейших штабных документов. И тем не менее именно такого человека и по тем же самым причинам оставляют в столь важной командной должности. Более того, из-за него пожертвовали Чернышевым, который так и не смог добиться извинений и который «из ревности к службе Ее Императорского Величества» удовлетворился одним только выражением сожалений.

А Тотлебену уже не было надобности сдерживать себя. Он сразу купил в Померании, то есть в прусских владениях и, быть может, за прусские деньги, имение, заплатив за него 96 тыс. талеров. Продолжая войну против Фридриха II, он уже готовился стать его подданным; русский генерал превращался в прусского юнкера^[316].

Тотлебен был столь сомнительной личностью, что в армии подозревали даже о его соучастии в ограблении 22 июня 1760 г. почтовой кареты, ехавшей из Штольпе в Данциг, когда было взято 17 тыс. 169 талеров. Говорили, будто это дело рук его подчиненного, бригадира сербских гусар Стоянова, однако расследование не дало никаких результатов. Напротив, наказали самих обвинителей: военного почтальона Дмитрия Матвеева — батогами перед строем полка, остальных — шпицрутенами.

Во время зимней кампании 1761 г. проявилось довольно странное отношение Тотлебена к территории Бранденбурга и Померании — производя много шума и движения, он никогда не причинял там хоть сколько-нибудь серьезного урона. Именно ему принадлежала идея перемирий, переговоры о которых он сам и вел и которые г-н Масловский назвал преступными. Однако и Бутурлин, и Конференция имели слабость одобрить все его действия.

При проведении Кольбергской операции Тотлебен ничем не помог Румянцеву. Когда тот приблизился к крепости, он отступил на Грейфенберг и продолжал совершенно самостоятельные действия. Понадобились неоднократные приказы Бутурлина, чтобы он отдал Румянцеву пехотную бригаду. Для беспрепятственного интриганства Тотлебен запугал своих офицеров до такой степени, что, когда пришел приказ арестовать его, полковник Бюлау отказался сделать это.

Один из приближенных к Тотлебену офицеров, подполковник Аш, в январе 1761 г. заподозрил, что его командир всяческими способами, почти не утруждая себя предосторожностью, передает неприятелю сведения о размещении войск, их численности и планах военных действий. Подполковник постарался заслужить полную доверенность Тотлебена и получил возможность следить за его частыми разговорами с прусскими офицерами, сношениями с купцом Готцковским, письмами, пересылавшимися через Штольпе, и обменом зашифрованными бумагами. Обращало внимание и то, что не проводилось никаких действенных операций, несмотря на самые категорические и неоднократные приказы высшего командования. Однако Аш остерегался рисковать слишком поспешным разоблачением, зная по предыдущему опыту о связанных с этим опасностях. Только к 27 июня он завершил сбор материалов и на следующий день тайно созвал всех старших офицеров корпуса, сообщил им о собранных доказательствах и приказал арестовать силезского еврея Исаака Сабатку, у которого в сапоге были найдены подозрительные бумаги. Эти документы, хранящиеся в московском Главном архиве иностранных дел, были опубликованы г-ном Масловским^[317] и позволили ему с уверенностью утверждать о предательстве Тотлебена, которое до него лишь подозревал историк Соловьев.

В тот же день Тотлебен и его сын были арестованы и допрошены. Некоторые разоблачения сделал также еврей Сабатка — ему не раз приходилось носить запечатанные письма из лагеря Фридриха II в лагерь принца Генриха и обратно. У его брата в Бреслау даже

хранились деньги Тотлебена. Вместе с братом Сабатке доводилось доставлять письма Тотлебена в ненадписанных конвертах прусскому коменданту Глогау, который, получив их, отправлял обоих евреев в лагерь принца Генриха. От него они тоже брали письма и отвозили Тотлебену. Правда, сам Тотлебен говорил Сабатке, что в них принц просил только пощадить его имения в Померании. Пакет, найденный в сапоге, предназначался или коменданту Бреслау, или принцу Генриху, или самому королю. Сабатка утверждал, что Тотлебен никогда не просил его похлопотать о встрече с королем, но лишь выражал желание хоть когда-нибудь сподобиться этого.

Однако допросы Тотлебена и Сабатки, как и документы, опубликованные г-ном Масловским, доказывают только одно: Тотлебен состоял в подозрительной переписке с Фридрихом II, принцем Генрихом, прусским комендантом Глогау, купцом Готцковским и некоторыми другими лицами. Пока мы не увидели ни одного документа из этой переписки, и весьма жаль, что найденное в сапоге Сабатки так и не опубликовано.

Нам известно резкое и презрительное мнение Фридриха II:

«Как не бывает столь неприступного города, куда нельзя было бы ввести мула, груженного золотом, так же и во всякой армии всегда найдется подлая и продажная душа. При наступившем кризисе было весьма важно иметь сведения из надежного источника хотя бы о некоторых намерениях многочисленных наших неприятелей, и мы обратили внимание на г-на Тотлебена, как на такого человека, который способен принять подобное предложение и доставить нам верные известия. Мы не ошиблись в нашем суждении касательно его характера и получили от него все, что было нужно, но вследствие присущего ему легкомыслия и неосторожности, которые вовлекли его в это позорное дело, он раскрыл сам себя еще при самом начале кампании, когда таковые услуги могли бы быть наиболее полезны»^[318].

Однако само это свидетельство Фридриха II вызвало у историков некоторые сомнения. Лишь последние публикации в «Politische Korrespondenz» (Bd. 19, 20), то есть уже после появления книги г-на Масловского, проливают яркий и уничтожающий свет на дело Тотлебена. Стало ясно, что Фридрих II в своих мемуарах ничего не преувеличил и все вполне согласуется с его самыми интимными и секретнейшими письмами, в том числе к любимому брату Генриху. 26 июня 1760 г. принц писал королю из Ландсберга: «Жид Сабатка уведомил меня, что будто бы некий русский офицер желает стать шпионом, ежели вы дадите ему билет как подполковнику и назначите пенсioen при окончании войны». В ответ на это король прислал собственноручно подписанный бланк удостоверения^[319]. Возможно, здесь речь идет не о Тотлебене, но вот другое, абсолютно неопровержимое свидетельство. В феврале 1761 г. Фридрих отвечает из Лейпцига генерал-губернатору Штеттина герцогу Брауншвейг-Бевернскому: «Вполне одобряю дело Тотлебена, однако надобна осторожность, дабы сей молодец не провел нас. Если он хочет денег, это хорошо. Сообщите, сколько именно»^[320]. 8 апреля из Мейсена он пишет принцу Генриху: «Уведомляю вас, что сей жид исполнил свою комиссию, и я намерен дать Тотлебену денег, имея в виду: primo^[321], интересы нашей страны при его передвижениях, чтобы избежать столь же варварского обращения и жестокости опустошения, каковые были до сих пор; во-вторых, получение секретных сведений касательно истинных намерений русских, их планов начала кампании, первых операций и передвижений в иных местах. В соответствии с таковым моим решением ему никак не следует проситься в отставку, поелику в сем случае нам от него не будет никакой пользы, а у русских всегда найдется другой человек для командования войсками с не меньшим, чем у него, умением.

Ежели Тотлебен согласен на вышеозначенные условия, то я готов обещать ему, что после заключения мира он сможет безбоязненно пребывать в моих владениях, ничего не опасаясь. — Соболаговолите передать сие через упомянутого жида»^[322].

Сделка состоялась. В мае король сообщает своему брату: «Вчера явился жид Сабатка. *Через известное уже вам посредство* я узнал, что в предстоящей кампании русские, как и в прошлом году, постараются привести 35 тыс. чел. к Лаудону, отрядят один корпус для осады Кольберга, и, судя по всему, главная их армия направляется к границам Силезии ... Однако все сии операции начнутся лишь с появлением на полях травы ...»^[323] В июне король писал ему же: «Мне хотелось бы знать *через известную вам особу* о согласованном у русских с австрийцами плане сей кампании»^[324]. На полях донесения генерала Гольца Фридрих отмечает: «Подождать до получения письма от Тотлебена»^[325]. Тотлебен в равной степени уведомлял его и о делах дипломатических, например о переговорах с австрийцами^[326]. Навряд ли «по чистой случайности», как говорит Фридрих, к нему попал «план, посланный Лаудоном на утверждение в Вену»^[327]. Еще 4 июня он ждет в Кунцендорфе «писем от *той особы, каковую мне нет надобности называть*, дабы осведомиться о решениях обоих командующих (русского и австрийского. — А. Р.) и принять решение»^[328]. Таких упоминаний в корреспонденции Фридриха не менее двух десятков^[329], словно бы он уже вообще не принимает никаких решений, не дождавшись курьера от Тотлебена. Зато король вполне уверенно маневрировал и совершал марши. Некоторые из его генералов знали эту тайну, например Цитен^[330]. Но все кончилось, и 6 июля он пишет брату: «Тотлебен арестован, болтливость погубила его. Можете себе представить, насколько это неуместно именно сейчас»^[331].

В Петербурге Тотлебен и его сын были вновь допрошены. Расследование продолжалось до 1763 г. и завершилось смертным приговором, но Екатерина II сразу же заменила его изгнанием — не столь уж суровое наказание для человека, родившегося не в России и имевшего поместье в Померании. Более того, в 1769 г. императрица помиловала Тотлебена и снова приняла его на русскую службу. Покоритель Берлина скончался в 1773 г. в Варшаве в чине генерал-лейтенанта.

В июне 1761 г., сразу же после ареста Тотлебена, на место командующего легкими силами был назначен генерал Берг, которого г-н Масловский считает несравненно превосходящим своего предшественника. Он был более дисциплинирован и выказывал менее всяческих причуд, обладая истинной отвагой и большей энергией. Румянцев получил в его лице весьма ценного соратника.

12 июля адмирал Полянский, отплывший из русских балтийских портов, прибыл на данцигский рейд, но, чтобы дойти оттуда до порта Рюгенвальде, ему из-за сильных противных ветров понадобилось целых двенадцать дней, хотя в спокойную погоду для этого нужно не более шестнадцати часов. 21 августа он высадил в Рюгенвальде десантные войска и осадную артиллерию, которые должны были следовать к Кольбергу сухим путем. Сам же адмирал появился перед этой крепостью 24-го с двумя десятками кораблей, чтобы прикрывать осаждающих. Полученная Румянцевым артиллерия состояла из 150 пушек и большого количества снарядов. Кроме того, были доставлены две инженерные роты с двадцатью тремя инженерами. Командовал осадными работами генерал Демолин.

В тот же день адмирал Полянский отправил на разведку укреплений крепости со стороны моря три вооруженные шлюпки, которые были встречены пушечными выстрелами. На следующий день их сменил 54-пушечный корабль «Варахил», но огонь береговых батарей усилился, и против них вступили в действие бомбардирские галиоты, а потом и корабли

«Архангел Рафаил», «Астрахань» и «Архангел Михаил». К вечеру на помощь Полянскому подошел шведский адмирал Ипсиландер с шестью линейными кораблями и тремя фрегатами. Однако артиллерия эскадры могла обстреливать только сам Кольберг, но не прусский лагерь, защищенный городом. Поэтому брать его надо было сухопутными войсками, усиленными двумя тысячами моряков.

Действия начались с захвата Кольбергского леса, после чего неприятель был плотно заперт в своем лагере. 2 сентября оставленная в Руммельсбурге бригада Неведомского присоединилась к осаждающим. Кроме того, Румянцев рассчитывал на помощь и со стороны небольшой шведской армии, которую старался привлечь состоявший при ней французский военный агент Коленкур. Но шведы вели себя высокомерно, предлагали только советы, да еще 2–3 тыс. чел., находившихся к тому же на большом отдалении. Румянцев опасался, как бы при такой ничтожной помощи они еще и не присвоили бы себе всю честь победы. Поэтому он ограничился лишь тем, что просил их маневрировать на путях сообщения пруссаков. В общем, от них не оказалось никакой пользы.

4 сентября Румянцев перевел свои войска на осадные позиции и с 6-го до 12-го вел непрерывный обстрел лагеря и города. Было уже холодно, осаждающие, чтобы хоть немного согреться, рыли для себя в землянки.

12 сентября разведчики донесли о движении кавалерии по дороге Кольберг-Трептов. Это оказался арьергард генерала Вернера (2 тыс. всадников, 300 пехотинцев, 6 пушек), который вышел из лагеря и занял Трептов с ближайшими окрестностями. Вернер, несомненно, считал более выгодным действовать в тылу у осаждающих, чем терпеть бомбардировку лагеря, и так уже загромажденного войсками принца Вюртембергского. Румянцев незамедлительно приказал стоявшему на левом фланге генералу Бибикову атаковать неприятеля. Бибиков передал командование своей пехотой генералу Дурново и во главе драгун и казаков, поддержанных всего лишь двумя гренадерскими батальонами, обложил Трептов со всех сторон. Затем, воспользовавшись возникшей у неприятеля паникой, выстроил оба батальона в штурмовые колонны, захватил город и укрепился в нем, после чего с казаками и драгунами ринулся на соседние деревни, выбросил оттуда пруссаков и преследовал их до Грейфенберга. Он взял в плен самого генерала Вернера, 8 офицеров, 524 солдата и трофеи: 6 пушек, 20 провиантских фур и 200 лошадей. Кроме того, неприятель потерял 600 чел. убитыми и ранеными. У русских же выбыло из строя всего 5 офицеров и 100 рядовых. Всех пленных посадили на корабли эскадры. Адмирал Полянский настоял на том, чтобы Вернера не отпускали «на пароль», поскольку, по его словам, наши пленные офицеры «ни единый на пароль не был отпущен, а все в плену бедные содержались; да изволите к тому знать состояние графа Чернышева и генерала Салтыкова, как они были содержимы»^[332].

Бибиков укрепил Трептов и оставил там небольшой гарнизон для наблюдения за подходом к неприятелю подкреплений и подвозом припасов из штеттинского гарнизона в Кольберг. Однако позднее русские войска ушли из Трептова.

Отчаянная попытка Вернера вырваться из города хорошо показывает положение осажденных, которым уже не доставало провианта и которые оказались под перекрестным огнем союзного флота и батарей Румянцева. Однако положение русского командующего было тоже не из простых. Кольберг и лагерь принца Вюртембергского образовывали как бы одну большую крепость. По всем фронтам лагерь был защищен батареями для перекрестного огня, глубокими рвами, насыпями с палисадами, редутами, волчьими ямами и заряженными фугасами.

14 сентября на военном совете князь Долгорукий предложил произвести после непрерывного бомбардирования ночной штурм четырьмя колоннами. Его поддержали

генералы Неведомский, Брандт, Дурново и Ельчанинов. Девиц и Кошкин высказались против приступа в пользу плотной блокады, поскольку, по их мнению, крепость с таким сильным гарнизоном можно взять лишь измором.

Сам Румянцев склонялся к штурму. Он приготовил все для двойного приступа, который должен был начаться 18 сентября в половине пятого утра атакой Неведомского и Шульца на редуты Феракшанце и Грюненшанце. Неведомский взял Феракшанце, захватив 15 пушек и 200 пленных, но колонна Шульца сбилась с пути и опоздала. Приступ возобновился 19-го в половине третьего ночи. Раненого Неведомского заменил Дурново, которому предстояло штурмовать Штерншанце — звездообразный редут, прикрывавший морской берег; атаку на Грюненшанце вел полковник Попов. Дурново повторил ошибку Шульца; Попов сначала добился успеха и тоже взял 200 пленных, но, вовремя не поддержанный, под яростным натиском присланных принцем Вюртембергским подкреплений на рассвете очистил Грюненшанце, хотя Румянцев и послал к нему еще два полка. Попов понес серьезные потери — почти 3 тыс. чел. Румянцеву оставалось утешаться только тем, что, как написал он в своем донесении, «гренадеры и солдаты сражались как львы».

19-го пришли тревожные известия: подходил Платен с 10–12 тыс. пруссаков. Мы уже упоминали, что, как только русские и австрийцы сняли осаду лагеря в Бунцельвице, Фридрих II отправил Платена к Бреслау, где он должен был перейти Одер, напасть на познанские магазины и, пользуясь произведенным на дорогах беспорядком, идти на соединение с принцем Вюртембергским, чтобы выручить Кольберг. Только у Ландсберга русские отряды попытались преградить ему путь. Генерал Берг послал туда подполковника Суворова, который пришел к Ландсбергу раньше Платена, атаковал его авангард, но не смог полностью уничтожить мост. Подошедшие вскоре главные силы пруссаков стали теснить Суворова, который, получив подкрепления, атаковал прусские аванпосты, рассеял три эскадрона, потерявшие 100 чел. убитыми и 50 пленными, но в конце концов принужден был отойти.

Таким образом, как и Берлин в предыдущем году, Кольберг стал тем местом, куда, словно при скачках с препятствиями, устремились со всех сторон Германии русские и прусские войска.

В русском лагере под Кольбергом еще ничего не знали об истинной цели Платена — намерен ли он препятствовать осаде или же устремится к Нижней Висле на расположенные там магазины? 20 сентября на военном совете некоторые генералы высказывались за то, чтобы идти к Варте и Нице и разбить там пруссаков. Однако Румянцев решил остаться и штурмовать Кольберг еще раз, а кроме того, просить главнокомандующего остановить Платена и прислать новые подкрепления. Но Бутурлин, все еще занятый своими проектами касательно Бреслау, ограничился тем, что посоветовал Румянцеву «не смущаться». Тогда Румянцев решился донести самой императрице о своем «большом смущении ... [ибо он] ничего не знает о главной армии ... Я по обстоятельствам *из одних газет* токмо соображаю себе, что король, приметив иногда или намерение, или точное разлучение обеих императорских армий ...», бросил Платена сперва на сообщения главной армии, а потом и его, «заклучая, что я со своим корпусом между двумя огнями быть не могу и принужден буду удалиться»^[333].

23 сентября пришли известия о 3-м армейском корпусе князя Долгорукого; Румянцев умолял его присоединиться к генералу Бергу, заместившему Тотлебена, и атаковать арьергард Платена. На пруссаков были брошены семь драгунских эскадронов, но Платен прорвал этот кордон и снова прервал сообщение между русскими корпусами. Его целью был Кольберг.

29-го он достиг Кёрлина, рассеяв 20 казаков и пехотинцев, которые после «обороны по-

русски» были или убиты, или пленены. Румянцев посылает курьера к князю Долгорукому с просьбой атаковать пруссаков и сам выходит им навстречу, чтобы неприятель оказался между двух огней. Но Платену удается ускользнуть от встречи с Румянцевым, и он соединяется с принцем Вюртембергским.

Положение осаждающих становится очень опасным. Дивизия Долгорукого усилила их до 20 тыс. чел., однако у пруссаков теперь насчитывается около 17,5 тыс. На военном совете 3 октября даже храбрый Еропкин высказался за снятие осады и отступление к Бельгарду, чтобы занять там сильную позицию до подхода подкреплений. Румянцев заверял, что вот-вот подойдет главная армия, но генералы опасались задержек. Кроме того, из-за нехватки продовольствия 11 октября должна была уйти эскадра адмирала Полянского. Румянцев просил его остаться еще на неделю, по прошествии которой корабли отплыли в Ревель.

Только благодаря энергии и настойчивости Румянцева осада трижды, по крайней мере, была продлена. Он почитал для себя делом чести добиться здесь успеха. Если австрийцы взяли Швейдниц, неужели русские окажутся беспомощными перед Кольбергом?

Однако Бутурлин проявлял nepостижимую медлительность, приводя в отчаяние даже Конференцию, которая уведомила Румянцева, что если Платен соединится с принцем Вюртембергским, то ему дозволяется снять осаду.

Наконец, 12 октября Берг достиг Старгарда. В тот же день русская армия встала лагерем у Арнсвальде, и дивизия Фермора пошла к Кольбергу. Здешние лагеря оказались, в свою очередь, под угрозой. Было захвачено несколько конвоев, а их охрана рассеяна. 15 октября Берг занял Наугард и получил известие, что из Трептова к Вейссенштейну движется неприятельский отряд. Он окружил его и на следующий день после предваряющей канонады напал на бегущих в лес пруссаков. Суворов (будущий фельдмаршал и князь Итальянский) атаковал подходившее к ним подкрепление. Был пленен один офицер и 40 солдат, остальные разбежались по лесам. 19-го точно так же был атакован отряд подполковника де Курбьера, и перешедший в Трептов Платен мог видеть разгром своих войск. Курбьер и еще 40 офицеров вместе с тысячей солдат были взяты в плен. Все эти движения произошли оттого, что Платен хотел прикрыть подход большого конвоя с провиантом и боевыми припасами из Штеттина. Но теперь за ним гнался Фермор, и ему пришлось спешно уходить из Трептова, хотя принц Вюртембергский и отправил уже туда корпус генерала Кноблоха. Это была воистину несчастливая мысль! Румянцев сам окружил Кноблоха, который, не получая помощи ни от Платена, ни от принца, был вынужден капитулировать и сдал неприятелю 61 офицера, 1635 солдат, 15 знамен и 9 пушек.

Фермор, преследуя Платена, настиг его у сильной позиции при Гольново, но ему пришлось ограничиться одной только канонадой. Впрочем, отважному пруссаку надо было всего лишь дождаться конвоя, и он ушел ночью 22-го с последними фурами, упорно преследуемый Суворовым.

Русские блестяще восстановили свои линии сообщения и благодаря отступлению и разгрому неприятельского корпуса обезопасили осадные операции под Кольбергом.

5 ноября Бутурлин прибыл в Темпельбург, но, посчитав, что у Румянцева уже достаточно сил для взятия Кольберга, повернул на восток и 26-го торжественно возвратился в Мариенвердер, центр зимних квартир русской армии.

Однако войска были фактически разделены на три части: Румянцев и Берг под Кольбергом; корпус Волконского на Варте; корпус Чернышева в Силезии с австрийцами; и, наконец, основные силы на винтер-квартирах Нижней Вислы.

Благодаря последовательно подходившим подкреплениям Румянцев имел теперь 35 тыс. чел., в то время как у Платена оставалось всего 4 тыс. 200 чел., а лагерь под Кольбергом и

сама крепость уже не могли надеяться ни на какую помощь.

Впрочем, для Кольберга еще оставался шанс на спасение — 2 ноября Фридрих II приказал генерал-майору Шенкендорфу перейти из Силезии в Бранденбург. Этот генерал имел чуть менее 5 тыс. чел. 9 ноября он соединился в Бернштейне с Платеном, но, подойдя 14-го к Наугарду, был остановлен Бергом и не пошел далее.

Осада продолжалась. 14 ноября под прикрытием тумана пруссаки очистили ретраншементы. Оставив гарнизон на произвол судьбы, принц Вюртембергский ушел из крепости. Утром 15-го без малейшего шума, не замеченный казачьими разъездами, он достиг Трептова, где тогда не было русских войск. 16-го он продолжал движение и соединился с Платеном.

Только на рассвете 15 ноября русские обнаружили пустой лагерь. Радуюсь, что выкурили принца из его гнезда, благодаря чему им оставалось только иметь дело с гарнизоном крепости, они еще больше сжали кольцо осады. В ночь на 16-е штурмом был взят Вольфсберг. На следующий день русские вышли к устью Персанты. Теперь уже ничто не препятствовало правильной осаде, которой руководил полковник Гербе ль и весь ход которой, равно как и неизбежная развязка, не вызывали никаких сомнений. 3 декабря в крепостной стене была пробита брешь; 14-го взорван пороховой погреб; 15-го в гарнизоне раздали последние порции хлеба, а 16-го комендант Гейде, энергичный и отважный офицер, уже трижды выдерживавший русскую осаду, сдался на капитуляцию. Был пленен весь гарнизон: 88 офицеров и 2815 солдат с двадцатью знаменами (в арсенале нашлось еще двадцать восемь). Победителям достались 143 осадные пушки, много оружия, артиллерийских снарядов и амуниции. Румянцев отдал осажденным воинские почести — прежде, чем сложить оружие у Мюленских ворот, гарнизон продефилировал под барабанную дробь. Офицеры были отпущены на слово в Восточную Пруссию; солдаты, больные и раненые остались в плену.

Последний бой произошел 20 декабря у Клемпена между кавалеристами Берга и принца Вюртембергского, после чего по приказанию короля принц пошел в Мекленбург на зимние квартиры.

Прусская Померания была уже завоевана до самых ворот Штеттина, а крепость Кольберг обеспечивала для русской армии решающее превосходство в предстоящей кампании.

7 января 1762 г. Бутурлин передал командование всеми войсками Фермору и уехал в Петербург. Он еще не знал, что никогда больше не увидит императрицы Елизаветы и что выстрелы под Кольбергом были последними в этой войне русских с пруссаками.

Глава шестнадцатая. Окончание семилетней войны



Пятого января 1762 г. скончалась императрица Елизавета. С тех пор, как еще при Петре Великом ее хотели сделать французской королевой, у нее всегда была слабость к Людовику XV, и только благодаря ее личному желанию оказалось возможным возобновить отношения между обоими дворами^[177]. Сначала она приняла секретных дипломатических агентов, а затем, притом с большой помпой, и наших официальных представителей. Императрица охотно согласилась на предложенный Людовиком XV обмен тайными письмами. Ее заветным желанием был более тесный и прямой альянс с Францией, который освободил бы ее от тяжкого австрийского преобладания. При каждом нашем успехе она выказывала живейшую радость. Даже соглашаясь ради достижения столь желанного мира не ставить вопрос о Восточной Пруссии, Елизавета в то же время настаивала на том, чтобы версальский двор не вступал в переговоры с Англией до тех пор, пока Франция не возвратит себе потерянные колонии.

В ее царствование среди русского общества стала распространяться французская культура — мода на язык, литературу и искусство Франции. После долгого обучения у немцев Россия перешла во французскую школу. Петербургская Академия Наук наполнилась французскими учеными, ее членом-корреспондентом был Вольтер, написавший «Историю России при Петре Великом», основываясь на материалах, доставленных ему Иваном Шуваловым; много французских художников было и в Академии Изыщных Искусств. В Петербурге имелся французский театр под руководством Сериньи, а в русском театре у Сумарокова играли (в переводах) пьесы Корнеля, Расина и Мольера^[1334]. Именно тогда самые известные русские люди завершали свое образование в Париже, например, уже после поэта Тредиаковского, будущий президент Академии Наук Кирилл Разумовский. Посол во Франции князь Кантемир был корреспондентом и другом Монтескьё и других самых известных наших писателей. Мы видим одного из Воронцовых в мундире легкой кавалерии на часах в галерее Версаля. Для русской аристократии вторым родным языком становится французский. Царствование Елизаветы явилось как бы предисловием к правлению Екатерины II, которое было самым французским за всю историю России. Как видим, союз с Францией возник на фундаменте зарождающихся симпатий к нашей стране.

Но совсем иному человеку предстояло занять трон Елизаветы. Без образования и культуры, он был не только слаб телом и умом, дурно воспитан и капризен, каким описала его в своих мемуарах Екатерина II, но в глазах русских имел значительно худшее качество — представлял из себя самого чистопородного немца. Он гордился только своим титулом герцога Голштинского и презирал российскую корону. Абсолютно не понимая русских, открыто издеваясь над ними, он с особенным удовольствием высмеивал их религию и их обычаи, а во время войны с Фридрихом огорчался победами русской армии и радовался ее поражениям. Его приверженность к Пруссии граничила с предательством, и он был исключен из членов Конференции по подозрению в передаче врагу государственных секретов, что, по-видимому, подтверждается некоторыми признаниями самого Фридриха II.

По своей фанатичной приверженности к королю-полководцу он ввел в голштинской гвардии прусские мундиры и прусскую муштру, что грозило распространиться на всю русскую армию. Искренне считая себя учеником этого великого человека, он не мог только перенять его гений и отвагу^[178].

Союзные дворы прекрасно знали о подобных наклонностях наследника. Донесения маркиза де Лопиталья изобилуют описаниями его характера. В депеше от 22 мая 1759 г., года Кунерсдорфа, французский посланник пишет, что будущий император Петр III сказал молодому графу Шверину: «для него было бы честью и славой проделать хотя бы одну кампанию под командою короля прусского, и, будь на то его воля, он не сидел бы здесь как пленник». Лопиталь не показывал вида, что придает этому особое значение, относя все на счет «дурной головы». Однако союзные дворы обеспокоились таким положением дел, встревожилась и сама царица. Никто уже не сомневался в том, что она намерена отстранить племянника от наследства и назначить своим преемником великого князя Павла, будущего императора Павла I.

Когда в Версале узнали о кончине царицы Елизаветы и вступлении на престол Петра II, барону де Бретейлю 31 января 1762 г. были посланы весьма любопытные инструкции. Рассматривались лишь три возможных варианта развития событий: «согласно первому — новый император будет следовать прежней системе; по второму — примет прямо противоположную; по третьему — предполагается, что он займет какую-то промежуточную позицию». Барону де Бретейлю надлежало не пренебрегать ничем ради того, чтобы «Россия не выходила из великого альянса, не отзывала свои армии и не заключала сепаратный мир. А что касается большей или меньшей действенности ее участия, то это дело второстепенное и не столь уж важное»^[335].

Из трех предполагавшихся в Версале вариантов осуществился самый неблагоприятный. Петр III сразу же стал действовать не как российский император, но как герцог Голштинский, немец, обожающий величайшего из мужей Германии.

Однако сам Фридрих II, передавая через британского посланника сэра Роберта Кейта поздравления новому царю, даже не мог надеяться, что у Петра III полностью сохранятся все его прежние склонности: «Ибо что позволяло надеяться на благоприятный оборот дел в Петербурге? Венский и версальский дворы гарантировали покойной императрице владение Пруссией^[336]; русские вполне утвердились в ней, и разве только что вступивший на престол государь откажется по собственной воле от завоеванного и уже признанного его союзниками? Разве не удержат его те выгоды и та слава, коими от подобного приобретения освящается начало царствования? Почему, ради чего, по какой причине он может отказаться?»^[337]

В ночь, последовавшую за кончиной Елизаветы, из Зимнего дворца сразу же поскакали курьеры по всем главным квартирам русских войск с повелением не делать никаких новых шагов по прусской территории и прекратить любые военные действия. Затем в лагерь Фридриха II под Бреслау прибыл камергер Гудович, фаворит и почти придворный шут Петра III. Фридрих приветствовал его, как «голубя Ковчега^[79], принесшего оливковую ветвь». Он сразу же приказал своим войскам не трогать земли принцев Ангальтских, родственников новой царицы, освободил русских пленных и послал в Петербург своего адъютанта полковника Гольца, с которым еще прежде Петр III был в тесных и доверительных отношениях. Вслед ему туда же отправился и граф Шверин, побывавший в русском плену после Цорндорфского сражения и сумевший завоевать тогда расположение великого князя. Теперь новый император выражал желание видеть его. Со своей стороны, Петр III отпустил прусских пленных, оставив при себе только генералов Вернера и Гарте.

К российскому двору стали толпой возвращаться все те немцы, которых ссылали и отставляли в предыдущее царствование. Казалось, наступили старые добрые времена Анны Ивановны и Анны Леопольдовны. Везде были одни только Менгдены, Лилиенфельды или

такие сущие призраки, как древний, уже восьмидесятилетний, фельдмаршал Миних, бывший лейб-хирург Лесток, семидесяти восьми лет, и старый герцог Бирон, восьмидесяти лет, в сопровождении всех своих родственников. Все эти немцы пользовались царскими милостями наравне о принцем Георгом Голштинским и фельдмаршалом Гольштейн-Бекским. Зато посланники Франции, Швеции, Австрии и Польши-Саксонии^[80] оказались словно в опале, в то время как английский представитель сэр Роберт Кейт, прусские эмиссары, особенно молодой двадцативосьмилетний адъютант короля Гольц, получали приглашения на все парады и, самое главное, на все попойки. Там, среди кружек пива и водки, в табачном дыму возрождался Tabacks-Collegium^[338] короля-капрала Фридриха Вильгельма.

Инструкции, данные Фридрихом II Гольцу, сводились к следующему: соглашаться на желание царя удерживать Восточную Пруссию до заключения мира; если же он захочет вообще сохранить ее, требовать какое-либо возмещение; гарантировать его герцогство Голштинское только в обмен на гарантии Силезии; если царь в качестве герцога Голштинии намеревается воевать с датским королем^[81], оговорить нейтралитет Пруссии, но в крайнем случае предлагать не более чем посредничество.

Никогда еще перед уполномоченным для переговоров не стояло более легкой задачи. Петр III отдавал все, даже то, с потерей чего уже смирились сами пруссаки, не требуя ничего взамен. Еще более выгодным, чем мир, был предлагавшийся царем союз. Речь уже шла не о выводе русских войск с прусских земель, но об отдаче их под командование самого короля.

Фридрих восхвалял подобное великодушие, хотя и не без некоторой иронии:

«У Петра III оказалось благородное сердце и самые возвышенные чувства, каковые обыкновенно никак не свойственны государям. Он не только согласился на все пожелания короля, но пошел еще и далее того, на что только и можно было надеяться ... Он ускорил мирные переговоры и желал в качестве возмещения лишь дружбу и союз короля. Столь благородный, великодушный и весьма необычный образ действий надобно не только сохранить для памяти потомства, но и начертать золотыми буквами в кабинетах всех королей».

Для начала Гольц получил у императора весьма необычную аудиенцию: Петр III показал ему портрет Фридриха II в носимом им перстне и вспомнил, как он пострадал за короля, когда его, великого князя и наследника, выгнали из Конференции. Но теперь одного королевского слова достаточно, чтобы он пришел ему на помощь со всей своей армией. Гольц стал уже не просто фаворитом царя, а чуть ли не его первым министром; под его влиянием Петр III налагал опалу или возвращал свои милости. Император окружил себя портретами Фридриха II и из уважения к прусскому королю запретил чеканить на русских монетах свой профиль, увенчанный лаврами, почитая себя недостойным сравниться в этом с Фридрихом. По поводу мирного договора он заявил, что пусть король сам составит его, и, как только такой проект был прислан, его приняли без каких-либо изменений. Когда участвовавший в переговорах Воронцов попытался хоть как-то воспрепятствовать этому, Гольц обратился прямо к императору и на следующий день принес проект трактата с запиской такого содержания: «Имею честь препроводить к его сиятельству г. канцлеру Воронцову проект мирного трактата, который я имел счастье вчера поутру читать Его Императорскому Величеству и который удостоился его одобрения во всех частях»^[339]. Речь идет о договоре 5 мая (24 апреля) 1762 г.: царь отказывался от всех завоеваний, добытых реками русской крови в четырех больших сражениях. Более того, 19 июня был подписан союзный договор: оба

государя обязывались выставить для взаимной помощи до 12 тыс. пехоты и 8 тыс. кавалерии; король Пруссии гарантировал царю Гольштейн и признавал претензии этого герцогства к Дании; в отношении Курляндии обе стороны решили действовать также в полном согласии друг с другом.

Французский поверенный в делах Беранже рассказывает об одном происшествии, случившемся на приеме в честь заключения мира: «Уже пьяным голосом царь обратился к Гольцу: „Выпьем за здоровье короля, нашего повелителя. Он оказал мне честь, доверив свой полк; надеюсь, меня не отправят в отставку. Можете заверить его — стоит ему только приказать, и я буду воевать вместе со всей моей империей хоть против самого ада“»^[340].

Таким образом, Петр III покупал мир с Пруссией не только за счет Восточной Пруссии, но еще и подчинял свою политику в отношении Курляндии, которую Елизавета уже считала русской провинцией. Более того, он даже не оставлял своему народу надежды на блага мира, а, наоборот, взваливал на него груз двух тяжелых войн, абсолютно чуждых и даже вредных для Российской империи: одну — против Дании, другую — против Австрии, и все это только для того, чтобы обеспечить за Фридрихом II Силезию.

На войну с Данией предназначался корпус покорителя Кольберга Румянцева, а корпус Чернышева, бывший до того времени вспомогательным при австрийской армии, должен был теперь выступать против нее.

21 марта, сразу по получении первых приказаний, Чернышев отделился от Лаудона и, перейдя Одер у Аураса, ушел в Польшу. Однако в мае ему было предписано возвратиться на западный берег и присоединиться к прусской армии.

Посмотрим теперь, что происходило в русских войсках, находившихся в Восточной Пруссии и Померании. 15 декабря 1761 г. Петр III заменил на посту генерал-губернатора Восточной Пруссии Василия Суворова генералом Петром Паниным. Румянцев в своем лагере под Кольбергом получил приказание немедленно явиться в Петербург.

Русская армия с тяжелым сердцем восприняла перемену правления. Даже у самых простых солдат было безотчетное чувство, что новому императору совсем не нравятся их победы над пруссаками и что столь обильно пролитая кровь не принесет теперь России никакой пользы. Они знали об искоренении в Петербурге всех национальных традиций и о введении в войсках прусских уставов, прусского строя и прусской формы.

Отозвание Румянцева, который передал команду князю Волконскому, казалось еще одним признаком недовольства нового государя. Возможно, Петр III сразу же заподозрил несогласие молодого и горячего генерала. Однако, чтобы рассеять этот предрассудок императора, было достаточно одного разговора. Румянцев показал себя не только способнейшим из высших командиров, но еще и человеком, страстно любившим войну и не очень заботившимся о соображениях внутренней и даже внешней политики.

Через месяц он возвратился в Кольберг уже как командующий армией для действий против Дании и стал готовиться к этой войне с такой же энергией, как прежде против Пруссии. Его корпус предполагалось усилить до 50 тыс. чел. и придать ему еще 6 тыс. пруссаков. 1 июня Румянцев получил приказание двинуть десятитысячный авангард в Мекленбург, занять города Росток, Гюстров и Варен, устроить там магазины и установить связь с Балтийским флотом, которым командовал тогда адмирал Спиридов.

Дания, оказавшись перед лицом столь прямой угрозы и не давая запугать себя явным неравенством сил, готовилась к энергичному сопротивлению. Король Фридрих V доверил портфель министра обороны и пост главнокомандующего одному из самых знаменитых французских генералов, будущему министру-реформатору при Людовике XVI, графу де Сен-Жермену. Этот генерал, ставший в 1761 г. датским фельдмаршалом^[341], довел армию своего

нового государя почти до 70 тыс. чел., хотя незамедлительно можно было собрать под знамена только 30 тыс., да и у тех многие не имели достаточной выучки, экипировки и оружия. Однако Сен-Жермен не стал медлить и выступил навстречу русским в Мекленбург.

Румянцев, вполне согласный с политическими намерениями нового императора, обеспокоился теми стратегическими планами, которые навязывали ему в Петербурге. Принужденный растянуть свою армию по всей Померании и всему Мекленбургу, от Кольберга до Ростока, а вскоре и до самого Любека, он опасался быть застигнутым врасплох и разбитым по частям.

В какой-то момент положение дел принимало, казалось, дурной оборот. Сен-Жермену удалось после несильной бомбардировки вытеснить русский авангард из Любека. Затем он расположил свои войска между Висмаром и озером Шверин, намереваясь напасть на варенские магазины, в то время как датский флот крейсировал вдоль берегов Померании, препятствуя действиям адмирала Спиридова и снабжению российской армии. Но самое худшее заключалось в том, что Петр III собирался прибыть в главную квартиру и лично руководить военными действиями. В этом случае для русских резко возрастали шансы быть побитыми.

Тем временем Чернышев направился из Торна, чтобы соединиться в Силезии с Фридрихом II и привести ему подкрепление в 20 тыс. чел. Таким образом, Лаудон лишался 20 тыс. русских, которые усиливали Фридриха. Кроме того, Мария Терезия ради экономии посчитала необходимым уволить из армии 20 тыс. австрийских солдат. Разница с предыдущим годом получалась в общем итоге 60 тыс. чел. «Если бы король выиграл подряд три регулярные баталии, даже это не принесло бы ему толикого преимущества»^[342]. Теперь Фридрих II с самыми радужными надеждами начинал новую силезскую кампанию. В ожидании Чернышева он приказал своей кавалерии неотступно тревожить австрийскую конницу, которая претерпевала хотя и не очень существенные, но неоднократные неудачи.

Впереди Чернышева шел авангард из 2 тыс. казаков. Фридрих II распределил их между корпусами Лоссова и Рейценштейна. 30 июня вся русская армия перешла Одер и направилась к Лиссе. Король сразу же воспользовался прибывшими подкреплениями и направил казаков в Богемию. Он так пишет об этом:

«Они распространились по всему королевству, вызывая своим появлением всеобщий ужас. На второй день их вторжения один из отрядов оказался уже у ворот Праги. Внушаемый ими страх был столь велик, что г-н Сербеллони намеревался лично со своим корпусом дать им отпор. Действия их и вправду отличались жестокостью: на пути своем они все грабили, разоряли и жгли.

Вторжение сие оказалось бы далеко не бесполезным, буде продлилось бы и далее»^[343].

Фридрих II добавляет, что эти беспорядочные банды, нагрузившись добычей, удалялись в Польшу, чтобы продать или спрятать в надежном месте награбленное. В результате уже через восемь дней вся Богемия обезлюдела, а сам король оказался в той странной роли «оберповодыря медведей в Священной Римской Империи», за которую он так бранил Лаудона.

Но радоваться ему оставалось недолго. Фридрих намеревался атаковать правый фланг Дауна и прежде всего выбить австрийцев из Буркерсдорфа и Лейтмансдорфа. Роли были уже распределены, в том числе и позиции для корпуса Чернышева. И вдруг Чернышев является к королю и со слезами на глазах объявляет ему, что Петр III низложен, а на престоле теперь его супруга под именем Екатерины II. Сам же он получил от Сената повеление привести войска к

присяге новой императрице, незамедлительно отделиться от прусской армия и отступить в Польшу.

«Потеря Петра III явилась для короля весьма чувствительным ударом, поелику он почитал его превосходный характер и питал к нему в сердце своем любовь и благодарность». Фридрих не противился уходу Чернышева, «но просил лишь об одной любезности — отсрочить его на три дня. Сии трое суток были воистину драгоценны для приготовления к решающему удару. Одно присутствие русских сдерживало австрийцев, кои еще не ведали о случившейся революции»^[344]. Фридрих II, воспользовавшись этими тремя днями, завладел нужными ему позициями. Он бросил корпус Вида на Лейтмансдорф, а Кноблоха и Мёллендорфа — на Буркерсдорф. Все это время русская армия как бы прикрывала его фланг и находилась в резерве. В порыве восторга король расцеловал Чернышева и наградил его почетной шпагой, оценивавшейся в 27 тыс. талеров. По прошествии трех дней (19–22 июля) русские ушли в Польшу, но австрийцы все еще ничего не знали об этом.

Фридрих II предвидел случившийся 9 июля 1762 г. в Петербурге переворот, который стоил Петру III сначала трона, а потом и самой жизни. Чрезмерное пруссофильство царя, его бестактные заверения о готовности быть верным слугою короля прусского, его презрение к национальной религии и национальным обычаям, лихорадочная поспешность затеваемых реформ, враждебность армии и особенно гвардии к новым уставам, разочарование аристократии унизительным миром, который сразу же повлек за собой две тяжелые войны, пожертвование интересами России ради личных выгод герцога Голштинского и более всего положение императрицы, неоднократно подвергавшейся публичному унижению, оскорбленной страстью царя к Елизавете Воронцовой, и угроза заточения ее в монастырь — все это не ускользало от проницательного взгляда прусского короля.

Не раз пытался он отговорить Петра III от непопулярной войны с Данией, не раз предупреждал через Гольца и Шверина об угрожающей ему опасности, умоляя не пренебрегать необходимыми предосторожностями. Петр III не желал ничего слышать. Он довел до крайности и армию, и духовенство, и царицу. Екатерина оказалась перед выбором: или потерять все свои законные права, или силой завоевать для себя трон. Король был поражен ловкостью и энергией императрицы, а ученик его оказался позорно неспособным защитить самого себя. По выражению Фридриха II, он послушно подписал отречение, «как ребенок, которого отправляют спать». Теперь на троне была Екатерина, а Петр III бесславно окончил свои дни в Ропшинском дворце.

Установившаяся после переворота власть вначале как будто хотела противостоять всем действиям и замыслам покойного императора — и во внешней политике, и в делах внутренних. Манифест о восшествии на престол провозглашал короля Пруссии «коварным врагом». Меры, принятые в Восточной Пруссии, а также передвижение русских войск в Померании, на Висле и в Польше — все вызывало опасения, что снова может возобновиться не менее ожесточенная, чем при Елизавете, война против Фридриха II.

Если король и боялся этого, то и сам он внушал страх в Петербурге. Сначала там даже казалось, что он выступит в защиту своего несчастного друга и сделает какую-нибудь попытку освободить его или отомстить. Более всего опасались пленения корпуса Чернышева. Но когда ничего подобного не произошло — Чернышев уже ушел за Одер и спокойно двигался к Познани, — все страхи понемногу улеглись.

Известие о беспрепятственном принятии присяги всеми русскими войсками и даже корволантом^[345] Брандта, уже вошедшим в Мекленбург, успокоило опасения совсем иного рода, и к тому же достаточно сильные: по всей видимости, царица вообразила, будто Румянцев беззаветно предан Петру III. Поэтому она поспешила вызвать его в Петербург,

приказав передать командование генералу Панину. Молодому полководцу пришлось вторично оправдываться, уже перед новой властью. В донесении Екатерине II о принятии присяги его корпусом он пишет:

«Позвольте мне, всеподданнейшему и последнему Вашего Императорского Величества рабу, испросить милости и благоволения продолжением и нелицемерно уверить, что я мое благополучие и спасение со всеми моими соотчами заключал в особе Всевысочайшего Вашего Императорского Величества, — единственную отраду и спокойствие нашего крайнего и ежевременного смущения на бывшие времена составляющие»^[346].

Он сразу же уехал в Петербург, без труда доказал там свою лояльность и снова возвратился к войскам. Однако в его отсутствие были приняты все решения касательно возвращения армии. Еще не утвердившаяся власть сочла для себя равно опасным как и продолжать войну против Фридриха II, даже ради приобретения Восточной Пруссии, так и выступать в союзе с ним против Австрии или Дании. Предпочли ликвидировать все эти дела и обеспечить для России мир, которого она желала куда более, чем сохранения всех завоеваний.

Не было никаких сомнений в том, что Семилетняя война приближается к своему концу. Вслед за Россией «великий альянс» покинула Швеция, подписав 22 мая 1762 г. в Гамбурге мирный договор, по которому возвращала Пруссии все территории, занятые ею в Померании. Фердинанд Брауншвейгский почти полностью изгнал французов из Гессена. Вмешательство Испании добавило лишь потерю ею колоний и флота к потере колоний и флота Франции. Даже Австрия, обеспокоенная оттоманской угрозой с юга вследствие интриг Фридриха II, смирилась с неизбежностью траура по Силезии. Но если бы Россия со всеми своими силами и осталась на арене борьбы, ей навряд ли удалось возродить дух прежних своих союзников. Возможно, что Екатерина II, думая уже о Курляндии, Польше, Турции и Швеции, надеялась обрести в дружественных, а может быть, и в союзных отношениях с Фридрихом II более выгодные возмещения за отказ от Восточной Пруссии.

Однако все еще сохранялось недоверие к вчерашнему союзнику и позавчерашнему врагу. На заседании военного совета, созванного Паниным 22 июля, было решено оставаться в лагере под Кольбергом до тех пор, пока Брандт не выведет свой корпус из Мекленбурга, а Чернышев не дойдет до Польши. Тем временем тяжелый обоз, осадную артиллерию, больных и раненых отправили морем в Россию. Затем началось отступление к Висле, и вскоре все войска встали на зимние квартиры в исконных провинциях империи. Восточная Пруссия была полностью очищена, русско-пруссский договор от 5 мая 1762 г. выполнен по всем пунктам.

Только нератифицированный договор 19 июня о союзе оказался мертворожденным, и про него просто-напросто забыли.

Европа устала от войны. Смерть Елизаветы и выходки Петра III бесповоротно раскололи «великий альянс». 3 ноября 1762 г. в Фонтенбло были подписаны предварительные условия мира между Францией, Австрией и Англией, послужившие основой Парижского трактата 10 февраля 1763 г., а 15 февраля обе великие германские державы заключили Губертусбургский мир.

Никто, кроме Англии, ничего не выиграл от этих семи лет войны^[82]. Франции пришлось забыть о своих видах на Бельгию, Австрии — отказаться от возвращения Силезии, а России — от приобретения Восточной Пруссии. Они могли только утешаться ослаблением

материальных сил Фридриха II, хотя не удалось ни на один дюйм уменьшить его владения. Но насколько при этом возрос престиж прусского короля! В этом отношении исход войны никак нельзя было назвать поражением Пруссии. Отныне благодаря гению своего государя она вошла в концерт великих европейских держав.

Но все ли было потеряно для России, отказавшейся от Восточной Пруссии, сего единственного плода всех ее побед, который мог бы обеспечить ей весьма выгодное положение на Балтийском побережье? Отнюдь нет, поскольку сыгранная ею во время Семилетней войны роль существенно увеличила ее вес на континенте. Теперь она вошла вместе с Пруссией в большую историю Европы. Будучи сначала лишь пособницей Австрии, она одна из всей коалиции завоевала себе воинскую славу. Россия показала, несмотря на слабость и кульбиты своей политики, сколь значительно ее влияние на европейские дела. Одно только присоединение русских к франко-австрийскому союзу смогло свести на нет весь гений Фридриха II, а стоило ей выйти из коалиции, как та сразу же распалась.

С чисто военной точки зрения следует отметить, что в течение всей Семилетней войны русская армия всегда слишком поздно появлялась на главном театре действий — в июле или августе она наносила какой-нибудь сильный удар, а с октября или ноября возобновлялись нескончаемые марши к Нижней Висле. Русские ни разу не останавливались на зимних квартирах в Германии. Прежде всего это связано с неуверенностью высшего командования, но чаще с трудностями снабжения большой армии в столь бедных и уже неоднократно разграбленных землях. Ее неспешные, запоздалые и непродолжительные действия проносились как ураган, сбивая все фигуры на шахматной доске войны, путая тактику союзников и врагов, оставляя за собой руины и горы трупов, после чего она исчезала где-то на северо-востоке. И только тогда возобновлялась методическая война по всем правилам науки между Фридрихом II и Дауном, принцем Генрихом и Лаудоном. Шахматные фигуры, поваленные налетевшей московитской бурей, снова занимали свои места, и партия продолжалась. Впрочем, Дауну приходилось иногда и сожалеть о преждевременном отступлении своих грозных союзников, ведь после их ухода на Вислу в 1757 г. Фридрих II нанес ему 3 ноября кровопролитное поражение при Торгау.

Несомненно, тактика русской армии уступала *фридриховской* тактике, она могла вести только позиционную войну, отдавая неприятелю инициативу в действиях, хотя выбор позиций и сыграл решающую роль в победах при Гросс-Егерсдорфе, Пальциге и Кунерсдорфе. Эта достаточно опасная традиция сохранялась и в последующих войнах: Аустерлиц, Фридланд, Бородино (Москва) — все это со стороны русских были позиционные битвы, а победитель явился как гениальный наследник *фридриховской* тактики.

И тем не менее Семилетняя война открыла для Европы русскую армию. До того времени, при Петре Великом и Анне Ивановне, она появлялась лишь при локальных конфликтах — в Прибалтике или на турецких границах. Отчасти русские заявили о себе в царствования Анны и Елизаветы военными походами, совпавшими с двумя наследственными войнами ^[83], но они отнюдь не ускорили их окончание. Русская армия сражалась только против шведов, поляков, татар, турок и персов. Теперь же она впервые вышла на большую арену как соратница австрийской и французской армий и удачливая соперница армии прусской. Дважды она выстояла против такого полководца, как Фридрих II. Вспоминая эти столь поучительные страницы ее истории и столь славные битвы, имена которых начертаны на боевых знаменах, остается лишь удивляться тому, как все это могло быть забыто и заслонено войнами долгого царствования Екатерины II, которой пришлось иметь дело с противниками, стоявшими намного ниже нее. В сущности, она воевала опять с теми же шведами, поляками и турками. Зато кампании русской армии в Семилетнюю войну можно воистину считать для нее великой

военной школой XVIII века. От Северной войны при Петре I до походов Суворова в Италию и Гельветическую Республику^[84] и грозных Наполеоновских войн вершиной является, несомненно, Семилетняя война. За все царствование Екатерины II не было ни одной битвы, подобной Грос-Егерсдорфу, Цорндорфу, Пальцигу или Кунерсдорфу, поскольку победа ценится не только по доблести неприятеля, но также и по его военному искусству. Чтобы найти нечто сравнимое, нужно углубиться в прошлое до самой Полтавы или же заглянуть в будущее, к Кассано, Треббии, Нови, Аустерлицу, Эйлау, Фридланду, Бородино, Лейпцигу. Между Карлом XII и Францией эпохи Директории и Империи русские встретили всего лишь одного серьезного противника — Фридриха II.

Но именно его они и заставили уступить, ему противостоял Фермор, и его разгромил Салтыков.

В этой войне русская армия проявила себя во всех видах военного искусства, как его понимали в XVIII веке. Она не только участвовала в больших сражениях, но и совершала под командованием Салтыкова марши в соответствии со всеми правилами науки, преследовала неприятеля и форсировала реки в его присутствии, находила такие позиции, где могла бы без боя задержать противника. Румянцев под Кольбергом показал, как следует брать крепость по всем канонам: принудил осажденных очистить вспомогательный лагерь, рассеял и пленил подходившие к ним подкрепления, сочетал сухопутные операции с действиями флота и, наконец, пробив в стене брешь, заставил пруссаков капитулировать.

С первого же года войны русская армия постоянно совершенствовалась во всех отраслях военного дела. Ее пехота всегда превосходила прусскую и цепкостью в обороне, и наступательным порывом, и стойкостью под жесточайшим артиллерийским огнем. Не прибегая к помощи рогаток, она выдерживала самые яростные атаки конницы. Регулярная русская кавалерия, столь слабая в начале первой кампании как по выучке, так и по конскому составу, в конце концов научилась на равных сражаться с прусскими эскадронами. Нерегулярная кавалерия избавилась от некоторых своих первородных грехов, таких, например, как излишество заводных лошадей^[347]. Под командованием Штофе льна, Тотлебена и Берга она проявила в набегах свои несравненные качества быстроты и отваги, почти мгновенно рассеивалась по огромным пространствам, прерывая пути сообщения неприятеля и запутывая даже самого Фридриха II. Кроме того, она обеспечивала безопасность и скрытность армии на марше и при маневрировании. Что касается артиллерии, то с самого начала у нее были лучшие во всей Европе орудия, особенно шуваловские гаубицы, ничего равного которым не имели ни Пруссия, ни Франция. К тому же были созданы особые полки канониров и артиллерийских фузилёров для улучшения защиты и обслуживания орудий.

Несомненно, коалиция четырех европейских держав не смогла сломить сопротивление Фридриха II и отобрать у него прежние завоевания. В этой неудаче повинна скорее политика, чем военная недостаточность. Мы уже показали корни тех слабостей и раздоров, которые подрывали «великий альянс», а также иные причины, раздражавшие всевластную царицу. При каждом из союзных дворов, равно как и между ними всеми, витали раздоры, недоверие и скрытая борьба интересов. Во всех армиях происходили генеральские дрызги — между Лаудоном и Дауном, Брольи и Субизом. Самым лучшим из них мешали всяческие конференции, придворные советы, наконец, просто интриги фаворитов. Решительные действия мы видим только в лагере Фридриха II и в окружении английского короля^[348].

Однако то, что касается правительства, дипломатии, военных нравов XVIII века, все это частности эпохи, исторические случайности, поверхностные явления вещей и событий.

Обратимся лучше к прочному, постоянному, глубокому, связанному с самим характером нации и сохраняющемуся до тех пор, пока жива она сама.

То, что есть в русской армии истинно национального, присуще и сегодняшнему дню, и эпохе Петра Великого. Оно проявилось в войнах Елизаветы и в суворовских походах, в борьбе Александра с Наполеоном, под Севастополем и под Плевной^[85] — это, несомненно, великолепные кадры, являющиеся воплощением самого народа. Это пламенная преданность царю, вере и отечеству. Это самопожертвование среди опасностей, лишений и тягот. Это твердая надежность русского пехотинца, про которого Наполеон повторил слова Фридриха II, что для победы его еще мало убить. Это неисчерпаемый поток нерегулярной конницы, которая сегодня остается таковой лишь по имени, но чья подвижность и отвага по-прежнему делают ее столь грозной на равнинах Северной Европы. Это цепкость, стойкость и меткость артиллеристов 1759, 1812, 1854, 1877 годов. Все качества, все военные добродетели, проявившиеся в Семилетнюю войну, сохраняются, по всей видимости, и до наших дней. К этому добавились лишь технические усовершенствования, которыми смогла воспользоваться Россия за последние пятьдесят лет развития европейской цивилизации и науки.





Архенгольц И. В. Семилетняя война. М., 2001.

Бильбасов В. А. Семилетняя война по русским источникам: Исторические монографии. СПб., 1901. Т. V.

Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. СПб., 1871–1873. Т. 1–4.

Воронцов М. И. Записка о Семилетней войне: Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. 4. С. 156–159.

Глиноецкий Н. П. История русского генерального штаба. СПб., 1883. Т. 1–2.

Коробков Н. М. Семилетняя война. (Действия России в 1756–1762 гг.) М., 1940.

Коробков Н. М. Армии и стратегия времени Семилетней войны // Военно-исторический журнал. 1940. № 4.

Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.

Маколей Т. Б. Фридрих Великий // Томас Бабингтон Маколей. Англия и Европа. СПб., 2001. С. 249–297.

Масловский Д. Ф. Русская армия в Семилетнюю войну. М., 1886–1891. Вып. 1–3.

Пекарский П. П. Поход русских в Пруссию под начальством Апраксина. Военный сборник. 1858. № 5.

Рамбо А. Русская армия в Семилетней войне // Звезда. 2003. № 3. С. 149–163.

Русские солдаты в Пруссии. Русский архив. 1886. № 8.

Семевский М. И. Противники Фридриха Великого — Апраксин и Бестужев-Рюмин // Военный сборник. 1862. Кн. 5, 6, 9.

Семилетняя война. Материалы о действиях русской Армии и Флота в 1756–1762 гг. / Под редакцией проф. Н. М. Коробкова. М., 1948.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб., изд-во «Общественная Польза», б.г. Кн. 5.

Сухотин Н. Н. Фридрих Великий. СПб., 1882.

Феоктистов Е. М. Отношение России к Пруссии в царствование Елизаветы Петровны. М., 1882.

Фирсов И. Условия, при которых началась Семилетняя война. М., 1916.

Щепкин Е. Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны: Исследование по данным Венского и Копенгагенского архивов. СПб., 1902.

Arneth A. Maria Theresia und der Siebenjährige Krieg. Wien, 1875–1876.

Bernhardi Th. Friedrich der Grosse als Feldherr. Berlin, 1883. 2 Bd.

Catt de H. Mes entretiens avec Frédéric II. Mémoires et journal. Leipzig, 1885.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. — Oeuvres posthumes de Frédéric II, Roi de Prusse, t. 2 et 3, 1789.

Geschichte des Siebenjährigen Krieges. Berlin, 1827–1847. 6 Bd. (Публикация прусского генерального штаба).

Hasenkamp X. Ostpreussen unter den Doppelaar. Königsberg, 1886.

Klaje H. Die Russen vor Kolberg, 1910.

Martens F. Recueil des traites et conventions conclus par la Russie, notamment: t. I, Autriche,

Petersbourg, 1874; t. V, Allemagne, 1882; t. X, Angleterre, 1892.

Politische Korrespondenz Friedrich's des Grossen. Bd. XIV–XX. Berlin, 1886–1893.

Rambaud A. Instructions aux ambassadeurs et ministres de France en Russie. (Collection du ministère des affaires étrangères). T. I–II. Paris, 1890.

Schaefer A. Geschichte des Siebenjahrigen Krieg. Berlin, 1867–1874. 3 Bd. Schotmuller. Die Schlacht von Zorndorf. Berlin, 1858.

Stiehle. Die Schlacht bei Kunersdorf. Berlin, 1859.

Vandal A. Louis XV et Elisabeth. Paris, 1882.

Waddington R. La guerre de Sept ans: Histoire diplomatique et militaire. 5 vols. Paris, 1899–1914.

КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕ
РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ
КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕ



РУССКИЕ И ПРУССАКИ



А. РАМБО • РУССКИЕ И ПРУССАКИ











notes

Мы вправе не учитывать вынужденное участие Пруссии в кампании 1812 г. на стороне Наполеона, когда ей пришлось выставить 20 тыс. чел. под командованием Йорка фон Вартенбурга. Кроме того, несколько прусских полков дошли вместе с императором до Москвы и квартировали в Кремле. Однако содействие Йорка французам было весьма шатким и завершилось после начавшихся поражений Великой Армии драматической изменой. Соглашение с русскими, подписанное этим генералом в Таурогене, явилось прелюдией к пробуждению Германии. Другая соседка России, Австрия, *никогда* не воевала с ней. Вполне позволительно пренебречь и действиями русских в кампанию 1809 г., и эпизодическим участием тридцатитысячного австрийского контингента князя Шварценберга в войне 1812 г.

Например, г-н Масловский обрушился с очень суровой, вполне научной и вполне здоровой критикой на воспоминания офицера Архангелогородского полка А. Болотова — многословного компилятивного мемуариста, который тем не менее был очевидцем многих боевых действий. При всей справедливости критических замечаний следует все-таки признать, что его мемуары полны жизни, искренности и простодушия и оставляют весьма сильное впечатление. Как описать Грос-Егерсдорф, не давая слово этому свидетелю, который столь охотно говорит не только о своем воодушевлении, но и о своих страхах?

С другой стороны, изучая эту войну, где на первом плане несомненно всегда оставался Фридрих II, разве можно обойтись хотя бы на короткое время без его воспоминаний и в особенности без его переписки, где он со столь неожиданной искренностью раскрывает и самого себя, и происходившие события, что создает разительный контраст с его же умышленными противоречиями и расчетливой фальшью. Но здесь мы видим свободную игру страстей, ненависти и страха, всего Фридриха, с его жаждой славы и темпераментом полководца, с присущей ему необычайной смесью жестокости и гуманности, с его возвышенным и утонченным умом, искренностью чувств и теми интимными излияниями, когда он выступает воистину как величественная и героическая фигура. И самыми правдивыми являются именно его свидетельства о самом себе. Наконец, как можно пренебречь теми из немецких его современников, которые были столь близки к нему, подобно, например, Генриху Катту?

Обсервационные (наблюдательные) армии или корпуса выставлялись иногда во время войны на границах воюющих государств для наблюдения за военными или политическими действиями соседей или для давления на ту или другую из воюющих сторон. *(Примеч. пер.)..*

Масловский Д. Ф. Русская армия в Семилетнюю войну. СПб., 1886. Вып. 1. С. 121.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 2-е изд. Изд-во «Общественная польза», б.г. Т. XXI. С. 282, 286, 287.

Соловьев С. М. Указ. соч. Т. XXIII. С. 781.

Черный кабинет — в переносном смысле система перлюстрации, т. е. тайное вскрытие государственными органами пересылаемой по почте корреспонденции. (*Примеч. пер.*)..

Соловьев. Т. XXIII. С. 783.

Это решение было принято на следующем заседании Конференции 30 марта (ст. ст.). См.: Соловьев. Т. XXIV. С. 903. (*Примеч. пер.*)..

Борец за выживание (*англ.*).

Бильбасов В. История Екатерины II. СПб., 1890. Т. 1. — Waliszewski K. Le Roman d'une impératrice. Paris, 1893. Русский перевод: Валишевский К. Роман одной императрицы. М., 1908 (значительно сокращенный).

Выдержки из переписки Вильямса, опубликованной в книге «La cour de Russie il y a cent ans» (анониме). Paris et Leipzig, 1860.

Архив князя Воронцова. М., 1876. Кн. X. С. 471. (Текст на франц. яз.) Автор ошибочно указывает в качестве источника Сборник Русского исторического общества. (*Примеч. пер.*)..

Архив князя Воронцова. Кн. X. С. 470–471.

Там же. С. 470.

Т. е. монахи, из которых формировалась иерархия.

Истории некоторых полков посвящены серьезные исторические работы, например: Богуславский Л. История Апшеронского полка. СПб., 1892; Орлов Ф. История Санкт-Петербургского гренадерского короля Фридриха Вильгельма III полка. СПб., 1881; Бобровский П. О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет. СПб., 1892; Воронов П., Бутовский В., Вальберг И., Карепов Н. История лейб-гвардии Павловского полка. СПб., 1890. В журнале «Русская старина» за 1883 г. содержатся любопытные исследования о Преображенском и Семеновском гвардейских полках.

Масловский. Указ. соч. Вып. 1. С. 31.

Ремонт — в XVIII и XIX вв. пополнение убыли лошадей в войсках, а также лошади, предназначавшиеся для этого. (*Примеч. пер.*)..

Были опубликованы два текста его «Наблюдений» — один С. М. Соловьевым по русским архивам в «Истории России», т. XXIV, гл. 3; другой — в книге: Hasenkamp X. Ostpreussen unter dem Doppelaar. Koenigsberg, 1866 (по секретным кёнигсбергским архивам). Очевидно, это один и тот же текст, хотя и с заметными различиями.

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 1–4. СПб., 1870–1873; Сокращ. изд.: М.-Л., 1931; М., 1986.

Rimbaud A. La Russie epique. Paris, 1876.

Именно так они назывались в русской армии, хотя на самом деле были разновидностью гаубиц.

Помехи, препятствия (лат.).

Со времен Петра Великого в русский административный и военный словарь вошли многие немецкие термины: провиантмейстер, фельдцейхмейстер, ротмистр, ландмилиция и т. д.

Архив министерства иностранных дел Франции. Correspondance «Russie». Т. LIV. Piece 131, nov. 1757.

Записки князя Якова Петровича Шаховского. СПб., 1872. С. 87–88.

Архив министерства иностранных дел Франции. Correspondance «Russie». Т. LIV. Piece 131, nov. 1757.

Ошибка автора. Через Архангельск имелся выход еще и к Белому морю. (*Примеч. пер.*)..

Прам — плоскодонное однопалубное парусно-гребное судно. (Примеч. пер.)..

Гофкригсрат — придворный военный совет, учрежденный в 1486 г. императором Максимилианом I. Его влияние отзывалось весьма вредно на военных действиях. Заседая в Вене, он постоянно стремился предначертать каждый шаг австрийских главнокомандующих. (Примеч. пер.)..

Во всех случаях я привожу даты по новому стилю, который употребляет и г-н Масловский. В XVIII в. разница между старым и новым стилем составляла 11 дней.

Семигалия (Земигалия) — историческое название земель, расположенных между Зап. Двиной и Клайпедой (Мемелем), по имени племени земгалов (семигалов). *(Примеч. пер.)*..

Каштелян — в Польше начальник города и прилегающей к нему местности. (Примеч. пер.)..

Его книга «Ostpreussen unter dem Doppelaar» (Koenigsberg, 1866) дает очень Ценные сведения относительно событий в Восточной Пруссии.

Автор не указывает на источник этой цитаты, поэтому она приведена в обратном переводе с французского. *(Примеч. пер.)*..

Ее часто так и называли в дипломатических документах XVIII в. См.: (Rimbaud A. Instructions aux ambassadeurs et ministres de France en Russie. Paris, 1890. Т. II.

По крайней мере, de facto, поскольку Восточная Пруссия все еще рассматривалась поляками как ленное владение польской короны.

Находилось в Западной Пруссии неподалеку от Рейна и нидерландской границы.
(Примеч. пер.)..

Politische Korrespondenz Friedrich's des Grossen. Bd. 14. Berlin, 1886. S. 163.

Politische Korrespondenz. Bd. 14. S. 170. — 9 марта 1757 г. он писал Левальду: «Можете быть уверены, все предпринимаемое Апраксиным делается против его собственной воли, поелику он на стороне великой княгини. Однако же ему могут присылать от двора вполне четкие приказания».

Ibid. S. 351.

Politische Korrespondenz. Bd. 14. S. 245–246.

Препятствий (*лат.*).

Автор ошибочно называет здесь Мемельский порт. См.: Масловский. Вып. 1. С. 207. (Примеч. пер.)..

Газенкамп оценивает общее число пришедших по суше войск в 21 тыс. чел. и 9 тыс., составлявших отряд Салтыкова. Однако цифры, приведенные г-ном Масловским, основаны на документах.

Пруссаки вели себя в немецкой земле Саксонии ничуть не лучше, равно как и в дружественной нейтральной Польше. Фридрих II притворно негодовал на русское варварство, но значительно хуже всех зверств, совершенных казаками, были те репрессии, которые сам он угрожал употребить в письме из Дрездена Левальду от 22 февраля 1757 г.: «За одну сожженную русскими деревню в Пруссии я велю спалить десять или двадцать в Саксонии и Богемии». (Politische Korrespondenz. Bd. 14. S. 302.) Как будто несчастные крестьяне в электорате или в австрийских землях были хоть чем-то виновны за дела донцов, чьего имени они даже и не слыхивали!

Апроши — зигзагообразные траншеи с насыпью по краю, облегчающие приближение к осажденному городу. (Примеч. пер.)..

Болотов А. Т. Указ. соч. Т. 1. С. 466.

Politische Korrespondenz. Bd. 15. S. 235.

Болотов. Т. 1. С. 464–465.

Мы называем Норкиттенским лес, протянувшийся к западу от Грос-Егерс-Дорфа, а Грос-Егерсдорфским — массив, через который русские наступали на одноименное селение, хотя этот лес и значительно ближе к Норкиттену.

Дефиле — узкий проход, теснина. (Примеч. пер.)..

В своем донесении Фридриху II Левальд оценивает силу неприятеля в 100 тыс. чел. при 100 орудиях. (1 сентября 1757 г., из лагеря в Патерсвальде.) Politische Korrespondenz. Bd. 16. S. 330 und folg.

Дебушировать — выходить из узкого пространства (леса, гор) на более широкую местность. (Примеч. пер.)..

Фурман — владедец или возчик фуры, фургона. (*Примеч. пер.*)..

Болотов. Т. 1. С. 520–521.

Соловьев. Т. XXIV. С. 991.

Болотов. Т. 1. С. 524–526.

Politische Korrespondenz. Bd.15. S. 331 und folg.

Ошибка: в этой битве прусские кирасиры вообще не участвовали.

Болотов. Т. 1. С. 531–532.

Подобная тактика часто бывала успешна даже против французов: «Весь день наш полк преследовала целая туча казаков, которых атаковали наши егеря, но никак не могли достать их, поскольку эта конница всегда полным галопом возвращалась под защиту русской артиллерии, которая неожиданно открывала свои пушки и наносила нам чувствительные потери». (Commandant Parquin. Souvenirs et campagnes d'un vieux soldat du Premier Empire (1803–1814). Paris, 1892. P. 39. Сражение при Гутштадте.).

Сражение при Гутштадте — произошло 24 мая 1807 г. во время русско-прусско-французской войны 1806–1807 гг. в Восточной Пруссии, когда русские войска под командованием генерала Л. Л. Беннигсена одержали здесь победу над маршалом Неем. (комментарий Д. В. Соловьева).

Болотов. Т. 1. С. 543.

Масловский. Вып. 1. С. 292.

Там же. С. 292.

Schaefer A. Geschichte des Siebenjährigen Kriegs. Bd. 1. Berlin, 1867. S. 347.

Масловский. Вып. 1. С. 293.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. (*Примеч. авт.*) — В издании Oeuvres posthumes (Т. 2. 1789. S. 1) такой оценки роли П. А. Румянцева не найдено. (*Примеч. пер.*)..

Politische Korrespondenz. Bd. 15. S. 332. (Письмо от 6 сентября 1757 г.).

Болотов. Т. 1. С. 556.

Масловский. Вып. 1. С. 308.

Самогития — историческое название территории, находившейся на прусско-литовском побережье Балтийского моря. (*Примеч. пер.*)..

Имеется в виду битва при Колине 7 июня 1757 г.

Битва при Колине — чешском городе на Эльбе, где 18 июня 1757 г. австрийцы под командованием фельдмаршала Дауна победили Фридриха II, что заставило его уйти из Чехии. (Комментарий Д. В. Соловьева).

Гоффурьер — придворный квартирмейстер. (Примеч. пер.)..

«Перевод донесения офицера, посланного гр. Эстергази к русской армии в Пруссии». — Novembre 1757. *Affaires etrangeres de France, correspondance Russie*. T. UV. P. 131.

Из донесений Лопиталья. См.: Rambaud. Instructions. Т. II. Р. 67.

Масловский. Вып. 1. С. 327–328.

Масловский. Вып. 1. С. 330.

Архив князя Воронцова. М., 1875. Кн. VII. С. 500–501.

Соловьев. Т. 24. С. 1040.

Там же. С. 1042.

Там же. С. 1042–1043.

Сборник Русского исторического общества. СПб, 1871. Т. 7. С. 74–75.

Т. е. запасных верховых лошадей. (*Примеч. пер.*)..

Пронунсиаменто — в данном случае мятеж, акт открытого непослушания, имеющий политические цели. (Примеч. пер.)..

Масловский. Вып. 2. Приложение X. С. 19.

Архив князя Воронцова. Кн. VI. С. 337.

Мы многое заимствуем из книги Кс. Газенкампа «Восточная Пруссия под двуглавым орлом» (*Hasenkamp X. Ostpreussen unter dem Doppelaar. Königsberg, 1866*).

Оригинал на немецком языке. (См.: Масловский. Вып. 2. Приложение XIV. С. 27.).

Оригинал на немецком языке. (См.: Масловский. Вып. 2. Приложение XIV. С. 27.).

Болотов. Т. 1. С. 731, 732.

Аркебуза — одна из первых разновидностей ручного огнестрельного оружия, появившаяся в первой трети XV в. (*Примеч. пер.*)..

Festrede — торжественная речь (нем.).

Болотов. Т. 1. С. 933, 934.

Notificatorium — оповещение (лат.).

Vivat! — Да здравствует! (*лат.*).

Масловский. Вып. 2. С. 168.

Лузация — область в Саксонии и Пруссии. (Примеч. пер.)..

Масловский. Вып. 2. С. 220.

Фридрих II пишет так в своей «Истории Семи летней войны» даже по поводу битвы при Цорндорфе.

Henri de Catt. Mes Entrtiens avec Frederic le Grand. Memoires et Journal. Leipzig et Paris. 1885.
P. 167.

Politische Korrespondenz. Bd. 17. S. 158.

Veni, vidi, vici — «Пришел, увидел, победил» (лат.). Этой фразой Юлий Цезарь сообщал о своей победе в 47 г. до н. э. над понтийским царем Фарнаком. (Примеч. пер.)..

«*De natura Deorum*» — «О природе богов» (*лат.*), философский трактат Цицерона. (Примеч. пер.)..

«*Tusculanae*» — имеется в виду трактат Цицерона «*Tusculanae disputationes*» («Тускуланские беседы», *лат.*), посвященный проблемам нравственной философии и названный по имени поместья в Тускулуме под Римом. (*Примеч. пер.*)..

Vers de roi — королевские вирши (франц.).

Politische Korrespondenz. Bd. 17. S. 173. (Письмо от 18 августа 1758 г.).

Politische Korrespondenz. Bd. 17. S. 203–204, 215.

Catt. P. 153–154.

Палисад — оборонительное сооружение в виде частокола из толстых бревен, заостренных сверху. (*Примеч. пер.*)..

Из дальнейшего будет ясно, почему мы называем фланги «восточным» и «западным», а не «левым» или «правым».

Зато французский военный атташе барон де Виттинггоф оставался на месте и был ранен.

Один Мантейфель (Генрих) служил в прусской армии, другой, его однофамилец, — в русской (Иван Цеге фон Мантейфель).

Болотов. Т. 1. С. 786–787. Здесь его рассказ уже лишен ценности самоличного свидетельства. Он совершает грубейшие ошибки: сразу же после этого эпизода описывает сцену беспорядка и пьянства на левом фланге. Но и записки свидетелей, даже де Катта и Фридриха II («История Семилетней войны»), ничем не лучше воспоминаний Болотова.

Catt. P. 358.

«О Боже, сжался над нами!» (нем.).

Catt. P. 159.

Болотов. Т. 1. С. 788.

Catt. P. 307. — Schaefer A. Geschichte des Siebenjarigen Kriegs. Bd. 2. Berlin, 1870. S. 98.

Болотов. Т. 1. С. 787. Этот эпизод, который Болотов, похоже, относит к правому флангу русских, на самом деле происходил на левом фланге, и виновные принадлежали к Обсервационному корпусу.

Масловский. Вып. 2. С. 257.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. P. 216.

Politische Korrespondenz. Bd. 17. S. 194 f.f.

Catt. P. 161.

Ibid. P. 162.

Таковы цифры, принятые Шефером и современными историками, однако Фридрих II пишет о 1200 чел. и 20 пушках. (*Histoire de la guerre de Sept ans*. P. 216.).

Politische Korrespondenz. Bd. 17. S. 188.

Ibid. S. 190.

Catt. P. 165–166.

Histoire de la guerre de Sept ans. P. 216.

«... в обеих армиях при залпах пушек и мушкетов отслужили благодарственные молебны». (Второе донесение графа де Сент-Андре венскому двору. Archives. T. LVII.).

Мною использован перевод, приложенный к донесению маркиза Лопиталья. (Archives. T. LVII.).

Источник текста не указан, поэтому он приводится в обратном переводе с французского
(Примеч. пер.)..

Болотов. Т. 1. С. 792.

Politische Korrespondenz. Bd. 17. S. 192.

Politische Korrespondenz. Bd. 17. S. 199. (30 Aug. 1758).

Catt. P. 169.

Ищущий себе жертву (лат.).

Болотов. Т. 1. С. 791–792.

Масловский. Вып. 2. С. 268.

Масловский. Вып. 2. С. 69–70. (Полностью сохранен стиль оригинала. — Д.С.).

Логофет — один из высших канцелярских чиновников в средневековой Византии.
(Примеч. пер.).

Артикулы — в данном случае упражнения в строевом деле и ружейных приемах. (Примеч. пер.).

Масловский. Вып. 2. С. 270.

Donativum — в Древнем Риме денежный подарок цезаря солдатам. (Примеч. пер.).

Ram baud. Instructions. T. II. P. 87.

Акадия — первоначальное французское название канадской провинции Новая Шотландия. (Примеч. пер.).

Пикет — небольшой сторожевой отряд. (Примеч. пер.).

Там же.

Там же.

Persona grata — желательная личность (лат.).

Болотов. Т. 1. С. 871.

Т. е. в свите. (*Примеч. пер.*).

Болотов. Т. 1. С. 871–872.

Архив князя Воронцова. Кн. VI. С. 292. (Письмо от 5/16 июля 1759 г.).

Масловский. Вып. 2. С. 424.

Сборник Русского исторического общества. Т. 7. СПб., 1871.

Масловский. Вып. 3. Приложения. С. 1.

Масловский. Вып. 3. Приложения. С. 1.

Там же. Вып. 2. С. 434.

Масловский. Вып. 3. С. 20.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. Berlin, 1891, S. 434. (Письмо к графу Финкенштейну от 22 июля 1759 г.).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 425. (Письмо от 20 июля 1759 г.).

Ibid. Bd. 18.1 Halfte, S. 17. «Нация, не признающая шляп» — это турки и татары, «варвары» — русские. Это письмо вместе с некоторыми другими, взятыми у барона Фуке, было передано через графа Эстергази канцлеру Воронцову, который представил их в переводе на русский язык императрице. (Опубликованы в «Архиве князя Воронцова». М., 1891. Кн. 37. С. 217 и след.).

Ibid. С. 425. (Письмо от 20 июля 1759 г.).

Archives des affaires etrangeres de France. *Correspondance Russie*. T. LX. P. 65.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 424.

Масловский. Вып. 3. С. 54. 170.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. P. 268.

Schaefer. Bd. 2. S. 295.

Перевод реляции Салтыкова находится в томе LX издания «Correspondance *Russie*. Archives des affaires estrangeres de France» .(Примеч. авт.) В настоящем издании этот текст приводится в обратном переводе с французского. (Примеч. пер.).

Масловский. Вып. 3. С. 58.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 440. (Письмо к принцу Генриху от 23 июля 1759 г.).

Catt. P. 244–245. 176.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 469.

Pro aris et focis — за алтари и очаги (лат.).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 470. (Письмо к Финкенштейну).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. C. 471.

Тет-де-пон — предмостное укрепление. (Примеч. пер.).

Куртина — в данном случае земляной вал. (Примеч. пер.).

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. P. 273.

Этот текст приводится в обратном переводе с французского, так как автор не указывает на источник. (*Примеч. пер.*).

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. P. 273.

Болотов. Т. 1. С. 915–916.

Там же. С. 917.

Болотов. Т. 1. С. 918.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. P. 274.

Кроаты (т. е. хорваты) — имеются в виду гусарские полки, сформированные в России из сербских выходцев. (*Примеч. пер.*).

Масловский. Вып. 3. С. 132–133.

Масловский. Вып. 3. С. 133. (Цит. дословно по оригиналу. — *Д.С.*).

Сборник Русского исторического общества. СПб., 1872. Т. 9. С. 490. (Оригинал на французском языке.).

Carl Friedrich Pauli. *Leben grosser Helden des gegenwartigen Krieges*. Halle, 1760. Bd. VI. S. 215–221. — Chuquet A. *De Ewaldi Kleistii vitaet scriptis*. Paris, 1887.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 481.

Ахерон — древнее название реки в Греции, мрачный пейзаж вокруг которой послужил основанием для верования греков в то, что здесь находится вход в преисподнюю. (*Примеч. пер.*).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 407. (Письмо к принцу Генриху от 16 июля 1759 г.).

Имеются в виду императрица Елизавета, императрица Мария Терезия и маркиза де Помпадур.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 487. (Письмо к министру Финкенштейну от 16 августа 1759 г.).

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. P. 275.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 481. (12. Aug. 1759.).

Ibid. S. 482 (13 Aug 1769).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 488.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 500.

Rambaud. Instructions. T. II. P. 94.

Pierre Corvin (Pierre Nevsky). *Le theatre en Russie*. Paris, 1890. P. 124.

Архив князя Воронцова. Кн. VI. С. 370.

Schaefer. Bd. 2. S. 435.

Montalambert M. R. Correspondance. Londres, 1777. T. 2. P. 79. (31 aug. 1759.).

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. P. 276.

Имеется в виду битва при Кунерсдорфе, происходившая неподалеку от Франкфурта-на-Одере.

Affaires étrangères de France. *Correspondance Russie*. T. LX (la pièce qui suit la pièce 74, chiffré).

Шармицель — схватка, стычка (от нем. Scharmtitzel).

Сборник Русского исторического общества. Т. 9. С. 495–496, 501. (Цитата приведена в точном соответствии с оригиналом. — Д.С.).

Сборник Русского исторического общества. Т. 9. С. 491. 200.

Соловьев. Т. 24. С. 1113.

Имеется в виду возвышенно-классический пафос, присущий трагедиям французского драматурга Пьера Корнеля. (*Примеч. пер.*).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 487.

Автор не указывает на источник этой цитаты. В сборнике Politische Korrespondenz Friedrich's des Grossen данное письмо не опубликовано. (*Примеч. пер.*).

То же, что и предыдущее.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 494.

Ibid. S. 517. (Письмо к Фердинанду Брауншвейгскому от 5 сентября 1759 г.).

Ibid. S. 536. (Письмо к Фердинанду Брауншвейгскому от 12 сентября 1759 г.).

Ibid. S. 511. (Письмо к министру Финкенштейну от 1 сентября 1759 г.).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 509.

Ibid. S. 510.

Ibid. S. 522. (Письмо к министру Финкенштейну от 7 сентября 1759 г.).

Ibid. S. 524. (Письмо к принцу Генриху от 7 сентября 1759 г.).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 551. (Письмо от 19 сентября 1759 г.).

Ibid. S. 554.

Ibid. S. 560.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 563.

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 551. (2. Okt. 1759.).

Catt. P. 255–256.

См. его переписку с Воронцовым (Сборник Русского исторического общества. Т. 9. С. 493 и след.).

Politische Korrespondenz. Bd. 18. 2. Hälfte. S. 635.

Catt. P. 364.

Масловский. Вып. 3. С. 192.

Там же. С. 189.

Непостоянная Фортуна.
Своих поклонников неравно одаряет.
Сим безумцам, героями именуемым,
Пылью и кровью покрытым,
Не всякий год выпадает удача
Видеть зад дерзких врагов своих.
И дабы посрамить их, своенравная богиня
Подчас заставляет оных и самим то место показывать.
Да, в час бедствия и мы оборотились задом.
Пусть для русских послужит он вместо зеркала.
Oeuvres Completes de Voltaire. T. X. Paris, 1867. P. 265.

Имеется в виду австрийская императрица Мария Терезия, являвшаяся одновременно и королевой Венгрии. *(Примеч. пер.)*.

Вследствие истории с графом де Плело французский посланник при короле Станиславе граф де Монти удерживался в качестве пленного. (Rambaud. Instructions. T. I. P. 275 et suiv.).

Вследствие истории с графом де Плело французский посланник при короле Станиславе граф де Монти удерживался в качестве пленного — в 1734 г., когда Австрия и Россия составили коалицию против Станислава Лещинского, вторично призванного на польский престол, он бежал в Данциг, был осажден там русскими войсками и ожидал помощи от французов. Французский посол в Дании граф де Плело пытался прорваться к нему с горстью французов, но был убит. (Комментарии Д. В. Соловьева).

Дело маркиза де ла Шетарди. (См. настоящ. изд. с. 11.).

Это пространное перечисление почти буквально повторяется во всех инструкциях для французских посланников вплоть до первых лет царствования Людовика XVI.

Т. е. Восточную Пруссию. (*Примеч. пер.*).

Rimbaud Instructions. T. II. P. 119 et suiv.

Rambaud. Instructions. T. II. P. 97–108.

Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. I. СПб., 1874. С. 269.

Он был даже вассалом Польши как владетель Восточной Пруссии.

Соловьев. Т. 24. С. 1136.

Там же. С. 1132.

Фузилёр — пехотинец, вооруженный кремневым гладкоствольным ружьем. (Примеч. пер.).

Масловский. Вып. 3. С. 212–213.

Соловьев. Т. 24. С. 1133.

Единорог — в данном случае длинноствольная гаубица. (Примеч. пер.).

Соловьев. Т. 24. С. 1136–1138.

Там же. С. 1138.

Архив князя Воронцова. М., 1888. Кн. XXXIV. С. 227.

Реверс — письменное обязательство, ручательство. (Примеч. пер.).

Репроши — упреки, выговоры. (От франц. reproche. — Д.С.).

18 мая он сообщал ему о весьма вероятном вступлении к концу месяца в войну турок, что заставит австрийцев отрядить к Буде 60 тыс. чел., благодаря чему пруссаки смогут занять Моравию. — *Politische Korrespondenz Friedrich's des Grossen*. Bd. 19. Berlin, 1892. S. 353.

А. Рамбо ошибочно называет автором этого приказа П. С. Салтыкова. (*Примеч. пер.*).

Масловский. Вып. 3. Ссылки и пояснения. С. 34.

Там же. С. 281.

Цитата приводится в обратном переводе с французского, поскольку автором не указан русский источник. (*Примеч. пер.*).

Оно не содержится в сборнике Politische Korrespondenz Friedrich's des Grossen.

Глац — графство в Прусской Силезии. (Примеч. пер.).

Flassan. Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française. Paris, 1811. T. 6. P. 391.

См. Архив князя Воронцова. Кн. VI. С. 458, где помещен составленный в штабе Тотлебена любопытный план Берлина и его окрестностей с указанием расположения войск.

Венеды (венеты, венды) — древнейшее наименование славянских племен, встречающееся с 1 в. н. э. (*Примеч. пер.*).

Флешь — полевое укрепление в форме обращенного вовне тупого угла. (*Примеч. пер.*).

Geschichte eines patriotischen Kaufmans. 1768. S. 1.

Branntwein — водка (нем.).

Реляция Тотлебена о взятии Берлина опубликована в «Архиве князя Воронцова». Кн. VI. С. 458 и след.

Montalambert M. R. Correspondance. Londres, 1777. Т. 2. Р. 383–384. (Письмо к герцогу Шуазелю от 10 окт. 1760 г.).

Брандкugel — зажигательное ядро. (Примеч. пер.).

Масловский. Вып. 3. С. 336.

Масловский. Вып. 3. С. 337.

Кошт — иждивение, содержание. (Примеч. пер.).

Цесарцы — австрийцы, то есть подданные императора (цесаря) Габсбургской монархии.
(Примеч. пер.).

Болотов. Т. 2. С. 25–27.

Catt. P. 441.

Ратман — член городского управления. (Примеч. пер.).

Voltaire. Correspondance. Paris, 1980. P. 41. T. VI. (25 oct. 1760.).

Catt. P. 440–441.

Фридрих II приказал министру Финкенштейну составить «основательную промеморию, дабы произвести впечатление на читающую публику, особливо за границей ... касательно зверств ... совершенных казаками и австрийскими гусарами ...».

Все это надлежало описать ясно и *ganzen detail* (подробно. — Д.С.). В Шверине во время отступления Ласи кроаты вырыли тела помещичьего семейства, разбивали гробы, отрезали у женщин пальцы с кольцами и т. п. (*Politische Korrespondenz*. Bd. 20. S. 28 (24 Okt. 1760). В результате появилось «*Kurze Anzeige ...*», т. е. «Краткое описание жестокостей и опустошений, содеянных австрийскими, русскими и саксонскими войсками» (1760). — Петербургский двор громко протестовал, и Фридрих II писал 12 февраля 1761 г. британскому резиденту Митчеллу: «Г-ну Кейту не составит особого труда развеять то неудовольствие, каковое господин Шувалов (Иван Шувалов — А.Р.) соизволил выразить по поводу опубликованной промемории об эксцессах, совершенных в Берлине и его окрестностях во время недавнего вторжения неприятельских войск. Достаточно объяснить ему, что сие не относится к регулярной российской армии; напротив, она заслуживает всяческой похвалы за соблюдавшийся ею полный порядок. Речь идет только о некоторых казачьих отрядах. И не следует затыкать рот людям, когда им режут горло». (Там же. С. 219.).

Неизданный документ из Архива министерства иностранных дел Франции; приложение к депеше маркиза де Лопиталья (11 дек. 1760 г.). — *Correspondance Russie*. Т. LXV.

Rambaud. Instructions. T. 2. P. 178 et suiv.

Соловьев. Т. 24. С. 1185.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. IV. С. 517.

Куликанъе — пѣянство. (Примеч. пер.).

Болотов. Т. 2. С. 101.

Rambaud. Instructions. T. 2. P. 101.

Politische Korrespondenz. Bd. 20. S. 205. (Письмо к барону Книппхаузену от 29 января 1761 г.).

Масловский. Вып. 3. С. 424.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^(nde) partie. P. 8.

Примечательно, что Фридрих II оценивает силы Бутурлина в 30 тыс. чел.: 13 тыс. пехоты (23 батальона), 7 тыс. регулярной кавалерии и 10 тыс. казаков. — *Politische Korrespondenz*. Bd. 20. S. 608. (Письмо к принцу Генриху от 23 августа 1761 г.).

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^(nde) partie. P. 17.

См. подробное описание этого лагеря у самого Фридриха: Frederic II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^{nde} partie. P. 19–20.

Schaefer. Bd. 2. S. 240.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^(nde) partie. P. 25.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^(nde) partie. P. 26.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^(nde) partie. P. 26.

Ibid. P. C. 27.

Деташемент — отряд. (Примеч. пер.).

«Кунктаторская» осторожность — см. 1-й комментарий к гл. 10.

Там же. С. 481.

Масловский. Вып. 3. Приложения LXXVIII. С. 172.

Юнкер — мелкий помещик в Пруссии. (Примеч. пер.).

Масловский. Вып. 3. Примечания XXVI. С. 54–58. (Допрос жиду Исааку Сабатке.).

Приведенный текст содержится только в издании: Frédéric II. Oeuvres complètes. Histoire de la guerre de Sept ans, chap. XVI. (Ссылка не уточняется, поскольку в единственно доступном для переводчика издании: Oeuvres complètes. T. 4. 1792, указанного автором текста не найдено.).

Politische Korrespondenz. Bd. 19. S. 476.

Ibid. Bd. 20. S. 226.

Primo — во-первых (*лат.*).

Politische Korrespondenz. Bd. 20. S. 317.

Ibid. S. 388. (Из Хаусдорфа, 13 мая 1761 г.).

Ibid. S. 431. (Из Кунцендорфа, 1 июня 1761 г.).

Ibid. S. 432.

Ibid. S. 440.

Ibid. S. 441. (Впрочем, строго говоря, это могло относиться и к другому предательству.).

Ibid. S. 443.

Ibid. S. 450, 452, 457, 470, 474, 493.

Politische Korrespondenz. Bd. 20. S. 503.

Ibid. S. 513.

Масловский. Вып. 3. С. 501 (примеч.).

Масловский. Вып. 3. С. 508.

См. недавно опубликованную книгу: Pierre de Corvin (Pierre Nevsky), *Le théâtre en Russie*, Paris, 1890. В самом начале Предисловия автор пишет: «Русский театр развивался и совершенствовался почти под исключительным влиянием прекрасного французского языка, французских авторов и хорошего французского вкуса».

Rambaud. Instructions. T. II. P. 183 et suiv.

Имеется в виду Восточная Пруссия.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^(nde) partie. P. 64.

Tabacks-Collegium — Табачное Собрание (нем.).

Соловьев. Т. 24. С. 1272.

La cour de la Russie il y a cent ans. 1725–1783. 2^(nde) edition. Berlin, 1858. P. 201. (Депеша от 29 июня 1762 г.).

См. об этой странице жизни графа де Сен-Жермена как датского фельдмаршала любопытную книгу: Mention. Le Comte de Saint-Germain et ses réformes. Paris, 1884.

Frédéric II. Histoire de la guerre de Sept ans. 2^(nde) partie. P. 73.

Frédéric II. Histoire... P. 101, 102.

Ibid. P. 104.

Корволант — легкий отряд без обоза и тяжелой артиллерии. (Примеч. пер.).

Заводные лошади — т. е. запасные. (Примеч. пер.).

«Во время Семилетней войны король прусский противостоял Франции, Австрии и России, что можно воистину почитать за чудо. Государь, имевший всего четыре миллиона подданных, в течение семи лет сражался против трех величайших держав Европы с их 80 миллионами! Однако при внимательном взгляде на события сей войны все чудодейственное отпадает, ничуть не уменьшая при этом восхищения талантами сего великого полководца». Далее Наполеон объясняет, почему Фридриху почти не пришлось воевать с Францией, «сдерживавшейся на Рейне и Везере армией князей, нанятой на английские деньги и составленной из англичан, ганноверцев, гессенцев и брауншвейгцев». Россия «стремилась лишь удовлетворить свои амбициозные инстинкты, побуждавшие ее испробовать собственные войска на войне с подвижными армиями...». Австрия же «представляла собой весьма слабое в военном отношении государство, в то время как Пруссия издавна была организована по образцу военного лагеря, имела многочисленную и весьма маневренную армию». И, наконец, «богатые субсидии, полученные Фридрихом II от Англии, доставили ему возможность нанимать солдат и офицеров по всей Германии». — Napoléon I. Précis des guerres de Frédéric II. Correspondance de Napoléon I. Paris, 1870. T. 32. P. 237, 238.

Дополнена переводчиком некоторыми последующими изданиями.

comments

Император-немец — Иван VI Антонович (1740–1764) — номинальный российский император (с окт. 1740 г.), сын Анны Леопольдовны (племянницы русской императрицы Анны Ивановны) и герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. В ноябре 1741 г. был свергнут цесаревной Елизаветой Петровной, после чего находился сначала в ссылке, затем в Шлиссельбургской крепости, где был убит при попытке освобождения заговорщиками.

Война за Польское Наследство происходила в 1733–1735 гг. между Россией, Австрией и Саксонией, с одной стороны, и Францией, с другой, в связи с избранием польского короля после смерти Августа II. Закончилась воцарением саксонского курфюрста Фридриха Августа (под именем Августа III), которого поддерживали союзные державы. Участие русских войск заключалось в силовом давлении на польский сейм во время выборов, а также во взятии опорных пунктов французского ставленника Станислава Лещинского — городов Торна и Данцига.

Война с Турцией 1735–1739 гг. была продолжением борьбы России за выход к Черному морю и велась в союзе с Австрией. Войска фельдмаршала Миниха штурмом взяли перекопские укрепления в Крыму и захватили Бахчисарай, однако недостаточное снабжение и эпидемии заставили армию отойти на Украину. По Белградскому мирному договору 1739 г. Россия вернула себе Азов.

Война за Австрийское Наследство 1740–1748 гг. велась европейскими державами (Пруссия, Бавария, Саксония, Испания), поддержанными Францией и оспаривавшими наследственные права на Австрию дочери германского императора Карла VI Марии Терезии, которую поддерживали Англия и Нидерланды. В 1746–1747 гг. к австро-английской коалиции присоединилась Россия, и в январе 1748 г. русский корпус вступил в Германию. Опасаясь выхода его к Рейну, Франция согласилась на мирные переговоры. По Ахенскому миру 1748 г. права Марии Терезии были признаны, однако большая часть завоеванной у нее Силезии отошла к Пруссии.

Именно Франция в 1751 г. принудила Россию уйти из оккупированной уже Швеции ... — ошибка автора. По всей видимости, имеется в виду война 1741–1743 гг., начатая Швецией, которую подстрекала Франция, интриговавшая в пользу воцарения цесаревны Елизаветы Петровны. После поражения шведов и переворота 1741 г. в России начались мирные переговоры, в результате которых России под давлением Франции пришлось очистить значительную часть завоеванной Финляндии. По Абоскому мирному трактату 1743 г. русско-шведская граница была продвинута до реки Кюммене.

Убийство Жюмонвиля и пиратские действия адмирала Боскавена — имеются в виду англо-французские столкновения в Северной Америке, предшествовавшие Семилетней войне: убийство в 1753 г. французского офицера Кулона де Жюмонвиля на спорной границе между Новой Францией (Канада) и Вирджинией и нападение английской североамериканской эскадры (10 июня 1755 г.) под командованием адмирала Боскавена на три французских корабля, два из которых были захвачены англичанами.

...во время последней войны — имеется в виду война за Австрийское Наследство 1740–1748 гг. (см. комментарий 4).

Тот союз с Францией, в отличие от нынешнего ... — подразумевается русско-французский союз, связанный с ухудшением русско-германских отношений в конце 1880-х гг. Был оформлен соглашениями 1891–1893 гг., прежде всего военной конвенцией, предусматривавшей взаимную военную помощь в случае нападения со стороны Германии.

... эти французы, против которых русские сражались у Данцига и дважды устраивали военные демонстрации на Рейне... — имеются в виду:

осада и взятие Данцига русскими войсками (1734 г.) под командованием фельдмаршала Миниха во время войны за Польское Наследство 1733–1735 гг.;

поход корпуса генерала Ласи в 1735 г. во время той же войны в район притока Рейна Неккара для действий против французов в помощь германскому императору Карлу V (в боевых действиях русская армия участия не принимала в связи с начавшимися мирными переговорами);

поход корпуса князя В. А. Репнина (1748 г.), предпринятый по просьбе Англии и Голландии для действий против французов в районе Вупперталя, что способствовало заключению Ахенского мира, завершившего войну за Австрийское Наследство.

Красавец Салтыков — Сергей Васильевич Салтыков (1726-?), дипломат, посланник в Гамбурге, Париже и Дрездене. В 1752–1754 гг. был камергером при дворе великого князя Петра Федоровича и тогда же сблизился с Екатериной.

Фареал (ныне Фарсала) — город в Греции, около которого 6 июня 48 г. до н. э. во время Гражданской войны в Риме произошло решающее сражение между войсками Юлия Цезаря и Гнея Помпея, окончившееся разгромом последнего.

Левктры — город в Греции, около которого 5 августа 371 г. до н. э. произошло сражение между войсками Спарты и Фив, окончившееся разгромом непобедимых до тех пор спартанцев, после чего Спарта утратила свою гегемонию в Греции.

Ценен — город в Северной Франции, в районе которого 18–24 июня 1712 г. во время войны за Испанское Наследство произошло сражение между французской армией маршала Виллара и австро-голландскими войсками под командованием принца Евгения Савойского. Победа Виллара способствовала заключению Утрехтского мира 1713 г.

Венская осада — имеется в виду осада турками Вены в июле-сентябре 1683 г., закончившаяся их разгромом союзными войсками Австрии, Польши, Лотарингии и Бадена под командованием польского короля Яна III Собеского.

Сент-Джеймский кабинет — подразумевается английское правительство, называвшееся так по лондонскому дворцу, который служил постоянной резиденцией английских королей.

Дом Инвалидов (Hôtel des Invalides) — основан Людовиком XIV в Париже в 1670 г. для увечных солдат и офицеров. В 1840 г. в церкви Дома Инвалидов были похоронены останки Наполеона I, перевезенные с острова Св. Елены.

... в баталиях у Франкфурта и Кагула — имеются в виду: битва при Кунерсдорфе, происходившая неподалеку от Франкфурта-на-Одере (см. гл. XI настоящей книги); левый приток Дуная Кагул, где в 1770 г. русские войска генерала П. А. Румянцева во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. разгромили превосходящие силы турецкой армии.

Дело под Силистрией — Силистрия (Силистра), город на северо-востоке Болгарии, на правом берегу Дуная, неоднократно подвергавшийся осадам. В данном случае, очевидно, имеется в виду осада и взятие Силистрии в 1810 г. генералом Н. М. Каменским во время русско-турецкой войны 1806–1812 гг.

«*Рижский вояжир*» — «Из оперировавших в русской армии агентов Фридриха наиболее известен капитан Ламберт, выдававший себя за английского офицера. Это был, по-видимому, тот „вояжир из Риги“, который часто обедал у Апраксина, был хорошо знаком с Веймарном и наиболее видными русскими генералами. Доставляя Фридриху секретные сведения, он в то же время составил известный памфлет на русскую армию, который был затем широко распространен прусским правительством». (Коробков Н. Семилетняя война. М., 1940. С. 51). Это сочинение было издано без указания места и года под заглавием: «Schreiben eines Reisenden aus Riga, welches enthält den Zustand der Russischen Armee und deren Befehlshabern» («Письмо путешественника из Риги с изъяснением состояния русской армии и лиц, оной начальствующих»).

Слободские казаки — слободские казачьи полки возникли путем переселения в XVII в. на границы Московского государства украинских казаков вследствие их неудач в борьбе с Польшей. Они селились главным образом по Белгородской черте и просуществовали до конца XVIII в., когда были упразднены за ненужностью после перемещения границы на юг.

Осада Очакова — города и крепости на берегу Днепровского лимана. Происходила в 1737 г. во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг. и закончилась его взятием, но по Белградскому мирному договору 1739 г. он остался за Турцией. Отошел к России в 1791 г.

Ахилл и Улисс — герои древнегреческого эпоса об осаде Трои. Ахилл — воплощение воинской доблести, Улисс — хитрости и осторожности, вошедших в поговорку.

Фальстаф — историческая личность, выведенная Шекспиром в драме «Генрих IV» и комедии «Виндзорские проказницы» как тип гуляки и пройдохи, что, однако, не соответствовало характеру реального государственного деятеля — полководца и дипломата Джона Фальстафа (1377–1459).

Вильманстранд (ныне Лаппенранта) — город в бывшей Выборгской губернии на южном берегу оз. Лапвеси. Во время русско-шведской войны 1741–1743 гг. около него русские войска под командованием фельдмаршала Ласи одержали победу и принудили неприятеля к капитуляции.

Румянцев ... стал фельдмаршалом и дунайским героем («Задунайским») — во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг., командуя в 1770 г. 1-й армией, П. А. Румянцев разгромил превосходящие силы турок при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле и занял левый берег нижнего течения Дуная, за что получил звание генерал-фельдмаршала. В 1774 г. успешным наступлением на Шумлу вынудил Турцию заключить Кючук-Кайнарджийский мир. В 1775 г. получил почетное добавление к фамилии — Задунайский.

... Мемель, который в 1807 г. служил последним убежищем прусскому королю — после разгрома французами прусско-саксонских войск в Йена-Ауэрштедтском сражении (2 окт. 1806 г.) король Фридрих Вильгельм III был вынужден бежать из Берлина в восточнопрусский г. Мемель (ныне г. Клайпеда в Литве).

Эйлау, Фридланд, Тильзит — имеются в виду места и события русско-прусско-французской войны 1806–1808 гг.:

Эйлау (Прейсиш-Эйлау, ныне г. Багратионовск Калининградской обл.), где 7–8 февр. 1807 г., произошло кровопролитное сражение между русскими и французскими войсками, не давшее окончательного перевеса ни одной из сторон;

Фридланд (ныне г. Правдинск Калининградской обл.). 14 июня 1807 г. под Фридландом Наполеон I нанес поражение русским войскам генерала Л. Л. Беннигсена;

Тильзит (ныне г. Советск Калининградской обл.), — здесь имеется в виду Тильзитский мирный договор 1807 г., подписанный в Тильзите после победы французов, по которому Пруссия теряла почти половину своей территории. Александр I признавал изменения, произведенные Наполеоном I в Европе, и обязывался вывезти русские войска из Молдавии и Валахии, а также присоединиться к Континентальной блокаде (т. е. недопущению английских товаров на Европейский континент).

... раздался в 1813 г. призыв подняться против Наполеона — после отложения 30 дек. 1812 г. в Таурогене (Восточная Пруссия) от наполеоновских войск прусского корпуса генерала Йорка в Восточной Пруссии произошло народное восстание против власти французов.

Королева-императрица — имеется в виду императрица Габсбургской монархии Мария Терезия, являвшаяся одновременно и королевой Венгрии.

Покушение Дамьена — речь идет о неудавшемся покушении в 1757 г. политического фанатика на французского короля Людовика XV.

Плач Иеремии на развалинах Иерусалима — песни, сочиненные библейским пророком Иеремией после вавилонского завоевания и разрушения Иерусалима (586 г. до н. э).

Секретные шуваловские гаубицы — гораздо более полезными оказались гаубицы, названные по имени Петра Шувалова, непосредственно руководившего работами по созданию этого типа орудий. Они имели эллипсовидное, расширяющееся по горизонтали сечение ствола, дававшее широкое рассеяние картечи. Второй вид, введенный к этому времени, — единороги, носившие изображение геральдической фигуры П. Шувалова, представляли собой орудия с укороченным дулом — нечто среднее между пушкой и гаубицей. Они давали навесной и настильный огонь и были способны стрелять бомбами, картечью, ядрами и брандкугелями. Вследствие своих преимуществ они сохранились в русской армии до первой четверти XIX в. (Коробков Н. Семилетняя война. М., 1940. С. 73).

... Людовик XV ... добился у саксонского двора удаления Станислава Понятовского — «Франция боялась, чтоб русская партия в Польше не усилилась благодаря вступлению русского войска в эту страну; ясный признак усиления русской партии ... французский двор видел в назначении ... Станислава Понятовского польским уполномоченным в Петербурге. <...> 19 окт. 1757 г. русские посланники в Варшаве кн. Волконский и Гросс доносили, „что граф Понятовский отзывается из Петербурга вследствие письма французского короля“, а это доказывает, по их мнению, совершенную власть, какую Франция имеет над польским двором» (Соловьев. Т. 24. С. 978, 1017.).

Лейтенское сражение — произошло около г. Лейтена в Прусской Силезии 5 декабря 1757 г. между пруссаками под командованием Фридриха II и австрийцами (герцог Карл Лотарингский). Несмотря на двойной перевес неприятеля, Фридрих одержал блестящую победу. Австрийцы бежали, оставив всю артиллерию и более 20 тыс. пленных.

Легкие победы Ришельё в Ганновере, при Гастенбеке и Клостер-Зевене — имеются в виду следующие события Семи летней войны: победа французов 26 июня 1757 г. у селения Гастенбек, в результате которой командующий ганноверским наблюдательным корпусом герцог Вильгельм Август Кумберлендский был вынужден подписать 8 сентября Клостер-Зевенское соглашение, предусматривавшее роспуск большей части его войск и отдавшее в руки победителей Ганновер и Кассель.

Росбахская катастрофа — сражение между прусскими войсками и франко-австрийской армией под командованием маршала Субиза и принца Саксен-Гильдбурггаузенского, происшедшее 5 ноября 1757 г. около селения Росбах в Пруссии, в котором Фридрих II разгромил вдвое превосходившего неприятеля. Потери союзников составили свыше 7 тыс. чел., пруссаков — свыше 500 чел.

Великий король — имеется в виду французский король Людовик XIV, царствовавший в 1643–1715 гг.

Мольвиц, Пирна или Лобозиц — именуются в виду события войны за Австрийское Наследство (Мольвиц) и Семилетней войны (Пирна и Лобозиц):

«Первая битва Фридриха произошла у Мольвица (В Силезии, 10 апреля 1741 г. *Примеч. пер.*).. Никогда еще карьера великого полководца не начиналась при столь неблагоприятных обстоятельствах. Хотя его армия победила, сам он не только не выказал себя способным генералом, но даже дал повод усомниться в своей личной храбрости простого солдата. Кавалерия, которой командовал непосредственно Фридрих, была обращена в бегство. Не имея привычки к толчее и резне сражения, он потерял самообладание и слишком охотно послушался тех, кто призывал его спасти свою жизнь. Пока серый английский скакун уносил короля за много миль от поля битвы, Шверин, невзирая на две раны, мужественно сражался. Искусство старого фельдмаршала и стойкость прусских батальонов принесли победу. Австрийская армия отступила с потерей восьми тысяч солдат. Поздно ночью известие об этом достигло мельницы, где нашел себе убежище король. Одержана победа, но лишь благодаря доблести тех, кто сражался, пока он спасал свою жизнь. Таким малообещающим был дебют величайшего полководца этого века. Битва при Мольвице послужила сигналом ко всеобщему взрыву по всей Европе. Бавария взялась за оружие. Франция, хотя и не заявила еще о своем вступлении в войну, тем не менее приняла сторону Баварии. Фридрих захватил Моравию. Французы и баварцы вторглись в Богемию, где к ним присоединились еще и саксонцы. На императорский трон был избран курфюрст Баварский, хотя многовековая традиция почти узаконила наследование имперской короны особами Австрийского дома». (Томас Маколей. Фридрих Великий. Звезда, 1996. № 3. С. 136–137).

«... в августе 1756 г. началась великая Семилетняя война. Фридрих потребовал у королевы-императрицы ясного объяснения ее намерений и прямо заявил, что отказ в этом будет воспринят как объявление войны. Ответ был высокомерно уклончивым. И цветущую Саксонию мгновенно заполнили шестьдесят тысяч прусских солдат. Армия Августа занимала сильную позицию у Пирны (*Пирна* — город неподалеку от Дрездена. *Примеч. пер.*).., но через несколько дней Пирна оказалась в блокаде, а Дрезден взят. <...> Тем временем саксонский лагерь в Пирне был плотно обложен, но осажденные не теряли надежды на помощь. К границе Саксонии уже подходила сильная австрийская армия фельдмаршала Броуна. Фридрих, оставив у Пирны достаточные силы, поспешил в Богемию, встретил Броуна у Лобозица и разбил его (1 октября 1756 г. *Примеч. пер.*).. Это сражение решило судьбу Саксонии. Август со своим фаворитом графом Брюлем бежал в Польшу. Вся армия курфюрста сдалась на капитуляцию, и с этого времени до окончания войны Фридрих распорядился Саксонией как частью собственных владений. Однако у короля не было никакого интереса заботиться о ее благосостоянии, и он набирал рекрутов и налагал подати по всей поработанной провинции с куда большей жестокостью, чем в любой части своей страны. Семнадцать тысяч войска из лагеря Пирны либо принуждением, либо посулами были поставлены под знамена победителя. Таким образом, всего за несколько недель войны один из противников оказался поверженным, и теперь оружие короля оборотилось на остальных». (Там же. С. 150.).

Арминий (18 или 16 г. до н. э. — 19 или 21 г. н. э.) — вождь германского племени херусков. В молодости служил в римской армии. Когда римский наместник Германии Публий Квинтилий Вар вторгся в землю херусков (9 г. н. э.), Арминий, пользовавшийся доверием римлян, завлек его в Тевтобургский лес и наголову разбил, после чего римлянам пришлось перейти на Рейне от наступления к обороне.

Пронунсиаменто Йорка фон Вартенбурга — имеются в виду действия командира прусского корпуса в армии Наполеона генерала Йорка в 1812 г., когда во время отступления из России его корпус был окружен русскими войсками. Зная, как неохотно пруссаки участвовали в войне, и полагая, что наступило время отделиться от Наполеона, он самовольно заключил 8(30) декабря 1812 г. Таурогенскую конвенцию, по которой его корпус признавался нейтральным и оставался на зимних квартирах в Восточной Пруссии.

Изложение автора не вполне соответствует полному тексту условий капитуляции, опубликованному Д. Ф. Масловским (Вып. 2. Приложение XIII. С. 25–26).

Тугендбунд («Союз Добродетели») — тайное политическое общество в Пруссии, созданное в 1808 г. после победы Наполеона для «возрождения национального духа» и с тайной целью свержения французского ига. Объединяло свыше 700 чел. Официально распущено в 1810 г. по требованию Наполеона.

Завоеватели 1870 г. — подразумевается вторжение во Францию объединенных войск Пруссии, Северо-Германского Союза и государств Южной Германии (Баварии, Вюртемберга, Бадена, Гессен-Дармштадта) во время франко-прусской войны 1870–1871 гг.

Тактика Монтекукколи — князь Раймунд Монтекукколи (1609–1680), австрийский полководец, активный участник Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. Успешно действовал на стороне Польши и Дании против шведов, отразил вторжение турок. В данном случае, возможно, имеется в виду его кампания 1675 г. против французского маршала Тюренна, когда оба полководца маневрировали в течение четырех месяцев, избегая сражения.

Военные реформы 1755–1757 гг. — «Вторая половина царствования императрицы Елизаветы ввиду изменившихся международных отношений характеризуется главным образом преобразованиями в военном деле. Была значительно увеличена численность армии, достигавшая при Елизавете 322 тыс. чел. <...> В пехоте были сформированы гренадерские полки, в остальных пехотных полках были образованы третьи батальоны; учрежден особый Обсервационный корпус. Особое внимание было обращено на формирование тяжелой конницы (кирасирские полки) и образовано несколько конногренадерских полков. Но наиболее серьезные преобразования были произведены в артиллерии, во главе которой в 1756 г. стал гр. П. И. Шувалов, который ввел в вооружение артиллерии новые типы пушек и придал ей новую организацию. <...> Насколько целесообразны были эти реформы, показала Семилетняя война, в которой главная доля успеха русских войск над армией Фридриха Великого принадлежит действию нашей артиллерии. В отношении других частей армии и в деле военного управления вообще было сделано очень мало. <...> В 1754 г. для выяснения нужд армии Елизавета повелела гр. Салтыкову образовать при Военной Коллегии особую комиссию ... Работа этой комиссии ограничилась лишь рассмотрением нескольких уставов». (Военная Энциклопедия. СПб., 1912. Т. X. С. 324–325.) «В начале 1756 г., несмотря на большое превосходство вооруженных сил России сравнительно с армиями первоклассных европейских держав, у нас был предпринят ряд радикальных реформ в полевой действующей армии ... Считаем нужным заметить, что к реформам 1755–1757 гг. мы обязаны отнестись с полным вниманием, так как ими главным образом объясняется неготовность нашей армии к открытию похода, вследствие чего главнокомандующий (Апраксин) не мог предпринять решительного образа действия в начале Семилетней войны». (Масловский. Вып. 1. С. 10–11.).

... моему племяннику — то есть сыну брата Фридриха II Августа Вильгельма, царствовавшему после смерти Фридриха под именем Фридриха Вильгельма II (1786–1797 гг.).

Прусские «медвежьи шапки» — речь идет о гусарских полках, имевших в качестве форменного головного убора медвежьи шапки.

«*Атпалия*» — последняя из трагедий французского драматурга Ж. Расина, сюжет которой посвящен царице иудейской Аталии (ок. 876 г. до н. э.), которая прославилась жестокостью и безбожием. Вольтер считал ее самым совершенным произведением во всей мировой драматургии.

Битва при Москве — во французской историографии так принято называть Бородинское сражение.

Сражение под Гохкирхеном (Гохкирхом) — произошло во время Семилетней войны 14 окт. 1758 г. в Саксонии между австрийскими (фельдмаршал Даун) и прусскими (Фридрих II) войсками. После пятичасовой битвы пруссаки были вынуждены отступить.

Манифест 13 сентября 1758 г. подписали: князь Н. Трубецкой, А. Бутурлин, граф М. Воронцов, граф Александр Шувалов и конференц-секретарь Д. Волков.

Пакеты бумажных денег — ошибка автора. Бумажные деньги появились в России только в царствование Екатерины II после учреждения в 1768 г. ассигнационных банков.

... поражения французов при Миндене и Крефельде (после успехов у Сандерсгаузена и Люттерберга)... — имеются в виду сражения во время кампаний 1758 и 1759 гг. в Вестфалии и Юго-Западной Германии, где французской армии противостояли англо-ганноверские войска под командованием принца Фердинанда Брауншвейгского.

... потеря Огайо, Акадии, Шандернагора ... — речь идет о событиях Семилетней войны, распространившейся на Северную Америку и Индию, где происходила война между Англией и Францией за передел колоний. В июле 1758 г. английская армия численностью до 16 тыс. чел. вторглась во Французскую Канаду. Начавшаяся война продолжалась в течение двух лет и окончилась лишь после капитуляции французов в Монреале (8 сент. 1760 г.). Парижский мирный договор 1763 г. окончательно закрепил за англичанами Новую Францию (Канаду) с долиной реки Огайо и соседними с Миссисипи землями. Не менее успешными были и действия англичан против французов в Индии, начавшиеся еще во время войны за Австрийское Наследство 1740–1748 гг. и продолжавшиеся в Семилетнюю войну. В июне 1757 г. английский генерал Р. Клайв во главе 900 европейцев и 2 тыс. колониальных войск разгромил индийское войско (35 тыс. пехоты, 15 тыс. кавалерии), что положило основание британскому владычеству в Индии. В январе 1761 г. после длительной осады сдалась французская колония в Пондишери. *Шандернагор* — город во французских колониальных поселениях в индийской провинции Бенгалия. В 1757 г. был захвачен англичанами, но возвращен по Парижскому мирному договору 1763 г.

Тактика Фабия Кунктатора — речь идет о знаменитом римском полководце Фабии Максиме, прозванном Кунктатором, т. е. «Медлителем». После поражений римлян в период 2-й Пунической войны он разработал стратегию уклонения от решительных сражений и постепенного истощения армии Ганнибала. «Стремление Дауна вести войну и выигрывать, не рискуя, удачно совпадало с его зависимым от гофкригсрата положением, и он долгое время находил самую благоприятную оценку; австрийская императрица, прославляя его „как Фабия, который промедлением спасает отчество“, приказала отчеканить на медали в его честь надпись: „Cunctando vincere perge“ („Продолжай побеждать медлительностью“).» (Коробков Н. Семилетняя война. М., 1940. С. 47.).

Родство П. С. Салтыкова с Анной Ивановной — граф Петр Семенович Салтыков был сыном генерал-аншефа Семена Андреевича Салтыкова, которого императрица Анна Ивановна называла не иначе как «*mon cousin*», так как он приходился ей родственником по матери, царице Прасковье Федоровне Салтыковой, жене царя Ивана V.

«*Девственница*» — имеется в виду героико-комическая поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1735 г.) на сюжет о Жанне д'Арк. Была осуждена Римским Папой и внесена в список запрещенных книг. Поэма задумана как пародия на тяжеловесную эпопею французского поэта XVII в. Ж. Шаплена.

Daigne, daigne, mon Dieu, sur Kaunitz et sur elle ... — перефразировка стиха из трагедии Ж. Расина «Аталия» («Гофолия»):

Рассудок отуманив царице жаждой мести
И превратив ее с Матфаном подлым вместе
В игралище слепых разнузданных страстей...*,
где имя одного из героев заменено на Кауница, руководителя австрийской внешней политики, а под царицей подразумевается, конечно, Елизавета Петровна. (Расин. Ж. Трагедии. Л, 1977. С. 312.).

* Перевод Ю. Б. Корнеева.

Аустерлиц — решающее сражение между русско-австрийскими и французскими войсками 20 ноября (2 дек.) 1805 г. в районе Аустерлица (ныне г. Славков в Чехии). Союзники были наголову разбиты Наполеоном, Австрия вышла из войны и заключила Прессбургский мир (дек. 1805 г.).

1... в его честь была выбита медаль с надписью: «Победителю над пруссаками» — эта медаль была пожалована всем участникам Кунерсдорфского сражения. (См.: Масловский. Вып. 3. С. 136.).

Кассано, Треббия, Нови — победы А. В. Суворова в Италии (1799 г.) во время войны 1798–1802 гг., которую Франция вела против 2-й коалиции европейских держав (Англии, Австрии, России).

... погубить свою победоносную армию в лабиринтах швейцарских гор — имеется в виду Швейцарский поход А. В. Суворова через Альпы (1799 г.), явившийся продолжением Итальянского похода (см. предыдущий комментарий). Вследствие невыполнения договоренностей со стороны австрийцев происходил в тяжелейших природных и стратегических условиях и привел к чрезмерно большим потерям (свыше 4 тыс. чел. убитыми и ранеными). Император Павел I, убедившись в невозможности совместных действий с таким союзником, приказал Суворову возвратиться в Россию.

История Синей Бороды — героя французской сказки, укрившего одну за другой шесть своих жен за то, что они, вопреки его запрету, открывали в его отсутствие тайный кабинет, где совершались убийства.

Потеря двух колоний — имеется в виду завоевание англичанами Новой Франции (Канада) и французских колоний в Индии (см. комментарий 54).

... знаменитый Шуленбург совершил прославившее его отступление после победы Карла XII при Гурау — имеются в виду события Северной войны 1700–1721 гг., когда во время кампании 1704 г. командовавший саксонскими войсками фельдмаршал Шуленбург, находясь почти в безвыходном положении, спас свою армию от полного разгрома, так что даже сам Карл XII сказал о нем: «Сегодня Шуленбург победил нас». (См.: Voltaire. Histoire de Charles XII. Roi de Suede. Paris, 1889. P. 126–129.).

Когда московитские армии впервые явились в Германии — очевидно, имеется в виду переход русского корпуса генерала И. Р. Паткуля в 1704 г. на зимние квартиры из Польши в Лаузиц (Саксония). В недисциплинированности нерегулярных войск признавался даже казачий полковник Даниил Апостол: «Кзаки так остервенели на своевольстве, что никак их унять нельзя, хотя беспрестанно и без пощады наказываются». С другой стороны, о регулярных русских войсках сам Паткуль писал князю Д. М. Голицыну: «... москвичи в своих квартирах так покойно живут, что жалоб на них почти нет, и для всей Земли они гораздо сноснее, чем свои саксонские солдаты; удивительно, что я по сие время ни одного московского солдата не предал смертной казни». (Соловьев. Т. XV. С. 1300, 1401.).

Последний договор с турками — имеется в виду Белградский мирный договор, подписанный 18(29) сент. 1739 г. и завершивший войну 1735–1739 гг. России и Австрии с Турцией. Россия возвратила себе Азов, но с обязательством не вооружать его и срыть укрепления; кроме того, России запрещалось держать флот на Азовском и Черном морях.

Священная Римская Империя Германской Нации — средневековая империя, включавшая Германию и другие королевства, герцогства и земли (часть Италии, Бургундию, Нидерланды, Швейцарию). Основана в 962 г. германским королем Оттоном I. Со временем подчиненные империи области превратились в подвассальные владения, слабо зависимые от императоров. К концу средних веков Германская Империя представляла собой анархическое государственное образование. После Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. власть императора окончательно стала лишь номинальной. После того как в 1806 г. под эгидой Наполеона I образовался Рейнский Союз германских государств, поставивший в вассальную зависимость от Франции целую треть немецкой территории, Империя практически перестала существовать, и Франц I, еще в 1804 г. принявший титул австрийского императора, в августе 1806 г. сложил с себя достоинство германского императора.

Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. — первая общеевропейская война между двумя большими группировками держав: габсбургским блоком (Испания и Австрия), поддержанным папством, католическими князьями Германии и Польши, и противодействовавшими ему Францией, Швецией, Голландией и Данией, опиравшимися на протестантских князей в Германии. Первоначально носила характер религиозной войны между католиками и протестантами. Окончилась поражением Габсбургов. По Вестфальскому миру 1648 г. Швеция получила почти все устья судоходных рек Северной Германии, Франция — земли в Эльзасе, ряд немецких земель, особенно Бранденбург, — приращение своих территорий. Тридцатилетняя война имела очень тяжелые последствия для Германии: закрепление ее раздробленности, огромная убыль населения и разорение всей страны. Война Франции с Испанией продолжалась до заключения Пиренейского мира 1659 г.

Первый король, второй король ... — подразумеваются короли Пруссии: Фридрих I (1701–1713) и Фридрих Вильгельм I (1713–1740).

«Варвары-готы творили то же самое в Риме...» Готы — племена восточных германцев. Передвигаясь с конца II в. н. э. на юго-восток, достигли Северного Причерноморья, откуда в союзе с другими племенами совершали опустошительные вторжения в пределы Римской Империи. В 410 г. и сам Рим был взят и разграблен вестготами.

Клостеркамп — селение в Западной Пруссии около Дюссельдорфа, где в ночь на 16 окт. 1760 г. французские войска генерала де Кастри нанесли поражение наследному принцу Брауншвейгскому, в результате чего была устранена угроза Фландрии и обеспечена безопасность Гессена.

Поражение при Виллигхаузене — имеется в виду сражение двух французских армий под командованием маршалов Брольи и Субиза с войсками принца Фердинанда Брауншвейгского, происшедшее 15 июля 1761 г. в Вестфалии и окончившееся разгромом французов.

Труд Пенелопы — нескончаемое дело. В греческой мифологии Пенелопа, жена Одиссея, разлучившись с мужем, отправившимся под Трою, в течение двадцати лет терпеливо ждала его. Чтобы избавиться от навязчивых женихов, она говорила, что выйдет снова замуж лишь после того, как кончит ткать своему престарелому отцу хитон, однако сотканное за день она распускала ночью.

Дочь герцога Вюртембергского стала российской императрицей — имеется в виду принцесса София Доротея Августа Луиза (1759–1828), с 1776 г. вторая жена наследника российского престола великого князя Павла Петровича (с 1796 г. императрица). Мать императоров Александра I и Николая I и цесаревича Константина, наместника Царства Польского. В России носила имя Марии Федоровны.

Принц Наполеон и принцесса Матильда — дети короля Вестфалии Жерома Бонапарта (младшего брата Наполеона I) и принцессы Вюртембергской Екатерины: Наполеон Жозеф Поль Бонапарт (1822–1891) и Матильда Летиция Вильгельмина (1820–1904), которая в 1841–1845 гг. была женой Анатолия Демидова-Сан-Донатто.

С тех пор, как еще при Петре Великом ее хотели сделать французской королевой, у нее всегда была слабость к Людовику XV, и только благодаря ее личному желанию оказалось возможным возобновить отношения между обоими дворами — «В отношениях с Францией Петр не покидал своей любимой мысли породниться с Людовиком XV. 6 мая 1721 г. Долгорукий получил от него указ хлопотать о брачном союзе между королем и цесаревною Елисаветою Петровною. Но в конце года Долгорукий уведомил императора, что регент, сблизившись с Испаниею, устроил двойной брак: первый между наследником испанского престола и дочерью регента, а второй — между Людовиком XV и испанскою инфантою, которая была по четвертому года. <...> В 1722 г. нашлись другие женихи между французскими принцами, но эти женихи хотели взять в приданое Польшу». (Соловьев. Т. XVIII. С. 739–740.) Дипломатические отношения между Россией и Францией не прерывались, однако избрание нового польского короля после смерти Августа II (1733 г.) привело к столкновению интересов обеих держав и охлаждению отношений. Французский посланник в Петербурге интриговал в пользу цесаревны Елизаветы. После переворота 1741 г. французская партия получила преобладающее положение при русском дворе: «... самым сильным расположением новой императрицы должна была, разумеется, пользоваться Франция и ее представитель Шетарди. ... В первые дни после вступления на престол Елизаветы французского посланника, о преданности которого теперь все знали, окружал необыкновенный почет. Финч писал своему двору, что если первый поклон императрице, то второй Шетарди». (Соловьев. Т. XXI. С. 170.)

Мнение автора о личности Петра III является воспроизведением распространенного в историографии стереотипа, основанного на пристрастных, а зачастую и злонамеренных свидетельствах. В качестве противоположного примера приведем оценку Н. М. Карамзина: «Прошло более тридцати лет с той поры, как печальной памяти Петр III сошел в могилу; и обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила — слабость. ... За время своего краткого царствования он довел до предела свое восхищение Фридрихом Великим, но это восхищение перед столь могущественным государем может быть осуждено лишь за его преувеличения. Те же, кто его знал, могли оценить его редкую доброту. Она была полезна России: благодеяния, действия которых не прекращаются, требуют за себя вечной благодарности». (XVIII век. Сб. 13. Л., 1981. С. 126–127.).

Голубь Ковчега — имеется в виду библейское сказание о Всемирном Потопе (кн. Бытия, VI–IX), согласно которому спасшийся в ковчеге Ной, чтобы узнать, сошла ли вода после наводнения, выпустил голубя, который принес ему масличную ветвь как знак окончания Потопа.

Польша Саксония — после смерти в 1696 г. короля Яна III Собеского на польский престол был избран (в значительной мере благодаря поддержке России) саксонский курфюрст Фридрих Август I под именем Августа II, что устанавливало личную унию Саксонии и Речи Посполитой, которая продолжалась до 1763 г.

...если царь в качестве герцога Голштинии намеревается воевать с датским королем ... — имеется в виду долголетний конфликт между Гольштейном и Данией, связанный с правами на пограничное герцогство Шлезвиг. После смерти Петра III императрица Екатерина II в 1767 г. отказалась от прав великого князя Павла Петровича на наследование в Шлезвиг-Гольштейне. Шлезвиг принадлежал Дании до 1864 г., когда был присоединен к Пруссии.

«Никто, кроме Англии, ничего не выиграл от этих семи лет войны» — согласно Парижскому мирному договору 1763 г. между Англией и Португалией, с одной стороны, и Францией и Испанией — с другой, к Англии отходили: Новая Франция (Канада); все земли к востоку от р. Миссисипи; в Вест-Индии — острова Доминика, Сент-Винсент, Гренада и Тобаго; в Африке — почти все захваченные ранее французами территории Сенегала; в Индии — почти все французские владения. Франция возвратила Англии о Менорку, завоеванный в 1756 г. Испания передала ей Флориду. Окончательно Семилетняя война была завершена Губертусбургским миром 1763 г., который подтвердил прусское владение Силезией и графством Глац.

Две наследственные войны — имеются в виду войны за Польское и Австрийское Наследство (см. комментарии 2 и 4).

Гельветическая Республика (от латинского названия Швейцарии — Гельвеция) — государство на территории Швейцарии в 1798–1803 гг., возникшее в результате вторжения французских войск и зависимое от Франции. В 1802 г. после ухода большей части французов там почти повсеместно вспыхнуло народное восстание, что вынудило Наполеона восстановить государственное устройство, существовавшее до 1798 г.

... *под Севастополем и под Плевной* ... — подразумеваются оборона Севастополя в 1854–1855 гг. против осаждавших его англо-французских войск в Крымскую войну 1853–1856 гг. и осада русскими войсками болгарского города Плевны (Плевена), за который велись ожесточенные бои во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.